Алексей ТОЛСТОЙ



ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

ВЕЛИКАЯ СУДЬБА РОССИИ

Восемнадцатый год

Алексей Николаевич Толстой

Аннотация
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Аннотация

«Хождение по мукам» – уникальная по яркости и масштабу повествования трилогия, на страницах которой перед читателем предстает картина событий, потрясших весь мир.

Выдающееся произведение А.Н.Толстого показывает Россию в один из самых ярких, сложных и противоречивых периодов ее истории – в тревожное предреволюционное время, в суровые годы революционных потрясений и Гражданской войны.

1

Все было кончено. По опустевшим улицам притихшего Петербурга морозный ветер гнал бумажный мусор — обрывки военных приказов, театральных афиш, воззваний к «совести и патриотизму» русского народа. Пестрые лоскуты бумаги, с присохшим на них клейстером, зловеще шурша, ползли вместе со снежными змеями поземки.

Это было все, что осталось от еще недавно шумной и пьяной сутолоки столицы. Ушли праздные толпы с площадей и улиц. Опустел Зимний дворец, пробитый сквозь крышу снарядом с «Авроры». Бежали в неизвестность члены Временного правительства, влиятельные банкиры, знаменитые генералы… Исчезли с ободранных и грязных улиц блестящие экипажи, нарядные женщины, офицеры, чиновники, общественные деятели со взбудораженными мыслями. Все чаще по ночам стучал молоток, заколачивая досками двери магазинов. Кое-где на витринах еще виднелись: там — кусочек сыру, там — засохший пирожок. Но это лишь увеличивало тоску по ис-

чезнувшей жизни. Испуганный прохожий жался к стене, косясь на патрули — на кучи решительных людей, идущих с красной звездой на шапке и с винтовкой, дулом вниз, через плечо.

Северный ветер дышал стужей в темные окна домов, залетал в опустевшие подъезды, выдувая призраки минувшей роскоши. Страшен был Петербург в конце семнадцатого года.

Страшно, непонятно, непостигаемо. Все кончилось. Все было отменено. Улицу, выметенную поземкой, перебегал человек в изодранной шляпе, с ведерком и кистью. Он лепил новые и новые листочки декретов, и они ложились белыми заплатками на вековые цоколи домов. Чины, отличия, пенсии, офицерские погоны, буква ять, бог, собственность и само право жить как хочется — отменялось. Отменено! Из-под шляпы свирепо поглядывал наклейщик афиш туда, где за зеркальными окнами еще бродили по холодным покоям обитатели в валенках, в шубах, — заламывая пальцы, повторяли:

— Что же это? Что будет? Гибель России, конец всему… Смерть!..

Подходя к окнам, видели: наискосок, у особняка, где жило его высокопревосходительство и где, бывало, городовой вытягивался, косясь на серый

фасад, — стоит длинная фура, и какие-то вооруженные люди выносят из настежь распахнутых дверей мебель, ковры, картины. Над подъездом — кумачовый флажок, и тут же топчется его высокопревосходительство, с бакенбардами, как у Скобелева, в легком пальтишке, и седая голова его трясется. Выселяют! Куда в такую стужу? А куда хочешь… Это — высокопревосходительство-то, нерушимую косточку государственного механизма!

Настает ночь. Черно — ни фонаря, ни света из окон. Угля нет, а, говорят, Смольный залит светом, и в фабричных районах — свет. Над истерзанным, простреленным городом воет вьюга, насвистывает в дырявых крышах: «Быть нам пу-у-усту». И бухают выстрелы во тьме. Кто стреляет, зачем, в кого? Не там ли, где мерцает зарево, окрашивает снежные облака? Это горят винные склады… В подвалах, в вине из разбитых бочек, захлебнулись люди… Черт с ними, пусть горят заживо!

О, русские люди, русские люди!

Русские люди, эшелон за эшелоном, валили миллионными толпами с фронта домой, в деревни, в степи, в болота, в леса… К земле, к бабам… В вагонах с выбитыми окнами стояли вплотную, густо, не шевелясь, так что и покойника нельзя

было вытащить из тесноты, выкинуть в окошко. Ехали на буферах, на крышах. Замерзали, гибли под колесами, проламывали головы на габаритах мостов. В сундучках, в узлах везли добро, что попадалось под руку, — все пригодится в хозяйстве: и пулемет, и замок от орудия, и барахло, взятое с мертвеца, и ручные гранаты, винтовки, граммофон и кожа, срезанная с вагонной койки. Не везли только денег — этот хлам не годился даже вертеть козьи ножки.

Медленно ползли эшелоны по российским равнинам. Останавливались в изнеможении у станции с выбитыми окнами, сорванными дверями. Матерным ревом встречали эшелоны каждый вокзал. С крыш соскакивали серые шинели, щелкая затворами винтовок, кидались искать начальника станции, чтобы тут же прикончить прихвостня мировой буржуазии. «Давай паровоз!.. Жить тебе надоело, такой-сякой, матерний сын? Отправляй эшелон!..» Бежали к выдохшемуся паровозу, с которого и машинист и кочегар удрали в степь. «Угля, дров! Ломай заборы, руби двери, окна!»

Три года тому назад много не спрашивали — с кем воевать и за что. Будто небо раскололось, земля затряслась: мобилизация, война! Народ

понял: время страшным делам надвинулось. Кончилось старое житье. В руке — винтовка. Будь что будет, а к старому не вернемся. За столетия накипели обиды.

За три года узнали, что такое война. Впереди пулемет и за спиной пулемет, — лежи в дерьме, во вшах, покуда жив. Потом — содрогнулись, помутилось в головах — революция… Опомнились, — а мы-то что же? Опять нас обманывают? Послушали агитаторов: значит, раньше мы были дураками, а теперь надо быть умными… Повоевали, — повертывай домой на расправу. Теперь знаем, в чье пузо — штык. Теперь — ни царя, ни бога. Одни мы. Домой, землю делить!

Как плугом прошлись фронтовые эшелоны по российским равнинам, оставляя позади развороченные вокзалы, разбитые железнодорожные составы, ободранные города. По селам и хуторам заскрипело, залязгало, — это напильничками отпиливали обрезы. Русские люди серьезно садились на землю. А по избам, как в старые-старые времена, светилась лучина, и бабы натягивали основы на прабабкины ткацкие станки. Время, казалось, покатилось назад, в отжитые века. Это было в зиму, когда начиналась вторая революция, Октябрьская…

Голодный, расхищаемый деревнями, насквозь прохваченный полярным ветром Петербург, окруженный неприятельским фронтом, сотрясаемый заговорами, город без угля и хлеба, с погасшими трубами заводов, город, как обнаженный мозг человеческий, — излучал в это время радиоволнами Царскосельской станции бешеные взрывы идей.

— Товарищи, — застужая глотку, кричал с гранитного цоколя худой малый в финской шапочке задом наперед, — товарищи дезертиры, вы повернулись спиной к гадам-империялистам… Мы, питерские рабочие, говорим вам: правильно, товарищи… Мы не хотим быть наемниками кровавой буржуазии. Долой империялистическую войну!

— Лой… лой… лой… — лениво прокатилось по кучке бородатых солдат.

Не снимая с плеч винтовок и узлов с добром, они устало и тяжело стояли перед памятником императору Александру III. Заносило снегом черную громаду царя и — под мордой его куцей лошади — оратора в распахнутом пальтишке.

— Товарищи… Но мы не должны бросать винтовку! Революция в опасности… С четырех концов света поднимается на нас враг… В его хищных

руках — горы золота и страшное истребительное оружие… Он уже дрожит от радости, видя нас захлебнувшимися в крови… Но мы не дрогнем… Наше оружие — пламенная вера в мировую социальную революцию… Она будет, она близко…

Конец фразы отнес ветер. Здесь же, у памятника, остановился по малой надобности широкоплечий человек с поднятым воротником. Казалось, он не замечал ни памятника, ни оратора, ни солдат с узлами. Но вдруг какая-то фраза привлекла его внимание, даже не фраза, а исступленная вера, с какой она была выкрикнута из-под бронзовой лошадиной морды:

— …Да ведь поймите же вы… через полгода навсегда уничтожим самое проклятое зло — деньги… Ни голода, ни нужды, ни унижения… Бери, что тебе нужно, из общественной кладовой… Товарищи, а из золота мы построим общественные нужники…

Но тут снежный ветер залетел глубоко в глотку оратору. Сгибаясь со злой досадой, он закашлялся — и не мог остановиться: разрывало легкие. Солдаты постояли, качнули высокими шапками и пошли, — кто на вокзалы, кто через город за реку. Оратор полез с цоколя, скользя ногтями по мерзлому граниту. Человек с поднятым воротником

окликнул его негромко:

— Рублев, здорово.

Василий Рублев, все еще кашляя, застегивал пальтишко. Не подавая руки, глядел недобро на Ивана Ильича Телегина.

— Ну? Что надо?

— Да рад, что встретил…

— Эти черти, дуболомы, — сказал Рублев, глядя на неясные за снегопадом очертания вокзала, где стояли кучками у сваленного барахла все те же, заеденные вшами, бородатые фронтовики, — разве их прошибешь? Бегут с фронта, как тараканы. Недоумки… Тут нужно — террор…

Застуженная рука его схватила снежный ветер… И кулак вбил что-то в этот ветер. Рука повисла, Рублев студено передернулся…

— Рублев, голубчик, вы меня знаете хорошо. — Телегин отогнул воротник и нагнулся к землистому лицу Рублева. — Объясните мне, ради бога… Ведь мы в петлю лезем… Немцы, захотят, через неделю будут в Петрограде… Понимаете, — я никогда не интересовался политикой…

— Это как так, — не интересовался? — Рублев весь взъерошился, угловато повернулся к нему. — А чем же ты интересовался? Теперь — кто не интересуется — знаешь кто? — Он бешено взгля-

нул в глаза Ивану Ильичу. — Нейтральный… враг народа…

— Вот именно, и хочу с тобой поговорить… А ты говори по-человечески.

Иван Ильич тоже взъерошился от злости, Рублев глубоко втянул воздух сквозь ноздри.

— Чудак ты, товарищ Телегин… Ну, некогда же мне с тобой разговаривать, — можешь ты это понять?..

— Слушай, Рублев, я сейчас вот в каком состоянии… Ты слышал: Корнилов Дон поднимает?

— Слыхали.

— Либо я на Дон уйду… Либо с вами…

— Это как же так: либо?

— А вот так — во что поверю… Ты за революцию, я за Россию… А может, и я — за революцию. Я, знаешь, боевой офицер…

Гнев погас в темных глазах Рублева, в них была только бессонная усталость.

— Ладно, — сказал он, — приходи завтра в Смольный, спросишь меня… Россия… — Он покачал головой, усмехаясь. — До того остервенеешь на эту твою Россию… Кровью глаза зальет… А между прочим, за нее помрем все… Ты вот пойди сейчас на Балтийский вокзал. Там тысячи три дезертиров третью неделю валяются по полу…

Промитингуй с ними, проагитируй за советскую власть… Скажи: Петрограду хлеб нужен, нам бойцы нужны… (Глаза его снова высохли.) Скажи им: а будете на печке пузо чесать — пропадете, как сукины дети. Пропишут вам революцию по мягкому месту… Продолби им башку этим словом!.. И никто сейчас не спасет России, не спасет революции, — одна только советская власть… Понял? Сейчас нет ничего на свете важнее нашей революции…

По обмерзлой лестнице, в темноте, Телегин поднялся к себе на пятый этаж. Ощупал дверь. Постучал три раза, и еще раз. К двери изнутри подошли. Помолчав, спросил тихий голос жены:

— Кто?

— Я, я, Даша.

За дверью вздохнули. Загремела цепочка. Долго не поддавался дверной крюк. Слышно было, как Даша прошептала: «Ах, боже мой, боже мой». Наконец открыла и сейчас же в темноте ушла по коридору и где-то села.

Телегин тщательно запер двери на все крючки и задвижки. Снял калоши. Пощупал, — вот черт, спичек нет. Не раздеваясь, в шапке, протянув перед собой руки, пошел туда же, куда ушла Даша.

— Вот безобразие, — сказал он, — опять не го-

рит. Даша, ты где?

После молчания она ответила негромко из кабинета:

— Горело, потухло.

Он вошел в кабинет; это была самая теплая комната во всей квартире, но сегодня и здесь было прохладно. Вгляделся, — ничего не разобрать, даже дыхания Дашиного не было слышно. Очень хотелось есть, особенно хотелось чаю. Но он чувствовал: Даша ничего не приготовила.

Отогнув воротник пальто, Иван Ильич сел в кресло у дивана, лицом к окошку. Там, в снежной тьме, бродил какой-то неясный свет. Не то из Кронштадта, не то ближе откуда-то, — щупали прожектором небо.

«Хорошо бы печурку затопить, — подумал Иван Ильич. — Как бы так спросить осторожно, где у Даши спички?»

Но он не решался. Знать бы точно, что она — плачет, дремлет? Слишком уж было тихо. Во всем многоэтажном доме — пустынная тишина. Только где-то слабо, редко похлопывали выстрелы. Внезапно шесть лампочек в люстре слегка накалились, красноватый свет слабо озарил комнату. Даша оказалась у письменного стола, — сидела, накинув шубку поверх еще чего-то, отставив одну

ногу в валенке. Голова ее лежала на столе, щекой на промокашке. Лицо худое, измученное, глаз открыт, — даже глаз не закрыла, сидела неудобно, неестественно, кое-как…

— Дашенька, нельзя же так все-таки, — глуховато сказал Телегин. Ему совершенно нестерпимо стало жаль ее. Он пошел к столу. Но красные волоски в лампочках затрепетали и погасли. Только и было света, что на несколько секунд.

Он остановился за спиной Даши, нагнулся, сдерживая дыхание. Чего бы проще, — ну хоть погладить ее молча. Но она, как труп, ничем не ответила на его приближение.

— Даша, ну не мучь же так себя…

Месяц тому назад Даша родила. Ребенок ее, мальчик, умер на третий день. Роды были раньше срока, — случились после страшного потрясения. В сумерки на Марсовом поле на Дашу наскочили двое, выше человеческого роста, в развевающихся саванах. Должно быть, это были те самые «попрыгунчики», которые, привязав к ногам особые пружины, пугали в те фантастические времена весь Петроград. Они заскрежетали, засвистели на Дашу. Она упала. Они сорвали с нее пальто и запрыгали через Лебяжий мост. Некоторое время Даша лежала на земле. Хлестал

дождь порывами, дико шумели голые липы в Летнем саду. За Фонтанкой протяжно кто-то кричал: «Спасите!» Ребенок ударял ножкой в животе Даши, просился в этот мир.

Он требовал, и Даша поднялась, пошла через Троицкий мост. Ветром прижимало ее к чугунным перилам, мокрое платье липло между ногами. Ни огня, ни прохожего. Внизу — взволнованная черная Нева. Перейдя мост, Даша почувствовала первую боль. Поняла, что не дойдет, хотелось только добраться до дерева, прислониться за ветром. Здесь, на улице Красных Зорь, ее остановил патруль. Солдат, придерживая винтовку, нагнулся к ее помертвевшему лицу:

— Раздели. Ах, сволочи! Да, смотри, брюхатая.

Он и довел Дашу до дому, втащил на пятый этаж. Грохнув прикладом в дверь, закричал на высунувшегося Телегина:

— Разве это дело — по ночам дамочку одну пускать, на улице едва не родила… Черти, буржуи бестолковые…

Роды начались в ту же ночь. В квартире появилась говорливая акушерка. Муки окончились через сутки. Мальчик был без дыхания — наглотался воды. Его хлопали, растирали, дули в рот. Он сморщился и заплакал. Акушерка не унывала,

хотя у ребенка начался кашель. Он все плакал жалобно, как котенок, не брал груди. Потом перестал плакать и только кряхтел. А наутро третьего дня Даша потянулась к колыбели и отдернула руку– ощупала холодное тельце. Схватила его, развернула, — на высоком черепе его светлые и редкие волосы стояли дыбом.

Даша дико закричала. Кинулась с постели к окну: разбить, выкинуться, не жить… «Предала, предала… Не могу, не могу!» — повторяла она. Телегин едва ее удержал, уложил. Унес трупик. Даша сказала мужу:

— Покуда спала, к нему пришла смерть. Пойми же — у него волосики стали дыбом… Один мучился… Я спала…

Никакими уговорами нельзя было отогнать от нее видения одинокой борьбы мальчика со смертью.

— Хорошо, Иван, я больше не буду, — отвечала она Телегину, чтобы не слышать мужнина рассудительного голоса, не видеть его здорового, румяного, несмотря на все лишения, «жизнерадостного» лица.

Телегинского здоровья с излишком хватало на то, чтобы с рассвета до поздней ночи летать в рваных калошах по городу в поисках подсобной

работишки, продовольствия, дровишек и прочего. По нескольку раз на дню он забегал домой, был необычайно хлопотлив и внимателен.

Но именно эти нежные заботы Даше меньше всего и были нужны сейчас. Чем больше Иван Ильич проявлял жизненной деятельности, тем безнадежнее отдалялась от него Даша. Весь день сидела одна в холодной комнате. Хорошо, если находила дремота, — подремлет, проведет рукой по глазам, и как будто ничего. Пойдет на кухню, вспоминая, что Иван Ильич просил что-то сделать. Но самая пустячная работа валилась из рук. А ноябрьский дождик стучал в окна. Шумел ветер над Петербургом. В этом холоде на кладбище у взморья лежало мертвое тельце сына, не умевшего даже пожаловаться…

Иван Ильич понимал, что она больна душевно. Погасшего электричества было достаточно, чтобы она приткнулась где-нибудь в углу, в кресле, закрыла голову шалью и затихла в смертельной тоске. А надо было жить, надо жить… Он писал о Даше в Москву, ее сестре Екатерине Дмитриевне, но письма не доходили. Катя не отвечала, или с ней приключилось тоже что-нибудь недоброе. Трудные были времена.

Топчась за Дашиной спиной, Иван Ильич слу-

чайно наступил на коробку спичек. Сейчас же все понял: когда погасло электричество, Даша боролась с темнотой, с тоской, зажигая временами спички. «Ай-ай-ай, — подумал он, — бедняжка, ведь одна целый день».

Он осторожно поднял коробку, — в ней оставалось еще несколько спичек. Тогда он принес из кухни заготовленные еще с утра дровишки, — это были тщательно распиленные части старого гардероба. В кабинете, присев на корточки, стал разжигать небольшую печку, обложенную кирпичом, с железной трубой — коленом через всю комнату. Приятно запахло дымком загоревшейся лучины. Завыл ветерок в прорезях печной дверки. Круг зыбкого света появился в потолке.

Эти самодельные печки получили впоследствии широко распространенное название «буржуек» или «пчелок». Они честно послужили человечеству во все время военного коммунизма. Простые — железные, на четырех ножках, с одной конфоркой, или хитроумные, с духовым шкафом, где можно было испечь лепешки из кофейной гущи и даже пирог с воблой, или роскошные, обложенные изразцами, содранными с камина, — они и грели, и варили, и пекли, и напевали вековечную песню огня под вой метели.

К их горячим уголькам люди собирались, как в старые времена к очагу, грели иззябшие руки, поджидая, когда запляшет крышка на чайнике. Вели беседы, к сожалению, никем не записанные. Придвинув поближе изодранное кресло, профессора, обросшие бородами, в валенках и пледах, писали удивительные книги. Прозрачные от голода поэты сочиняли стихи о любви и революции. Кружком сидящие заговорщики, сдвинув головы, шепотом передавали вести, одна страннее другой, фантастичнее. И много великолепных старинных обстановок вылетело через железные трубы дымом в эти годы.

Иван Ильич очень уважал свою печку, смазывал щели ее глиной, подвешивал под трубы жестянки, чтобы деготь не капал на пол. Когда вскипел чайник, он вытащил из кармана пакет и насыпал сахару в стакан, послаще. Из другого кармана вытащил лимон, чудом попавший ему в руки сегодня (выменял за варежки у инвалида на Невском), приготовил сладкий чай с лимоном и поставил перед Дашей.

— Дашенька, тут с лимончиком… А сейчас я спроворю моргалку.

Так называлось приспособление из железной баночки, где в подсолнечном масле плавал фи-

тилек. Иван Ильич принес моргалку, и комната кое-как осветилась.

Даша уже по-человечески сидела в кресле, кушала чай. Телегин, очень довольный, сел поблизости.

— А знаешь, кого я встретил? Василия Рублева. Помнишь, у меня в мастерской работали отец и сын Рублевы? Страшные мои приятели. Отец — с хитрейшим глазком, — одна нога в деревне, другая на заводе. Замечательный тип! А Василий тогда уже был большевиком, — умница, злой, как черт. В феврале первый вывел наш завод на улицу. Лазил по чердакам, разыскивал городовых; говорят, сам запорол их чуть ли не полдюжины… А после Октябрьского переворота стал шишкой. Так вот, мы с ним и поговорили… Ты слушаешь меня, Даша?

— Слушаю, — сказала она. Поставила пустой стакан, подперлась худым кулачком, глядела на плавающий огонек моргалки. Серые глаза ее были равнодушны ко всему на свете. Лицо вытянутое, нежная кожа казалась прозрачной, носик, такой прежде независимый, даже легкомысленный, обострился. — Иван, — сказала она (должно быть, для того, чтобы высказать признательность за чай с лимоном), — я искала спички,

нашла за книгами коробку с папиросами. Если тебе нужно…

— Папиросы! Ведь это еще старые, Дашенька, мои любимые! — Иван Ильич преувеличенно обрадовался, хотя коробку с папиросами сам спрятал за книги про черный день. Он закурил, искоса поглядывая на Дашин неживой профиль. «Увезти ее нужно подальше отсюда, к солнцу». — Ну-с, так вот, поговорил я с Василием Рублевым, и он мне здорово помог, Даша… Я не верю, чтобы эти большевики так вдруг и исчезли. Тут корень в Рублеве, понимаешь?.. Действительно, их никто не выбирал. И власть-то их — на волоске, — только в Питере, в Москве да кое-где по губернским городам… Но тут весь секрет в качестве власти… Эта власть связана кровяной жилой с такими, как Василий Рублев… Их немного на нашу страну… Но у них вера. Если его львами и тиграми травить или живым жечь, он и тут с восторгом запоет «Интернационал»…

Даша продолжала молчать. Он помешал в печке. Сидя на корточках перед дверцей, сказал:

— Понимаешь, к чему говорю?.. Нужно куда-нибудь качнуться. Сидеть и ждать, покуда все образуется, как-то, знаешь, неудобно… Сидеть у дороги, просить милостыню — стыдно. Я здо-

ровый человек. Я не саботажник… У меня, по совести говоря, руки чешутся…

Даша вздохнула. Веки ее сжались, из-под ресниц поползла слеза. Иван Ильич засопел:

— Разумеется, прежде всего нужно решить вопрос о тебе, Даша… Тебе нужно найти силы, встряхнуться… Ведь так, как ты живешь, это угасание.

Он не удержался, — с раздражением подчеркнул это слово: угасание. Тогда Даша проговорила жалобным детским голосом:

— Разве я виновата, что не умерла тогда! А теперь мешаю вам жить… Вы лимон приносите… Я же не прошу…

«Вот, поди, разговаривай!» Иван Ильич походил по комнате, постучал ногтями в запотевшее стекло. Крутился снег, пела вьюга, мчался лютый ветер с такою силой, будто опережая само время, летел в грядущие времена оповещать о необычайных событиях. «За границу ее отправить? — думал Иван Ильич. — В Самару, к отцу? Как все это сложно… Но так жить нельзя дольше…»

* * *

Дашина сестра, Екатерина Дмитриевна, увезла мужа, Вадима Петровича Рощина, в Самару к отцу, где можно было спокойно переждать до весны, не дрожа за каждый кусок хлеба. К весне, разумеется, большевики должны были кончиться. Доктор Дмитрий Степанович Булавин намечал даже точные даты, а именно: между концом морозов и началом весенней распутицы немцы развернут наступление по всему фронту, где митинговали остатки русских армий, а солдатские комитеты среди хаоса, предательства и дезертирства тщетно пытались найти новые формы революционной дисциплины.

Дмитрий Степанович постарел за эти годы, жил неважно и еще больше разговаривал о политике. Он чрезвычайно обрадовался приезду дочери и сейчас же взял в политическую обработку Рощина. По целым часам сидели они в столовой за самоваром (двухведерной измятой машиной, пропустившей через нутро свое целое озеро кипятку и от старости наловчившейся, — чуть только брось в нее уголек, — подолгу петь провинциальные самоварные песни). Дмитрий Степанович, одетый крайне неряшливо, обрюзг-

ший и потучневший, с седыми нечесаными кудрями, курил вонючие папироски, кашлял, багровея, и говорил, говорил…

— Странишка наша провалилась к чертовой матери… Войну мы проиграли-с… Не в гнев вам сказано, господин подполковник. Надо было в пятнадцатом году заключать мир-с… И идти к немцам в кабалу и выучку. И тогда бы они нас кое-чему научили, тогда бы мы еще могли стать людьми. А теперь кончено-с… Медицина, как говорится, в сем случае бессильна… Оставьте, пожалуйста!.. Чем мы будем обороняться, — вилами-тройчатками? Этим же летом немцы займут всю южную и среднюю полосу России, японцы — Сибирь, мужепесов наших со знаменитыми тройчатками загонят в тундры к Полярному кругу, и начнется порядок, и культура, и уважительное отношение к личности… И будет у нас Русланд… чему я весьма доволен-с…

Дмитрий Степанович был старым либералом и теперь с горькой иронией издевался над прошлым «святым». Даже на всем доме его лежал отпечаток этого самооплевывания. Комнаты с пыльными окнами не прибирались, портрет Менделеева в кабинете густо затянуло паутиной, растения в кадках высохли, книги, ковры, кар-

тины так и лежали в ящиках под диванами с тех пор, как в последний раз, летом четырнадцатого года, здесь была Даша.

Когда в Самаре власть перешла к совдепу и большинство врачей отказалось работать с «собачьими и рачьими депутатами», — Дмитрию Степановичу предложили пост заведующего всеми городскими больницами. Так как по его расчетам выходило, что все равно к весне в Самаре будут немцы, он принял назначение. С медикаментами обстояло плохо, и Дмитрий Степанович пользовал одними клистирами. «Все дело в кишке, — говорил он ассистентам, глядя на них с ироническим превосходством через треснувшее пенсне. — За время войны население не чистило желудка. Покопайтесь в первопричинах нашей благословенной анархии — и упретесь в засоренный желудок. Так-то, господа… Безусловный и поголовный клистир…»

На Рощина разговоры за чайным столом производили тягостное впечатление. Он еще не оправился от контузии, полученной первого ноября в Москве в уличном бою. Тогда он командовал ротой юнкеров, защищая подступы к Никитским воротам. Со стороны Страстной площади наседал с большевиками Саблин. Ро-

щин знал его по Москве еще гимназистиком, ангельски хорошеньким мальчиком с голубыми глазами и застенчивым румянцем. Было дико сопоставить юношу из интеллигентной старомосковской семьи и этого остервенелого большевика или левого эсера, — черт их там разберет, — в длинной шинели, с винтовкой, перебегающего за липами того самого, воспетого Пушкиным, Тверского бульвара, где совсем еще так недавно добропорядочный гимназистик прогуливался с грамматикой под мышкой. «Предать Россию, армию, открыть дорогу немцам, выпустить на волю дикого зверя, — вот, значит, за что вы деретесь, господин Саблин!.. Нижним чинам, этой сопатой сволочи, еще простить можно, но вам…» Рощин сам лег за пулеметом (в окопчике, на углу Малой Никитской, у молочной лавки Чичкина), и когда опять выскочила из-за дерева тонкая фигура в длинной шинели, полил ее свинцом. Саблин уронил винтовку и сел, схватившись за ляжку около паха. Почти в ту же минуту с Рощина сорвало осколком фуражку. Он выбыл из строя.

В седьмую ночь боя на Москву опустился густой желтый туман. Затихло бульканье выстрелов. Еще дрались кое-где отдельные несвязные кучки юнкеров, студентов, чиновников. Но Комитет

общественной безопасности, во главе с земским доктором Рудневым, перестал существовать. Москва была занята войсками ревкома. На другой же день на улицах можно было видеть молодых людей в штатском, в руке — узелок, в глазах — недоброе. Они пробирались к вокзалам — Курскому и Брянскому… И хотя на ногах у них были военные обмотки или кавалерийские сапоги, — никто их не задерживал.

Если бы не контузия, ушел бы и Рощин. Но у него случился легкий паралич, затем слепота (временная), затем какая-то чертовщина с сердцем. Он все ждал — вот-вот подойдут войска из ставки и начнут бить шестидюймовыми с Воробьевых гор по Кремлю. Но революция только еще начинала углубляться в народные толщи. Катя уговорила мужа уехать, забыть на время о большевиках, о немцах. А там будет видно.

Вадим Петрович подчинился. Сидел в Самаре, не выходя из докторской квартиры. Ел, спал. Но — забыть! Разворачивая каждое утро «Вестник Самарского Совета», печатающийся на оберточной бумаге, стискивал челюсти. Каждая строчка полосовала, как хлыст.

«…Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов призывает крестьян, рабочих и солдат

Германии и Австро-Венгрии дать беспощадный отпор империалистическим требованиям своих правительств… Призывает солдат, крестьян и рабочих Франции, Англии и Италии заставить свои кровавые правительства немедленно заключить честный демократический мир всех народов… Долой империалистическую войну! Да здравствует братство трудящихся всех стран!»

— Забыть! Катя, Катя! Тут нужно забыть себя. Забыть тысячелетнее прошлое. Былое величие… Еще века не прошло, когда Россия диктовала свою волю Европе… Что же, — и все это смиренно положить к ногам немцев? Диктатура пролетариата! Слова-то какие! Глупость! Ох, глупость российская… А мужичок? Ох, мужичок! Заплатит он горько за свои дела…

— Нет, Дмитрий Степанович, — отвечал Рощин на пространные рассуждения доктора за чайным столом, — в России еще найдутся силы… Мы еще не выдохлись… Мы не навоз для ваших немцев… Поборемся! Отстоим Россию! И накажем… Накажем жестоко… Дайте срок…

Катя, третья собеседница за самоваром, понимала из всех этих споров только одно, что любимый человек, Рощин, несчастен и страдает, как на медленной пытке. Коротко стриженная,

круглая голова его подернулась серебром. Худое лицо с ввалившимися темными глазами было точно обугленное. Когда он говорил, сжимая тяжелые руки на рваной клеенке стола: «Мы отомстим! Мы накажем!» — Кате представлялось только, что вот он пришел домой, обиженный, обессиленный, замученный, и грозит кому-то: «Погоди ты там, ужо с тобой расправимся…» Кому, на самом деле, мог отомстить Рощин — нежный, деликатный, смертельно уставший? Не этим же оборванным русским солдатам, выпрашивающим на студеных улицах хлеба и папирос?.. Катя осторожно садилась рядом с мужем и гладила его руку. Ее заливала нежность и жалость к нему. Она не могла ощущать зла: ощутив его к кому-нибудь, она осудила бы прежде всего себя.

Она ничего не понимала в происходящем! Революция представлялась ей грозовой ночью, опустившейся на Россию. Она боялась некоторых слов: например, совдеп казался ей свирепым словом, ревком — страшным, как рев быка, просунувшего кудрявую морду сквозь плетень в сад, где стояла маленькая Катя (было такое происшествие в детстве). Когда она разворачивала коричневый газетный лист и читала: «Французский империализм с его мрачными захватными

планами и хищническими союзами...» — ей представлялся тихий в голубоватой летней мгле Париж, запах ванили и грусти, журчащие ручейки вдоль тротуаров, вспоминала о незнакомом старом человеке, который ходил за Катей повсюду и за день до смерти заговорил с ней на скамейке в саду: «Вы не должны меня бояться, у меня грудная жаба, я старик. Со мной случилось большое несчастье, — я вас полюбил. О, какое милое, какое милое ваше лицо...» «Ну, какие же они империалисты», — думала Катя.

Зима кончалась. По городу ходили слухи один другого удивительнее. Говорили, что англичане и французы тайно мирятся с немцами, с тем чтобы общими силами двинуться на Россию. Рассказывали о легендарных победах генерала Корнилова, который с горсточкой офицеров разбивает многотысячные отряды Красной гвардии, берет станицы, отдает их за ненадобностью и к лету готовит генеральное наступление на Москву.

— Ах, Катя, — говорил Рощин, — ведь я сижу в тепле, а там дерутся... Нельзя, нельзя...

Четвертого февраля мимо окон докторской квартиры пошли толпы народа с флагами и лозунгами. Падал крупный снег, поднималась метель, медные трубы ревели «Интернационал».

Шумно ввалился в столовую доктор в шапке и шубе, засыпанный снегом.

— Господа, мир с немцами!

Рощин молча взглянул на ерническое, широкое, мокрое, самодовольно ухмыляющееся лицо доктора и подошел к окошку. Там за сплошной пеленой бурана шли бесчисленные толпы — в обнимку, кучами, крича и смеясь: шинели, шинели, полушубки, бабы, мальчишки, — валила серая, коренная Русь. Откуда взялось их столько?

Серебряный затылок Рощина, напряженный и недоумевающий, ушел в плечи. Катя щекой коснулась его плеча. За высоким окном проходила непонятная ей жизнь.

— Смотри, Вадим, — сказала она, — какие радостные лица… Неужели это конец войне? Не верится, — какое счастье…

Рощин отстранился от нее, сжал за спиной руки, разрез рта его был жесток.

— Рано обрадовались…

В небольшой сводчатой комнате сидело за столом пять человек — в помятых пиджаках, в солдатских суконных рубахах. Их лица были темны от бессонницы. На прожженном сукне, покрывавшем стол, среди бумаг, окурков и кусков хлеба, стояли чайные стаканы и телефонные

аппараты. Иногда дверь отворялась в длинный, гудящий народом коридор, входил широкоплечий, в ременном снаряжении, военный, приносил бумаги для подписи.

Председательствующий, пятый за столом, небольшого роста человек, в сером куцем пиджаке, сидел в кресле, слишком высоком по его росту, и, казалось, дремал. Левая рука его лежала на лбу, прикрывая глаза и нос; был виден только прямой рот с жесткими усиками и небритая щека с двигающимся мускулом. Только тот, кто близко знал его, мог заметить, что в щель между пальцами, устало прикрывшими лицо его, глядит острый, лукавый глаз на докладчика, отмечает игру лиц собеседников.

Почти непрерывно звонили телефоны. Тот же широкоплечий в ремнях снимал трубки, говорил вполголоса, отрывисто: «Совнарком. Совещание. Нельзя…» Время от времени кто-то наваливался на дверь из коридора, крутилась медная ручка. За окнами бушевал ветер со взморья, бил в стекла крупой и дождем.

Докладчик кончил. Сидящие — кто опустил голову, кто обхватил ее руками. Председательствующий передвинул ладонь выше на голый череп и написал записочку, подчеркнув одно

слово три раза, так что перо вонзилось в бумагу. Перебросил записочку третьему слева, худощавому, с черными усами, со стоячими волосами.

Третий слева прочел, усмехнулся в усы, написал на той же записке ответ…

Председательствующий не спеша, глядя на окно, где бушевала метель, изорвал записочку в мелкие клочки.

— Армии нет, продовольствия нет, докладчик прав, мы мечемся в пустоте, — проговорил он глуховатым голосом. — Немцы наступают и будут наступать. Докладчик прав…

— Но это конец? Какой же выход? Капитулировать? Уходить в подполье? — перебили голоса.

— Какой выход? — Он сощурился. — Драться. Драться жестоко. Разбить немцев. А если сейчас не разобьем, — отступим в Москву. Немцы возьмут Москву, — отступим на Урал. Создадим Урало-Кузнецкую республику. Там — уголь, железо и боевой пролетариат. Эвакуируем туда питерских рабочих. Разлюбезное дело. А придет нужда — будем отступать хоть до Камчатки. Одно, одно надо помнить: сохранить цвет рабочего класса, не дать его вырезать. И мы снова займем Москву и Питер… На Западе еще двадцать раз переменится… Вешать носы, хвататься за голову

— не большевистское это дело…

С неожиданной живостью он вскочил с высокого кресла, побежал, — руки в карманах, — к дубовым дверям, распахнул половинку. Из коридора, из густых испарений и тусклого света придвинулись к нему усатые, худые, морщинистые лица, горящие глаза питерских рабочих… Он поднял большую руку, запачканную чернилами:

— Товарищи, социалистическое отечество в опасности!..

2

В начале зимы на узловых станциях южнорусских дорог сталкивались два человеческих потока. С севера в донские, кубанские, терские, богатые хлебом места бежали от апокалипсического ужаса общественные деятели, переодетые военные, коммерсанты, полицейские, помещики из пылающих усадеб, аферисты, актеры, писатели, чиновники, подростки, почуявшие времена Фенимора Купера, словом — еще недавно шумное и пестрое население обеих столиц.

Навстречу с юга двигалась сплошной массой закавказская миллионная армия с оружием, пушками, снарядами, вагонами соли, сахара, мануфактуры. В скрещениях получалась теснота, где работали белогвардейские шпионы. Казаки-станичники выезжали к поездам скупать оружие, богатые мужики меняли хлеб и сало на мануфактуру. Шныряли бандиты и мелкое жулье. Пойманных пришибали тут же на путях.

Красногвардейские заслоны были мало действительны, их прорывали, как паутину. Здесь были степи, воля. Здесь еще в седую старину хо-

дили, заломив шапки. Все было непрочно, текуче, неясно. Сегодня перекрикивали иногородние, малоземельные и выбирали совдеп, а назавтра станичные казаки разгоняли шашками коммунистов и слали гонца, — с грамотой в шапке, — в Новочеркасск к атаману Каледину. Чихали здесь на питерскую власть.

Но с конца ноября питерская власть начала уже разговаривать серьезно. Создавались первые революционные отряды, — это были передвигающиеся в растерзанных вагонах эшелоны матросов, рабочих, бездомных фронтовиков. Они плохо подчинялись командованию, бушевали, дрались свирепо, но при малейшей неудаче откатывались и на грандиозных митингах после боя грозились разорвать командиров.

По тогда уже задуманному плану Дон и Кубань окружались по трем основным направлениям: с северо-запада двигался Саблин, отрезая Дон от Украины, полукольцом к Ростову и Новочеркасску подходил Сиверс, из Новороссийска надавливали отряды черноморских матросов. Изнутри готовилось восстание в заводских и угольных районах.

В январе красные отряды приблизились к Таганрогу, Ростову и Новочеркасску. В донских

станицах рознь между казаками и иногородними не достигла еще того напряжения, когда нужно браться за оружие. Дон еще лежал недвижим. Реденькие войска атамана Каледина под давлением красных без боя уходили с фронта.

Красные нависали смертельной угрозой. В Таганроге восстали рабочие и выбили из города добровольческий полк Кутепова. Красный отряд урядника Подтелкова разбил и уничтожил под Новочеркасском последний атаманский заслон.

Тогда атаман Каледин обратился к Дону с последним, безнадежным призывом — послать казаков-добровольцев в единственное стойкое военное образование — в Добровольческую армию, формируемую в Ростове генералами Корниловым, Алексеевым и Деникиным… Но на призыв атамана никто не отозвался.

Двадцать девятого января Каледин созвал в новочеркасском дворце атаманское правительство. В белом зале за полукруглым столом сели четырнадцать окружных старшин Войска Донского, знаменитые генералы и представители «московского центра по борьбе с анархией и большевизмом». Большого роста, хмурый, с висячими усами атаман сказал с мрачным спокойствием:

— Господа, должен заявить вам, что положение

наше безнадежно. Силы большевиков с каждым днем увеличиваются. Корнилов отзывает все свои части с нашего фронта. Решение его непреклонно. На мой призыв о защите Донской области нашлось всего сто сорок семь штыков. Население Дона и Кубани не только не поддерживает нас — оно нам враждебно. Почему это? Как назвать этот позорный ужас? Шкурничество погубило нас. Нет больше чувства долга, нет чести. Предлагаю вам, господа, сложить с себя полномочия и передать власть в другие руки. — Он сел и затем прибавил, ни на кого не глядя: — Господа, говорите короче, время не ждет…

Помощник атамана, «донской соловей» Митрофан Богаевский, крикнул ему злобно:

— Иными словами — вы предлагаете передать власть большевикам?..

На это атаман ответил, что пусть войсковое правительство поступает так, как ему заблагорассудится, и тотчас покинул заседание, — ушел, тяжело ступая, в боковую дверь, к себе. Он взглянул в окно на мотающиеся голые деревья парка, на безнадежные снежные тучи, позвал жену; она не ответила. Тогда он пошел дальше, в спальню, где пылал камин. Он снял тужурку и шейный крест, в последний раз, словно не вполне еще

уверенный, близко взглянул на военную карту, висевшую над постелью. Красные флажки густо обступили Дон и кубанские степи. Игла с трехцветным флажком была воткнута в черной точке Ростова. И только. Атаман вытянул из заднего кармана синих с лампасами штанов плоский теплый «браунинг» и выстрелил себе в сердце.

Девятого февраля генерал Корнилов вывел свою маленькую Добровольческую армию, — состоящую сплошь из офицеров, юнкеров и кадет, — обозы генералов и особо важных беженцев из Ростова за Дон, в степи.

Маленький, с калмыцким лицом, сердитый генерал шел в авангарде войск, пешком, с солдатским мешком за плечами. В одной из телег, в обозе, ехал, прикрытый тигровым одеялом, несчастный, больной бронхитом генерал Деникин.

За вагоном плыли бурые степи, оголенные от снега. В разбитое окно дул свежий ветер, пахнущий талой землей. Катя глядела в окно. Ее голову и грудь покрывал оренбургский платок, завязанный на спине узлом. Рощин, в солдатской шинели и рваном картузе, протянув ноги, дремал. Поезд шел медленно. Вот потянулись голые, с прижатыми ветвями, высокие деревья, густо

обсаженные гнездами. Тучи грачей кружились над ними, раскачивались на сучьях. Катя придвинулась ближе к окну. Грачи кричали тревожно, дико — по-весеннему, так же как кричали в далеком детстве, — о вешних водах, о туманах, о первых грозах.

Катя и Рощин ехали на юг, — куда? В Ростов, в Новочеркасск, в донецкие станицы? Туда, где запутывался узел гражданской войны. Рощин спал, уронив голову, небритое лицо было обтянуто, жесткие морщины выступали у рта, сложенного брезгливо. И вдруг Кате стало страшно: это было не его лицо, — чужое, остроносое… В окно ветер нес крики грачей. Потряхиваясь на стрелках, медленно шел вагон. По грязному шляху, наискосок уходящему в степь, тянулись воза, — лохматые лошаденки, телеги, залепленные грязью, бородатые, чужие, страшные люди. Рощин затянул во сне не то храп, не то стон, хриповатый, мучительный. Тогда Катя дрожащими руками коснулась его лица:

— Вадим, Вадим…

Он резко оборвал страшную ноту. Разлепил бессмысленные глаза.

— Фу, черт, снится мерзость…

Вагон остановился. Теперь слышались, кроме

грачиных, человеческие голоса. Пробежали в мужичьих сапогах бабы с мешками, толкаясь, показывая белые ляжки, полезли в товарный вагон. В окно купе, прямо на Катю, просунулась в засаленном картузе косматая голова, от самых медвежьих глаз заросшая бородой, свалянной в косицы.

— Случаем, пулеметика не продадите?

На верхней полке крякнули, кто-то сильно повернулся, веселым голосом ответил:

— Пушечки имеются, а пулеметики все продали.

— Пушки нам ни к чему, — сказал мужик, раздвигая большой рот, так что борода пошла в стороны веником. Он влез с локтями в окошко, хитро оглядывая внутренность купе, — нельзя ли к чему приспособиться? С верхней койки соскочил рослый солдат, — широкое лицо, голубые детские глаза, ладный бритый череп. Затянул сильным движением ремень на шинели.

— Тебе, отец, не воевать, на печку пора, шептунов пускать.

— Это верно, — сказал мужик, — что на печку. Нет, солдат, нынче на печи не поспишь. Спать не дадут. Ино кормиться надо.

— Разбоем?

— Ну, ты скажешь…

— А зачем тебе пулемет?

— Как тебе сказать? — Мужик закрутил нос, корявой рукой разворочал шерсть на лице, и все это затем, чтобы скрыть блеск глаз, — так они у него лукаво засмеялись. — Сынишка у меня с войны вернулся. Съезди да съезди, говорит, на станцию, прицепись к пулеметику. Пуда за четыре пшенички я бы взял. А?

— Кулачье, — сказал солдат и засмеялся, — черти гладкие! А сколько у тебя лошадей, папаша?

— Восемь бог дал. А из вещей каких или оружия ничего для продажи нет? — Он еще раз оглянул сидящих в купе и — вдруг и улыбка пропала, и глаза погасли — отвернулся, будто это не люди были в купе, а дерьмо, и пошел по грязи, по перрону, помахивая кнутиком.

— Видели его? — сказал солдат, ясно взглянув на Катю. — Восемь лошадей! А сыновей у него душ двенадцать. Посадит их на коней, и пошли гулять по степи, — добытчики. А сам — на печку, задницей в зерно, добычу копить.

Солдат перевел глаза на Рощина, и вдруг брови его поднялись, лицо просияло.

— Вадим Петрович, вы?

Рощин быстро оглянулся на Катю, но, — делать

нечего, — «Здравствуй», — протянул руку; солдат крепко пожал ее, сел рядом. Катя видела, что Рощину не по себе.

— Вот встретились, — сказал он кисло. — Рад видеть тебя в добром здравии, Алексей Иванович… А я, как видишь, — маскарад…

Тогда Катя поняла, что этот солдат был Алексей Красильников, бывший вестовой Рощина. О нем Вадим Петрович не раз рассказывал, считал его великолепным типом умного, даровитого русского мужика. Было странно, что сейчас Рощин так холодно с ним обошелся. Но, видимо, Красильников понял почему. Улыбаясь, закурил. Спросил вполголоса, деловито:

— Супруга ваша?

— Да, женился. Будьте знакомы. Катя, это тот самый мой ангел-хранитель, помнишь — я рассказывал… Повоевали, Алексей Иванович… Ну, что же, поздравляем с похабным миром… Русские орлы, хе-хе… Вот теперь пробираюсь с женой на юг… Поближе к солнышку… (Это «солнышко» прозвучало плохо, Рощин резко поморщился, Красильников и бровью не повел.) Ничего другого не остается… Благодарное отечество наградило нас — штыком в брюхо… (Он дернулся, точно по всему телу его обожгла вошь.) Вне закона — враги

народа… Так-то…

— Положение ваше затруднительное! — Красильников качнул головой, прищурясь на окошко. Там за сломанным забором в железнодорожном палисаднике сбивалась толпа. — Положение — как в чужой стране! Я вас понимаю, Вадим Петрович, а другие не поймут. Вы народу нашего не знаете.

— То есть как не знаю?

— А так… И никогда не знали. И вас сроду обманывали.

— Кто обманывал?

— Обманывали мы — солдаты, мужики… Отвернетесь, а мы смеемся. Эх, Вадим Петрович! Беззаветную отвагу, любовь к царю, отечеству — это господа выдумали, а мы долбили по солдатской словесности… Я — мужик. Сейчас за братишком моим еду в Ростов, — он там раненый лежит, офицерской пулей пробита грудь, — возьму его и — назад, в деревню… Может, крестьянствовать будем, может, воевать… Там увидим… А будем воевать по своей охоте, — без барабанного боя, жестоко… Нет, не ездите на юг, Вадим Петрович. Добра там не найдете…

Рощин, глядя на него блестящими глазами, облизнул сухие губы. Красильников все внима-

тельнее всматривался в то, что происходило в палисаднике. А там нарастал злой гул голосов. Несколько человек полезло на деревья — смотреть.

— Я говорю — с народом все равно не справитесь. Вы все равно как иностранцы, буржуи. Это слово сейчас опасное, все равно сказать — конокрады. На что генерал Корнилов вояка, — лично мне Георгиевский крест приколол. А что же, — думал поднять станицы за Учредительное собрание, и получился — пшик: слова не те, а уж он народ знает как будто… И слух такой, что мечется сейчас в кубанских степях, как собака в волчьей стае… А мужики говорят: «Буржуи бесятся, что им воли в Москве не дано…» И уж винтовочки, будьте надежны, на всякий случай вычистили и смазали. Нет, Вадим Петрович, вернитесь с супругой в столицу… Там вам безопаснее будет, чем с мужичьем… Смотрите, что делают… (Он внезапно возвысил голос, нахмурился.) Убьют сейчас его…

В палисаднике, видимо, дело подходило к концу. Двое коренастых солдат крепко, со зверскими лицами, держали хилого человека в разодранной на груди куртке из байкового одеяла. Небритое лицо его с припухшим носом было смертно бледное, струйка крови текла с края дрожащих губ.

Блестящими, побелевшими глазами он следил за молодой разъяренной бабой. Она то рвала с головы своей теплый платок, то приседала, тормоша юбки, то кидалась к бледному человеку, схватывала его за взъерошенные дыбом волосы, кричала с каким-то даже упоением:

— Украл, вытащил из-под подола, охальник! Отдай деньги! — Она схватила его за щеки, замерла.

Бледный человек неожиданно вывернулся из ее пальцев, но коренастые насели на него. Баба взвизгнула. Тогда, расталкивая народ, на месте происшествия появился давешний мужик с медвежьей головой, плечом отстранил бабу и коротко, хозяйственно ударил бледного человека в зубы: «И-эх!» Тот сразу осел. На ближайшем дереве, перегнувшись, закричал кто-то с длинными рукавами: «Бьют!» Толпа сейчас же сдвинулась. Над телом нагибались и разгибались, взмахивая кулаками.

Окно вагона поплыло мимо толпы. Наконец-то! У Кати в горле стоял клубочек задавленного крика. Рощин брезгливо морщился. Красильников покачивал головой:

— Ай, ай, ай, и ведь, наверно, убили зря. Бабы эти кого хочешь растравят. Не так мужик лют,

как они. Что с ними сделалось за четыре эти года — не поверите! Вернулись мы с войны, смотрим — другие бабы стали. Теперь ее не погладишь вожжами, — сам сторожись, гляди веселей. Ах, до чего бойки стали бабы…

На первый взгляд кажется непонятным, почему «организаторы спасения России» — главнокомандующие Алексеев и Лавр Корнилов — повели горсть офицеров и юнкеров — пять тысяч человек, — с жалкой артиллерией, почти без снарядов и патронов, на юг к Екатеринодару, в самую гущу большевизма, охватившего полукольцом столицу кубанских казаков.

Строго стратегического плана здесь усмотреть нельзя. Добровольческая армия была выпихнута из Ростова, который защищать не могла. В кубанские степи ее гнала буря революции. Но был план политический, оправдавшийся двумя месяцами позднее. Богатое казачество неминуемо должно было подняться против иногородних — то есть всего пришлого населения, живущего арендой казачьих земель и не владеющего никакими правами и привилегиями. На Кубани на один миллион четыреста тысяч казачества приходилось иногородних миллион шестьсот тысяч.

Иногородние неминуемо должны были стре-

миться к захвату земли и власти. Казачество неминуемо — с оружием восстать за охрану своих привилегий. Иногородними руководили большевики. Казачество вначале не хотело над собой никакой руки: чего было лучше — сидеть помещиками по станицам! Но, когда в феврале авантюрист, родом казак, Голубов с двадцатью семью казаками ворвался в Новочеркасске на заседание походного штаба атамана Назарова и, потрясая наганом, под щелканье винтовочных замков, закричал: «Встать, мерзавцы, советский атаман Голубов пришел принять власть!» — и на самом деле на следующий день в роще за городом расстрелял атамана Назарова вместе со штабом (с тем, чтобы самому взять атаманскую булаву), расстрелял еще около двух тысяч казачьих офицеров, кинулся в степи, схватил там Митрофана Богаевского, стал возить его по митингам, агитируя за вольный Дон и за свое атаманство, и, наконец, сам был убит на митинге в станице Заплавской, — словом, в феврале казачество осталось без головы. А тут еще с севера наседала нетерпеливая, голодная, взъерошенная Великороссия.

Стать головой казачества, сев в Екатеринодаре, мобилизовать регулярное казачье войско,

отрезать от большевистской России Кавказ, грозненскую и бакинскую нефть, подтвердить свою верность союзникам, — вот каков был на первое время план командования Добровольческой армии, отправлявшейся в так названный впоследствии «ледяной поход».

Матрос Семен Красильников (брат Алексея) лег вместе с другими на пашню, на гребне оврага, невдалеке от железнодорожной насыпи. Рядом с ним торопливо, как крот, ковырял лопаткой армеец. Закопавшись, высунул вперед себя винтовку и обернулся к Семену:

— Плотней в землю уходи, братишка.

Семен с трудом выгребал из-под себя липкие комья. Пели пули над головой. Лопата зазвенела о кирпич. Он выругался, поднялся на коленях, и сейчас же горячим толчком ударило его в грудь. Захлебнулся и упал лицом в вырытую ямку.

Это был один из многочисленных коротких боев, преграждавших путь Добровольческой армии. Как всегда почти, силы красных были значительнее. Но они могли драться, могли и отступить без большой беды: в бою, в этот первый период войны, победа для них не была обязательна. Позиция ли неудачна, или слишком огрызались «кадеты», — ладно, наложим в другой раз, и про-

пускали Корнилова.

Для Добровольческой армии каждый бой был ставкой на смерть или жизнь. Армия должна была победить и продвинуться вместе с обозами и ранеными еще на дневной переход. Отступать было некуда. Поэтому в каждый бой корниловцы вкладывали всю силу отчаяния — и побеждали. Так было и в этот раз.

В полуверсте от залегших под пулеметным огнем цепей, на стогу прошлогоднего сена, стоял, расставив ноги, Корнилов. Подняв локти, глядел в бинокль. За спиной у него вздрагивал холщовый мешок. Черный с серой опушкой нагольный полушубок расстегнут. Ему было жарко. Из-под бинокля упрямо торчал подбородок, покрытый седой щетиной.

Внизу, прижавшись к стогу, стоял поручик Долинский, адъютант командующего, — большеглазый, темнобровый юноша, в офицерской шинели, в лихо смятой фуражке. Глотая волнение, катающееся по горлу, он глядел снизу вверх на седой подбородок командующего, точно в этой щетине — страшно человечной, близкой — было сейчас все спасение.

— Ваше превосходительство, сойдите, умоляю вас, подстрелят, — повторял Долинский. Он

видел, как разлепились у Корнилова лиловые губы, судорогой оскалился рот. Значит, дело плохо. Долинский не глядел уже туда, где черными крошечными фигурками поднимались над буро-зеленой степью, перебегали густые цепи большевиков. Туда, — сссссык, сссссык, — уходили шрапнели. Но он же знал, — снарядов мало, черт, мало… Бумммм, — серьезно ухала за взорванным мостом красная шестидюймовка… Торопливо стучал пулемет. И пчелками пели пули близко где-то над головой командующего. — Ваше превосходительство, подстрелят…

Корнилов опустил бинокль. Коричневое калмыцкое лицо его, с черными, как у жаворонка, глазами, собралось в морщины. Топчась по сену, он обернулся назад, нагнулся к стоявшим за стогом спешенным текинцам — его личному конвою. Это были худые, кривоногие люди, в огромных, круглых бараньих шапках и в полосатых, цвета семги, черкесках. Не шевелясь, картинно, они держали под уздцы худых лошадей.

Резким, лающим голосом Корнилов отдал приказание, показав рукой в сторону оврага. Текинцы, как кошки, вскочили на коней, — один крикнул гортанно по-своему, — выхватили кривые сабли и на рысях, затем галопом пошли в

степь, в сторону оврага, где чернела пашня и за ней виднелась полоска железнодорожной насыпи.

Семен Красильников теперь лежал на боку, — так было легче. Еще час тому назад сильный и злой, сейчас он слабо, часто стонал, с трудом сплевывая кровью. Справа и слева от него беспорядочно стреляли товарищи. Они глядели туда же, куда и он, — на бурый, покатый бугор по ту сторону оврага. По нему вниз мчались верхоконные, человек пятьдесят, лавой. Это была атака конного резерва.

Сзади подбежал кто-то, упал на колени рядом с Красильниковым и кричал, кричал, надсаживаясь, размахивал маузером. Он был в черной кожаной куртке. Верхоконные ссыпались в овраг. Человек в куртке кричал не по-военному, но ужасно напористо:

— Не сметь отступать, не сметь отступать!

И вот над этим краем оврага поднялись огромные шапки, — раздался протяжный вой, как ветер. Выскочили текинцы. Лежа в полосатых бешметах над гривами лошадей, они скакали по вязкой пашне, где по бороздам еще лежал грязный снег. Летели в воздух комья грязи с копыт. «И-аааа-и-аааа», — визжали оскаленные смуглые

личики с усами из-под папах. Вот уже виден водяной блеск кривых сабель. Ох, не выдержат наши конной атаки! Серые шинели поднимаются с пашни. Стреляют, пятятся. Комиссар в кожаной куртке заметался — наскочил, ударил одного в спину:

— Вперед, в штыки!

Красильников видит, — один полосатый бешмет будто по-нарочному покатился с коня, и добрый конь, озираясь испуганно, поскакал в сторону. Рванул по цепи железный лязг, дымными шарами, желтым огнем разорвалась очередь шрапнели. И армеец Васька, балагур, в шинели не по росту, — сплоховал. Бросил винтовку. Весь — белый, и рот разинул, глядит на подлетающую смерть. Они все ближе, вырастают вместе с конями. Один — впереди — конь стелется, как собака, опустив морду. Текинец разогнулся, стоит в стременах, разлетаются полы халата.

— Сволочь! — Красильников тянется за винтовкой. — Эх, пропал комиссар! — Текинец рванул коня на кожаную куртку. — Стреляй же, черт!

Красильников видел только, как полоснула кривая сабля по кожаной куртке… И сейчас же вся конная лава обрушилась на цепь. Дунуло горячим лошадиным потом.

Текинцы проскочили, повернули во фланг. А на пашню из оврага уже выбегали, спотыкаясь, светло-серые и черные шинели, барски блестя погонами.

— Урррра!

Бой отодвинулся к полотну. Красильников долгое время слышал только, как стонал комиссар, порубленный саблей. Все реже раздавались выстрелы. Замолчали пушки. Красильников закрыл глаза, — гудело в голове, ломило грудь. Ему жалко было себя, не хотелось умирать. Отяжелевшее тело тянуло к земле. С жалостью вспомнил жену Матрену. Пропадет одна. А ведь как ждала его, писала в Таганрог — приезжай. Увидала бы сейчас его Матрена, перевязала бы рану, принесла бы пить. Хорошо бы воды с простоквашей…

Когда Красильников услыхал матерную ругань и голоса, не свои — барские, он приоткрыл глаз. Шли четверо: один в серой черкеске, двое в офицерских пальто, четвертый в студенческой шинели с унтер-офицерскими погонами. Винтовки — по-охотничьи — под мышкой.

— Гляди — матрос, сволочь, пырни его, — сказал один.

— Чего там — сдох… А этот — живой.

Они остановились, глядя на лежавшего Ваську-

балагура. Тот, кто был в черкеске, вдруг гаркнул бешено:

— Встань! — ударил его ногой.

Красильников видел, как поднялся Васька, половина лица залита кровью.

— Стать — руки по швам! — крикнул в черкеске, коротко ударил его в зубы. И сейчас же все четверо взяли винтовки наперевес. Плачущим голосом Васька закричал:

— Пожалейте, дяденька.

Тот, кто был в черкеске, отскочил от него и, резко выдыхая воздух, ударил его штыком в живот. Повернулся и пошел. Остальные нагнулись над Васькой, стаскивая сапоги.

Когда добровольцы, пристрелив пленных и запалив, — чтобы вперед помнили, — станичное управление, ушли дальше к югу, Семена Красильникова подобрали на пашне казаки. Они вернулись с женами, детьми и скотом в станицу, едва только обозы «кадетов» утонули за плоским горизонтом едва начинающей зеленеть степи.

Семен боялся умереть среди чужих людей. Деньги у него были с собой, и он упросил одного человека отвезти его на телеге в Ростов. Оттуда написал брату, что тяжело ранен в грудь и боится умереть среди чужих, и еще написал, что хотел бы

повидать Матрену. Письмо послал с земляком.

До восемнадцатого года Семен служил в Черноморском флоте матросом на эскадренном миноносце «Керчь».

Флотом командовал адмирал Колчак. Несмотря на ум, образованность и, как ему казалось, бескорыстную любовь к России, — Колчак ничего не понимал ни в том, что происходило, ни в том, что неизбежно должно было случиться. Он знал составы и вооружения всех флотов мира, мог безошибочно угадать в морском тумане профиль любого военного судна, был лучшим знатоком минного дела и одним из инициаторов поднятия боеспособности русского флота после Цусимы, но, если бы кто-нибудь (до семнадцатого года) заговорил с ним о политике, он ответил бы, что политикой не интересуется, ничего в ней не понимает и полагает, что политикой занимаются студенты, неопрятные курсистки и евреи.

Россия представлялась ему дымящими в кильватерной колонне дредноутами (существующими и предполагаемыми) и андреевским флагом, гордо, — на страх Германии, — веющим на флагмане. Он любил строгий и чинный (в стиле великой империи) подъезд военного министерства со знакомым швейцаром (отечески каждый раз, —

снимая пальто: «Плохая погода-с изволит быть, Александр Васильевич»), воспитанных, изящных товарищей по службе и замкнутый, дружный дух офицерского собрания. Император был возглавлением этой системы, этих традиций.

Колчак, несомненно, любил и другую Россию, ту, которая выстраивалась на шканцах корабля, — в бескозырках с ленточками, широколицая, загорелая, мускулистая. Она прекрасными голосами пела вечернюю молитву, когда на закате спускался флаг. Она «беззаветно» умирала, когда ей приказывали умереть. Ею можно было гордиться.

В семнадцатом году Колчак не колеблясь присягнул на верность Временному правительству и остался командовать Черноморским флотом. С едкой горечью, как неизбежное, он перенес падение главы империи, стиснув зубы, принял к сведению матросские комитеты и революционный порядок, все только для того, чтобы флот и Россия находились в состоянии войны с немцами. Если бы у него оставалась одна минная лодка, кажется — и тогда он продолжал бы воевать. Он ходил в Севастополе на матросские митинги и, отвечая на задирающие речи ораторов, приезжих и местных — из рабочих, говорил, что

лично ему не нужны проливы — Дарданеллы и Босфор, — так как у него нет ни земли, ни фабрик и вывозить ему из России нечего, но он требует войны, войны, войны не как наемник буржуазии (гадливая гримаса искажала его бритое лицо с сильным подбородком, слабым ртом и глубоко запавшими глазами), — «но говорю это как русский патриот».

Матросы смеялись. Ужасно! Верные, готовые еще вчера в огонь и воду за отечество и андреевский флаг, они кричали своему адмиралу: «Долой наемников империялизма!» Он произносил эти слова, «русский патриот», с силой, с открытым жестом, сам в эту минуту готовый беззаветно умереть, а матросы, — черт их попутал, — слушали адмирала как врага, пытающегося их коварно обмануть.

На митингах Семен Красильников слышал, что войну хотят продолжать не «патриоты», а заводчики и крупные помещики, загребающие на ней большие капиталы, а народу эта война не нужна. Говорили, что немцы такие же мужики и рабочие, как и наши, и воюют по причине того, что обмануты своей кровавой буржуазией и меньшевиками. «Братва» на митингах лютела от ненависти… «Тысячу лет обманывали русский

народ! Тысячу лет кровь из нас пили! Помещики, буржуи, — ах гады!» Глаза открылись: вот отчего жили хуже скотов… Вот где враг!.. И Семен, хотя и сильно тосковал по брошенному хозяйству и по молодой жене Матрене, — стискивал кулаки, слушая ораторов, пьянел, как и все, вином революции, и забывалась в этом хмеле тоска по дому, по жене, красивой Матрене…

Однажды из Питера приехал видный агитатор, Василий Рублев. Поставил вопрос: «Долго ли вам, братишки, ходить дураками, зубами ляскать на митингах? Керенский вас давно уже капиталистам продал.

Дадут вам еще небольшое время погавкать, потом контрреволюционеры всем головы пооторвут. Покуда не опоздали, скидывайте Колчака, берите флот в свои рабоче-крестьянские руки…»

На другой день с линейного корабля дано было радио: разоружить весь командный состав. Несколько офицеров застрелилось, другие отдали оружие. Колчак на флагмане «Георгий Победоносец» велел свистать наверх всю команду. Матросы, посмеиваясь, вышли на шканцы. Адмирал Колчак стоял на мостике в полной парадной форме.

— Матросы, — закричал он треснутым, высо-

ким голосом, — случилась непоправимая беда: враги народа, тайные агенты немцев, разоружили офицеров. Да какой же последний дурак может серьезно говорить об офицерском контрреволюционном заговоре! Да и вообще, должен сказать, — никакой контрреволюции нет и в природе не существует.

Тут адмирал забегал по мостику, гремя саблей, и стал отводить душу.

— Все, что произошло, я рассматриваю прежде всего как личное оскорбление мне, старшему из офицеров, и, конечно, командовать больше флотом не могу и не желаю и сейчас же телеграфирую правительству — бросаю флот, ухожу. Довольно!..

Семен видел, как адмирал схватился за золотую саблю, сжал ее обеими руками, стал отстегивать, запутался, рванул, — даже губы у него посинели.

— Каждый честный офицер должен поступить на моем месте так!..

Он поднял саблю и бросил ее в море. Но и этот исторический жест не произвел никакого впечатления на матросов.

С того времени пошли крутые события во флоте, — барометр упал на бурю. Матросы, связанные тесною жизнью на море, здоровые, смелые и

ловкие, видавшие океаны и чужие земли, более развитые, чем простые солдаты, и более чувствующие непроходимую черту между офицерской кают-компанией и матросским кубриком, — были легковоспламеняемой силой. Ею в первую голову воспользовалась революция. «Братва» со всей неизжитой страстью пошла в самое пекло борьбы и сама разжигала силы противника, который, еще колеблясь, еще не решаясь, выжидал, подтягивался, накоплялся.

Семену некогда было теперь и думать о доме, о жене. В октябре кончились прекрасные слова, заговорила винтовка. Враг был на каждом шагу. В каждом взгляде, испуганном, ненавидящем, скрытном, таилась смерть. Россия от Балтийского моря до Тихого океана, от Белого до Черного моря волновалась мутно и зловеще. Семен перекинул через плечо винтовку и пошел биться с «гидрой контрреволюции».

Рощин и Катя, с узелком и чайником, протискались через толпу на вокзале, вместе с человеческим потоком прошли через грозящую штыками заставу и побрели вверх по главной улице Ростова.

Еще полтора месяца тому назад здесь гулял, от магазина к магазину, цвет петербургского

общества. Тротуары пестрели от гвардейских фуражек, щелкали шпоры, слышалась французская речь, изящные дамы прятали носики от сырой стужи в драгоценные меха. С непостижимым легкомыслием здесь собирались только перезимовать, чтобы к белым ночам вернуться в Петербург в свои квартиры и особняки с почтенными швейцарами, колонными залами, коврами, пылающими каминами. Ах, Петербург! В конце концов, должно же все обойтись. Изящные дамы решительно ни в чем не были виноваты.

И вот великий режиссер хлопнул в ладоши: все исчезло, как на вертящейся сцене. Декорация переменилась. Улицы Ростова пустынны. Магазины заколочены, зеркальные стекла пробиты пулями. Дамы припрятали меха, повязались платочками. Меньшая часть офицерства бежала с Корниловым, остальные с театральной быстротой превратились в безобидных мещан, в актеров, куплетистов, учителей танцев и прочее. И февральский ветер понес вороха мусора по тротуарам...

— Да, опоздали, — сказал Рощин. Он шел, опустив голову. Ему казалось — тело России разламывается на тысячи кусков. Единый свод, прикрывавший империю, разбит вдребезги.

Народ становится стадом. История, великое прошлое, исчезает, как туманные завесы декорации. Обнажается голая, выжженная пустыня — могилы, могилы… Конец России. Он чувствовал, — внутри его дробится и мучит колючими осколками что-то, что он сознавал в себе незыблемым, — стержень его жизни… Спотыкаясь, он шел на шаг позади Кати. «Ростов пал, армия Корнилова, последний бродячий клочок России, не сегодня завтра будет уничтожена, и тогда — пулю в висок».

Они шли наугад. Рощин помнил адреса кое-кого из товарищей по дивизии. Но, быть может, они убежали или расстреляны? Тогда — смерть на мостовой. Он поглядел на Катю. Она шла спокойно и скромно в коротенькой драповой кофточке, в оренбургском платке. Ее милое лицо, с большими серыми глазами, простодушно оборачивалось на содранные вывески, на выбитые витрины. Уголки ее губ чуть ли не улыбались. «Что она, — не понимает всего этого ужаса? Что это за всепрощение какое-то?»

На углу стояла кучка безоружных солдат. Один, рябой, с заплывшим от кровоподтека глазом, держа серый хлеб под мышкой, не спеша отрывал кусок за куском, медленно жевал.

— Тут не разберешь — какая власть, чи советская, чи еще какая, — сказал ему другой, с деревянным сундучком, к которому были привязаны поношенные валенки. Тот, кто ел, ответил:

— Власть — товарищ Бройницкий. Добейся до него, даст эшелон, уедем. А то век будем гнить в Ростове.

— Кто он такой? Какой чин?

— Военный комиссар, что ли…

Подойдя к солдатам, Рощин спросил, как пройти по такому-то адресу. Один недоброжелательно ответил:

— Мы не здешние.

Другой сказал:

— Не вовремя, офицер, заехал на Дон.

Катя сейчас же дернула мужа за рукав, и они перешли на противоположный тротуар. Там, на сломанной скамейке под голым деревом, сидел старик в потертой шубе и соломенной шляпе. Положив щетинистый подбородок на крючок трости, он вздрагивал. Из закрытых глаз его текли слезы по впалым щекам.

У Кати затряслось лицо. Тогда Рощин дернул ее за рукав:

— Идем, идем, всех не пережалеешь…

Они долго еще бродили по грязному и ободран-

ному городу, покуда не нашли нужный им номер дома. Войдя в ворота, увидели короткого, толстоногого человека с голым, как яйцо, черепом. На нем была ватная солдатская безрукавка, до последней степени замазанная. Он нес котел, отворачивая лицо от вони. Это был однополчанин Рощина, армейский подполковник Тетькин. Он поставил котел на землю и поцеловался с Вадимом Петровичем, стукнул каблуками, пожал Кате руку.

— Вижу, вижу, и слов не говорите, устрою. Придется только в одной комнатке. Зато — зеркало-трюмо и фикус. Жена моя, изволите видеть, здешняя… Сначала-то мы тут жили (он показал на кирпичный двухэтажный дом), а нынче, по-пролетарски, сюда перебрались (он показал на деревянный покосившийся флигелишко). И я гуталин, как видите, варю. На бирже труда записался — безработным… Если соседки не донесут, как-нибудь перетерпим. Люди мы русские, не привыкать стать.

Открыв большой рот с превосходными зубами, он засмеялся, потом проговорил задумчиво: «Да, вот какие дела творятся», — и ладонью потер череп, вымазал его гуталином.

Супруга его, такая же низенькая и коренастая,

певучим голосом приветствовала гостей, но по карим глазам было заметно, что она не совсем довольна. Катю и Рощина устроили в низенькой комнатке с ободранными обоями. Здесь действительно стояло в углу, зеркалом к стене, плохонькое трюмо, фикус и железная кровать.

— Зеркальце мы для безопасности к стене лицом повернули, знаете — ценная вещь, — говорил Тетькин. — Ну, придут с обыском и сейчас же — стекло вдребезги. Лика своего не переносят. — Он опять засмеялся, потер череп. — А впрочем, я отчасти понимаю: такая, знаете, идет ломка, а тут — зеркало, — конечно, разобьешь…

Супруга его чистенько накрыла на стол, но вилки были ржавые, тарелки побитые, видимо — добро припрятали. Рощин и Катя с едким наслаждением ели вяленый рыбец, белый хлеб, яичницу с салом. Тетькин суетился, все подкладывал. Супруга его, сложив полные руки под грудью, жаловалась на жизнь:

— Такое кругом безобразие, притеснение, — прямо — египетские казни. Я, знаете, второй месяц не выхожу со двора… Хоть бы уж поскорее этих большевиков прогнали… В столице насчет этого как у вас говорят? Скоро их уничтожат?..

— Ну, уж ты выпалишь, — смущенно сказал

Тетькин. — За такие слова тебя, знаешь, нынче не пожалеют, Софья Ивановна.

— И не буду молчать, расстреливайте! — У Софьи Ивановны глаза стали круглыми, крепко подхватила руки под грудью. — Будет у нас царь, будет… (Мужу, — колыхнув грудью.) Один ты ничего не видишь…

Тетькин виновато сморщился. Когда супруга с досадой вышла, он заговорил шепотом:

— Не обращайте внимания, она душевный человек, превосходнейшая хозяйка, знаете, но от событий стала как бы ненормальная… (Он поглядел на Катино раскрасневшееся от чая лицо, на Рощина, свертывающего папиросу.) Ах, Вадим Петрович, не просто это все… Нельзя — огулом — тяп да ляп… Приходится мне соприкасаться с людьми, много вижу… Бываю в Батайске, — на той стороне Дона, — там преимущественно беднота, рабочие… Какие же они разбойники, Вадим Петрович? Нет, — униженное, оскорбленное человечество… Как они ждали советскую власть!.. Вы только, ради бога, не подумайте, что я большевик какой-нибудь… (Он умоляюще приложил к груди коротенькие волосатые руки, будто ужасно извиняясь.) Высокомерные и неумные правители отдали Ростов советской

власти… Посмотрели бы вы, что у нас делалось при атамане Каледине… По Садовой, знаете ли, блестящими вереницами разгуливали гвардейцы, распущенные и самоуверенные: «Мы эту сволочь загоним обратно в подвалы…» Вот что они говорили. А эта сволочь весь русский народ-с… Он сопротивляется, в подвал идти не хочет. В декабре я был в Новочеркасске. Помните — там на главном проспекте стоит гауптвахта, — чуть ли еще не атаман Платов соорудил ее при Александре Благословенном, — небольшая построечка во вкусе ампир. Закрываю глаза, Вадим Петрович, и как сейчас вижу ступени этого портика, залитые кровью… Проходил я тогда мимо — слышу страшный крик, такой, знаете, бывает крик, когда мучат человека… Среди белого дня, в центре столицы Дона… Подхожу. Около гауптвахты — толпа, спешенные казаки. Молчат, глядят, — у колонн происходит экзекуция, на страх населению. Из караулки выводят, по двое, рабочих, арестованных за сочувствие большевизму. Вы понимаете, — за сочувствие. Сейчас же руки им прикручивают к колоннам, и четверо крепеньких казачков бьют их нагайками по спине и по заду-с. Только — свист, рубахи, штаны летят клочками, мясо — в клочьях, и кровь, как из жи-

вотных, льет на ступени… Трудно меня удивить, а тогда удивился, — кричали очень страшно… От одной физической боли так не кричат…

Рощин слушал, опустив глаза. Пальцы его, державшие папироску, дрожали. Тетькин ковырял горчичное пятно на скатерти.

— Так вот, — уж атамана нет в живых, цвет казачьей знати закопан в овраге за городом, — кровь на ступенях возопила об отмщении. Власть бедноты… Персонально мне безразлично — гуталин ли варить или еще что другое… Вышел живым из мировой войны и ценю одно — дыхание жизни, извините за сравнение: в окопах много книг прочел, и сравнения у меня литературные… Так вот… (Он оглянулся на дверь и понизил голос.) Примирюсь со всяким строем жизни, если увижу людей счастливыми… Не большевик, поймите, Вадим Петрович… (Опять руки — к груди.) Мне самому много не нужно: кусок хлеба, щепоть табаку да истинно душевное общение… (Он смущенно засмеялся.) Но в том-то и дело, что у нас рабочие ропщут, про обывателей и не говорю… О военном комиссаре, товарище Бройницком, слыхали? Мой совет: увидите — мчится его автомобиль, — прячьтесь. Выскочил он немедленно после взятия Ростова. Чуть что:

«Меня, кричит, высоко ценит товарищ Ленин, я лично телеграфирую товарищу Ленину…» Окружил себя уголовным элементом, — реквизиции, расстрелы. По ночам на улицах раздевают кого ни попало. Ведет себя как бандит… Что же это такое? Куда идет реквизированное?.. И, знаете, ревком с ним поделать ничего не может. Боятся… Не верю я, чтобы он был идейным человеком… Пролетарской идее он больше вреда наделает, чем… (Но тут Тетькин, видя, что далеко зашел, отвернулся, сопнул и опять, уже без слов, стал прикладывать руки к груди.)

— Я вас не понимаю, господин подполковник, — проговорил Рощин холодно. — Разные там Бройницкие и компания и есть советская власть девяносто шестой пробы… Их не оправдывать, — бороться с ними, не щадя живота…

— Во имя чего-с? — поспешно спросил Тетькин.

— Во имя великой России, господин подполковник.

— А что это такое-с? Простите, я по-дурацки спрошу: великая Россия, — в чьем, собственно, понимании? Я бы хотел точнее. В представлении петроградского высшего света? Это одно-с… Или в представлении стрелкового полка, в котором

мы с вами служили, геройски погибшего на проволоках? Или московского торгового совещания, — помните, в Большом театре Рябушинский рыдал о великой России? — Это — уже дело третье. Или рабочего, воспринимающего великую Россию по праздникам из грязной пивнушки? Или — ста миллионов мужиков, которые…

— Да черт вас возьми… (Катя быстро под столом сжала Рощину руку.) Простите, подполковник. До сих пор мне было известно, что Россией называлась территория в одну шестую часть земного шара, населенная народом, прожившим на ней великую историю… Может быть, по-большевистскому это и не так… Прошу прощения… (Он горько усмехнулся сквозь трудно подавленное раздражение.)

— Нет, именно так-с… Горжусь… И лично я вполне удовлетворен, читая историю государства Российского. Но сто миллионов мужиков книг этих не читали. И не гордятся. Они желают иметь свою собственную историю, развернутую не в прошлые, а в будущие времена… Сытую историю… С этим ничего не поделаешь. К тому же у них вожди — пролетариат. Эти идут еще дальше — дерзают творить, так сказать, мировую историю… С этим тоже ничего не поделаешь… Вы

меня вините в большевизме, Вадим Петрович… Себя я виню в созерцательности, — тяжелый грех. Но извинение — в большой утомленности от окопной жизни. Со временем надеюсь стать более активным и тогда, пожалуй, не возражу на ваше обвинение…

Словом, Тетькин ощетинился, покрасневший череп его покрылся каплями пота. Рощин торопливо, не попадая крючками в петли, застегивал шинель. Катя, вся сморщившись, глядела то на мужа, то на Тетькина. После тягостного молчания Рощин сказал:

— Сожалею, что потерял товарища. Покорно благодарю за гостеприимство…

Не подавая руки, он пошел из комнаты. Тогда Катя, всегда молчаливая, — «овечка», — почти крикнула, стиснув руки:

— Вадим, прошу тебя — подожди… (Он обернулся, подняв брови.) Вадим, ты сейчас не прав… (Щеки у нее вспыхнули.) С таким настроением, с такими мыслями жить нельзя…

— Вот как! — угрожающе проговорил Рощин. — Поздравляю…

— Вадим, ты никогда не спрашивал меня, я не требовала, не вмешивалась в твои дела… Я тебе верила… Но пойми, Вадим, милый, то, что ты

думаешь, — неверно. Я давно, давно хотела сказать… Нужно делать что-то совсем другое… Не то, зачем ты приехал сюда… Сначала нужно понять… И только тогда, если ты уверен (опустив руки, от ужасного волнения она их все заламывала под столом)… если ты так уверен, что можешь взять это на свою совесть, — тогда иди, убивай…

— Катя! — зло, как от удара, крикнул Рощин. — Прошу тебя замолчать!

— Нет!.. Я говорю так потому, что безумно тебя люблю… Ты не должен быть убийцей, не должен, не должен…

Тетькин, не смея кинуться ни к ней, ни к нему, повторял шепотом:

— Друзья мои, друзья мои, давайте поговорим, договоримся…

Но договориться было уже нельзя. Все накипевшее в Рощине за последние месяцы взорвалось бешеной ненавистью. Он стоял в дверях, вытянув шею, и глядел на Катю, показывая зубы.

— Ненавижу, — прошипел. — К черту!.. С вашей любовью… Найдите себе жида… Большевичка… К черту!..

Он издал горлом тот же мучительный звук, как тогда в вагоне. Вот-вот, казалось, он сорвется, будет беда… (Тетькин двинулся даже, чтобы заго-

родить Катю.) Но Рощин медленно зажмурился и вышел…

Семен Красильников, сидя на лазаретной койке, хмуро слушал брата Алексея. Гостинцы, присланные Матреной — сало, курятина, пироги, — лежали в ногах на койке. Семен на них не глядел. Был он худ, лицо нездоровое, небритое, волосы от долгого лежания свалялись, худы были ноги в желтых бязевых подштанниках. Он перекатывал из руки в руку красное яичко. Брат Алексей, загорелый, с золотистой бородкой, сидел на табуретке, расставив ноги в хороших сапогах, говорил приятно, ласково, а с каждым его словом сердце Семена отчуждалось.

— Крестьянская линия — само собой, браток, рабочие — само собой, — говорил Алексей. — У нас на руднике «Глубоком» сунулись рабочие в шахту — она затоплена, машины не работают, инженеры все разбежались. А жрать надо, так или нет? Рабочие все до одного ушли в Красную гвардию. Их интересы, значит, углублять революцию. Так или нет? А наша, крестьянская революция — всего шесть вершков чернозему. Наше углубление — паши, сей, жни. Верно я говорю? Все пойдем воевать, а работать кто будет? Бабы? Им одним со скотиной дай бог справиться.

А земля любит уход, холю. Вот как, браток. Поедем домой, на своих харчах легче поправишься. Мы теперь с землицей. А рук нет. Боронить, сеять, убирать, — разве мы одни с Матреной справимся? Кабанов у нас теперь восемнадцать штук, коровешку вторую присмотрел. На все нужны руки.

Алексей потащил из кармана шинели кисет с махоркой. Семен кивком головы отказался курить: «Грудь еще больно». Алексей, продолжая звать брата в деревню, перебрал гостинцы, взял пухлый пирог, потрогал его.

— Да ты съешь, тут масла одного Матрена фунт загнала.

— Вот что, Алексей Иванович, — сказал Семен, — не знаю, что вам и ответить. Съездить домой — это даже с удовольствием, покуда рана не зажила. Но крестьянствовать сейчас не останусь, не надейтесь.

— Так. А спросить можно — почему?

— Не могу я, Алеша… (Рот Семена свело, он пересилился.) Ну, пойми ты — не могу. Раны я своей не могу забыть… Не могу забыть, как они товарищей истязали… (Он обернулся к окошку с той же судорогой и глядел залютевшими глазами.) Должен ты войти в мое положение… У меня одно на уме, — гадюк этих… (Он прошептал что-то,

затем — повышенно, стиснув в кулаке красное яичко.) Не успокоюсь… Покуда гады кровь нашу пьют… Не успокоюсь!..

Алексей Иванович покачал головой. Поплевав, загасил окурок между пальцами, оглянулся, — куда? — бросил под койку.

— Ну что ж, Семен, дело твое, дело святое… Поедем домой поправляться. Удерживать силой не стану.

Едва Алексей Красильников вышел из лазарета, — повстречался ему земляк Игнат, фронтовик. Остановились, поздоровались. Спросили — как живы? Игнат сказал, что работает шофером в исполкоме.

— Идем в «Солейль», — сказал Игнат, — оттуда ко мне ночевать. Сегодня там бой. Про комиссара Бройницкого слыхал? Ну, не знаю, как он сегодня вывернется. Ребята у него такие фартовые, — город воем воет. Вчера днем на том углу двух мальчишек, школьников, зарубили, и ни за что, наскочили на них с шашками. Я вот тут стоял у столба, так меня — вырвало…

Разговаривая, дошли до кинематографа «Солейль». Народу было много. Протолкались, стали около оркестра. На небольшой сцене, перед столом, где сидел президиум (круглолицая женщина

в солдатской шинели, мрачный солдат с забинтованной грязною марлей головой, сухонький старичок рабочий в очках и двое молодых в гимнастерках), ходил, мелко ступая, взад и вперед, как в клетке, очень бледный, сутулый человек с копной черных волос. Говоря, однообразно помахивал слабым кулачком, другая рука его сжимала пачку газетных вырезок. Игнат шепнул Красильникову:

— Учитель — у нас в Совете…

— …Мы не можем молчать… Мы не должны молчать… Разве у нас в городе советская власть, за которую вы боролись, товарищи?.. У нас произвол… Деспотизм хуже царского… Врываются в дом к мирным обывателям… В сумерки нельзя выйти на улицу, раздевают… Грабят… На улицах убивают детей… Я говорил об этом в исполнительном комитете, говорил в ревкоме… Они бессильны… Военный комиссар покрывает своей неограниченной властью все эти преступления… Товарищи… (Он судорожно ударил себя в грудь пачкой вырезок.) Зачем они убивают детей? Расстреливайте нас… Зачем вы убиваете детей?..

Последние слова его покрылись взволнованным гулом всего зала. Все переглядывались в страхе и возбуждении. Оратор сел к столу пре-

зидиума, закрыл сморщенное лицо газетными листками. Председательствующий, солдат с забинтованной головой, оглянулся на кулисы:

— Слово предоставляется начальнику Красной гвардии, товарищу Трифонову…

Весь зал зааплодировал. Хлопали, подняв руки. Несколько женских голосов из глубины закричало: «Просим, товарищ Трифонов». Чей-то бас рявкнул: «Даешь Трифонова!» Тогда Алексей Красильников заметил у самого оркестра стоящего спиной к залу и теперь, как пружина, выпрямившегося — лицом к орущим, — рослого и стройного человека в щегольской кожаной куртке с офицерскими, крест-накрест ремнями. Светло-стальные выпуклые глаза его насмешливо, холодно скользили по лицам, — и тотчас же руки опускались, головы втягивались в плечи, люди переставали аплодировать. Кто-то, нагибаясь, быстро пошел к выходу.

Человек со стальными глазами презрительно усмехнулся. Коротким движением поправил кобуру. У него было актерское, длинное, чисто выбритое лицо. Он опять повернулся к сцене, положил оба локтя на загородку оркестра, Игнат толкнул в бок Красильникова.

— Бройницкий. Вот, брат ты мой, взглянет, —

так страшно.

Из-за кулис, стуча тяжелыми сапогами, вышел начальник Красной гвардии Трифонов. Рукав байковой его куртки был перевязан куском кумача. В руках он держал картуз, также перевязанный по околышу красным. Весь он был коренастый, спокойный. Не спеша подошел к краю сцены. Серая кожа на обритом черепе зашевелилась. Тени от надбровий закрыли глаза. Он поднял руку (настала тишина) и полусогнутой ладонью указал на стоявшего внизу Бройницкого:

— Вот, товарищи, здесь находится товарищ Бройницкий, военный комиссар. Очень хорошо. Пусть он нам ответит на вопрос. А не захочет отвечать — мы заставим…

— Ого! — угрожающе проговорил снизу Бройницкий.

— Да, заставим. Мы — рабоче-крестьянская власть, и он обязан ей подчиниться. Время такое, товарищи, что во всем сразу трудно разобраться… Время мутное… А, как известно, дерьмо всегда наверху плавает… Отсюда мы заключаем, что к революции примазываются разные прохвосты…

— То есть?.. Ты имя, имя назови, — крикнул Бройницкий с сильным польским акцентом.

— Дойдем и до имени, не спеши… Кровавыми

усилиями рабочих и крестьян очистили мы, товарищи, город Ростов от белогвардейских банд… Советская власть твердой ногой стоит на Дону. Почему же со всех сторон раздаются протесты? Рабочие волнуются, красногвардейцы недовольны… Бунтуют эшелоны, — зачем, мол, гноите нас на путях… Только что мы слышали здесь голос представителя интеллигенции (ладонью — на предыдущего оратора). В чем же дело? Как будто все недовольны советской властью. Говорят, — зачем вы грабите, зачем пьянствуете, зачем убиваете детей? Предыдущий оратор даже сам предложил себя расстрелять… (Смех в двух-трех местах, несколько хлопков.) Товарищи! Советская власть не грабит и не убивает детей. А вот разная сволочь, примазавшаяся к советской власти, грабит и убивает… И тем самым подрывает веру в советскую власть, и тем самым дает нашим врагам в руки беспощадное оружие… (Пауза, тишина, не слышно дыхания сотен людей.) Вот я и хочу задать товарищу Бройницкому вопрос… Известно ли ему о вчерашнем убийстве двух подростков?

Ледяной голос снизу:

— Да, известно.

— Очень хорошо. А известно ему о ночных

грабежах, о поголовном пьянстве в гостинице «Палас»? Известно ему, в чьи руки попадают реквизированные товары? Молчите, товарищ Бройницкий? Вам нечего отвечать. Реквизированные товары пропиваются шайкой бандитов… (Гул в зале. Трифонов поднял руку.) И вот что еще нам стало известно… Никто вам власти в Ростове не давал, и ваш мандат подложный, и ваши ссылки на Москву, тем паче на товарища Ленина, — наглая ложь…

Бройницкий стоял теперь выпрямившись. По красивому побледневшему лицу его пробегали судороги. Внезапно он кинулся вбок, где стоял, разинув рот, белобрысый парень-армеец, схватил его за шинель и, указывая на Трифонова, крикнул страшным голосом:

— Застрели его, подлеца!

У парня зверски исказилось лицо — потащил со спины винтовку. Трифонов стоял неподвижно, раздвинув ноги, только нагнул голову бычьим движением. Выскочив из-за кулисы, около него появился рабочий, торопливо защелкал затвором винтовки, сейчас же — другой, третий, и вся сцена зачернела от курток, бекеш, шинелей, зазвенели, сталкиваясь, штыки. Тогда председатель влез на стул и, поправляя лезущую на глаза

марлю, закричал простуженным голосом:

— Товарищи, прошу не вносить паники, ничего непредвиденного не случилось. Там, позади, закройте двери. Товарищ Трифонов в полной безопасности. Слово для ответа предоставляю товарищу Бройницкому.

Но Бройницкий исчез. Один белобрысый армеец с винтовкой продолжал стоять у оркестра, изумленно разинув рот.

3

Под станицей Кореневской Добровольческая армия встретила очень серьезное сопротивление. Все же, с большими потерями, станица была взята, и здесь подтвердилось то, что скрывали от армии и чего боялись больше всего на свете: несколько дней тому назад столица Кубани, Екатеринодар, — то есть цель похода, надежда на отдых и база для дальнейшей борьбы, — сдалась без боя большевикам. Кубанские добровольцы под командой Покровского, кубанский атаман и Рада бежали в неизвестном направлении. Так, неожиданно, в трех переходах от цели похода, армия оказалась в мешке.

Обманула и надежда на радушие Кубани. Казаки, видимо, рассудили сами, без помощи «кадетов», разобраться в происходящем. Хутора по пути армии оказывались покинутыми, в каждой станице ждала засада, за гребнем каждого холма сторожил пулемет. На что теперь могла рассчитывать Добровольческая армия? На то ли, чтобы кубанские казаки, — выходцы с Украины, — или черкесы, вспоминавшие древнюю

вражду к русским, или застрявшие на богатой Кубани эшелоны кавказской армии — вдруг запели бы вместе с золотопогонным офицерством и безусыми юнкерами: «Так за Корнилова, за родину, за веру мы грянем дружное „ура!“. Но это, только эту формулу, несъедобную и стертую, как царский двугривенный, и могла предложить Добровольческая армия и богатым казачьим станицам, насторожившимся — „а не время ли уже объявить свою, казачью, независимую республику?“, и иногородним, качнувшимся под красные знамена, чтобы драться за равенство прав на донские и кубанские земли и рыбные ловли, за станичные Советы…

Правда, в обозе за армией ехал знаменитейший агитатор, матрос Федор Баткин, кривоногий, черноватый мужчина в бушлате и бескозырке с георгиевскими ленточками. Много раз офицеры пытались его пристрелить в обозе как жида и красного сукина сына. Но его охранял сам Корнилов, считавший, что знаменитый матрос Баткин вполне восполняет все недостатки по части идеологии в армии. Когда главнокомандующему приходилось говорить перед народом (в станицах), он выпускал перед собой Баткина, и тот хитроумно доказывал поселянам, что

Корнилов защищает революцию, а большевики, напротив, — контрреволюционеры, купленные немцами.

Сдаться армии было нельзя, — в плен в то время не брали. Рассеяться — перебьют поодиночке. Был даже план пробиться через астраханские степи на Волгу и уйти в Сибирь. Но Корнилов настоял: продолжать поход на Екатеринодар, чтобы брать город штурмом. От Кореневской армия свернула на юг и перешла с тяжелыми боями у станицы Усть-Лабинской реку Кубань, вздувшуюся и бурную в это время года. Армия шла не останавливаясь, таща за собой обозы с большим количеством раненых. Но все же она настолько была страшна и так больно огрызалась, что каждый раз кольцо красных войск разрывалось, пропуская ее.

Армия двигалась в направлении на Майкоп, обманывая противника, но, дойдя до станицы Филипповской, перешла реку Белую и круто повернула на запад, в тыл Екатеринодару. Здесь, за Белой, в узком ущелье ее охватили большие силы красных. Положение казалось безнадежным. Розданы были винтовки легко раненным из обоза… Бой продолжался весь день. Красные с высот били из пушек и мели пулеметами по

переправам, по обозу, не давали подняться цепям. Но в сумерки, когда растрепанные части добровольцев с последним, отчаянным усилием двинулись в контрнаступление, красные отхлынули с высот и пропустили корниловское войско на запад. Произошло то же, что и раньше: победили военный опыт и сознание, что от исхода этого боя зависит жизнь.

Всю ночь кругом пылали станицы. Погода портилась, дул северный ветер. Небо заволокло непроглядными грядами туч. Начался дождь и лил как из ведра всю ночь. Пятнадцатого марта армия, двигавшаяся на Ново-Дмитровскую, увидела перед собой сплошные пространства воды и жидкой грязи. Редкие холмы с колеями дорог пропадали в тумане, стлавшемся над землей. Люди шли по колено в воде, телеги и пушки вязли по ступицу. Валил мокрый снег, закрутилась небывалая вьюга.

Рощин вылез из товарного вагона, оправил винтовку и вещевой мешок. Оглянулся. На путях шумели кучки солдат Варнавского полка… Тут были и шинели, и нагольные полушубки, и городские пальто, подпоясанные веревочками. У многих — пулеметные ленты, гранаты, револьверы. У кого — картуз, у кого — папаха на голове,

у кого — отнятый у спекулянта котелок. Топкую грязь месили рваные сапоги, валенки, ноги, обернутые тряпьем. Сталкиваясь штыками, кричали: «Вали, ребята, на митинг! Сами разберемся! Мало нас на убой гоняли!»

Возбуждение было по поводу, как всегда преувеличенных, слухов о поражении красных частей под Филипповской. Кричали: «У Корнилова пятьдесят тысяч кадетов, а на него по одному полку посылают на убой… Измена, ребята! Тащи командира!»

На станционный двор, сейчас же за станцией переходящий в степь, задернутую дождевой мглой, сбегались бойцы. В товарных вагонах с грохотом отъезжали двери, выскакивали одичавшие люди с винтовками, озабоченно бежали туда же, где над толпой свистел ветер в еще голых пирамидальных тополях и орали, кружились грачи. Ораторы влезали на дерновую крышу погреба, вытягивая перед собой кулак — кричали: «Товарищи, почему нас бьют корниловские банды?.. Почему кадетов подпустили к Екатеринодару?.. Какой тут план?.. Пускай командир ответит».

Тысячная толпа рявкнула: «К ответу!» — с такой силой, что грачи взвились под самые тучи. Рощин, стоя на крыльце вокзала, видел, как в

гуще шевелящихся голов поплыла к дерновому погребу смятая фуражка командира: костлявое, бритое лицо его, с остановившимся взором, было бледное и решительное. Рощин узнал старого знакомого, Сергея Сергеевича Сапожкова.

Когда-то, еще до войны, Сапожков выступал от группы «людей будущего», разносил в щепки старую мораль. Появлялся в буржуазном обществе с соблазнительными рисунками на щеках и в сюртуке из ярко-зеленой бумазеи. Во время войны ушел вольноопределяющимся в кавалерию, был известен как отчаянный разведчик и бретер. Получил чин подпоручика. Затем неожиданно, в начале семнадцатого года, был арестован, отвезен в Петроград и приговорен к расстрелу за принадлежность к подпольной организации. Освобожденный Февральской революцией, выступал некоторое время от группы анархистов в Совете солдатских депутатов. Затем куда-то исчез и снова появился в октябре, участвуя во взятии Зимнего дворца. Одним из первых кадровых офицеров пошел на службу в Красную гвардию.

Сейчас он, скользя и срываясь, влез на дерновую крышу и, собрав складки под подбородком, засунул большие пальцы за пояс, глядел на тысячи задранных к нему голов.

— Хотите знать, дьяволы горластые, почему золотопогонная сволочь вас бьет? А вот из-за этого крика и безобразия, — заговорил он насмешливо и не особенно громко, но так, что было слышно повсюду. — Мало того, что вы не слушаете приказов главковерха, мало того, что по всякому поводу начинаете гавкать… Оказывается, тут еще и паникеры!.. Кто вам сказал, что под Филипповской нас разбили? Кто сказал, что Корнилова предательски подпустили к Екатеринодару? Ты, что ли? (Он быстро выкинул руку с наганом и указал им на кого-то из стоящих внизу.) Ну-ка, влезь ко мне, поговорим… Ага, это не ты сказал… (Он нехотя засунул револьвер в карман.) Думаете, я такой дурак и мамкин сын — не понимаю, из-за чего вы гавкаете… А хотите, скажу — из-за чего? Вон — Федька Иволгин — раз, Павленков — два, Терентий Дуля — три — получили по прямому проводу сообщение, что на станции Афипской стоят цистерны со спиртом… (Смех. Рощин криво усмехнулся: «Вывернулся, мерзавец, шут гороховый».) Ну, ясное дело — эти ребята рвутся в бой. Ясное дело, главком — предатель, а вдруг цистерны со спиртом попадут корниловским офицерам… Вот горе-то для республики… (Взрыв смеха, и опять — грачи под небо.) Инцидент

считаю ликвидированным, товарищи… Читаю последнюю оперативную сводку.

Сапожков вытащил листки и начал громко читать. Рощин отвернулся, вышел через вокзал на перрон и, присев на сломанную скамью, стал свертывать махорочку. Неделю тому назад он записался (по фальшивым документам) в идущий на фронт красногвардейский эшелон. С Катей кое-как было устроено. После тяжелого разговора у Тетькина за чаем Рощин прошатался весь остаток дня по городу, ночью вернулся к Кате и, не глядя ей в лицо, чтобы не дрогнуть, сказал сурово:

— Ты поживешь здесь месяц-два, — не знаю… Вы с ним, надеюсь, вполне сойдетесь в убеждениях… При первой возможности я ему заплачу за постой. Но настаиваю, — будь добра, сообщи ему сейчас же, что не даром, без благодеяний… Ну-с, а я на некоторое время пропаду.

Слабым движением губ Катя спросила:

— На фронт?

— Ну, это, знаешь, совершенно одного меня касается…

Плохо, плохо было устроено с Катей. Прошлым летом, в июльский день, на набережной, где в зеркальной Неве отражались очертания мостов и

колоннада Васильевского острова, — в тот далеко отошедший солнечный день, — Рощин сказал Кате, сидевшей у воды на гранитной скамье: «Окончатся войны, пройдут революции, исчезнут царства, и нетленным останется одно только сердце ваше…» И вот расстались врагами на грязном дворе… Катя не заслужила такого конца… «Но, черт ли, когда всей России — конец…»

План Рощина был прост: добраться вместе с красногвардейской частью в район боев с Добровольческой армией и при первом же случае перебежать. В армии его лично знали генерал Марков и полковник Неженцев. Он мог сообщить им ценные сведения о расположении и состоянии красных войск. Но самое главное — почувствовать себя среди своих, сбросить проклятую личину, вздохнуть наконец полной грудью, — выплюнуть вместе с пачкой пуль в лицо «обманутому дурачью, разнузданным дикарям» кровавый сгусток ненависти…

— Командир правильно выразился насчет спирта. Шумим много. Громадный шум устроили, а как разбираться будем, тут, брат, призадумаешься, — проговорил невзрачный человек в нагольном полушубке с торчащей под мышками и на спине овчиной. Он присел на скамью к

Рощину и попросил табачку. — Я, знаешь, по-стариковски — трубочку покуриваю. (Он повернул хитрое, обветренное лицо с бесцветной бородкой и сощуренными глазами.) В Нижнем служил у купцов при амбарах, ну и привык к трубочке. С четырнадцатого года воюю, все перестать не могу, вот, брат, вояка-то, ей-богу.

— Да, пора бы уж тебе на покой, — с неохотой сказал Рощин.

— На покой! Где этот твой покой? Ты, парень, я вижу, из богатеньких. Нет, я воевать не брошу. Я вот как хлебнул горя-то от буржуев! С шестнадцати лет по людям, и все в караульщиках. Возвысился до кучера у Васенковых купцов, — может, слыхал, — да опоил пару серых, хорошие были кони, опоил, прямо сознаюсь; прогнали, конечно. Сын убит, жена давно померла. Ты теперь мне говори — за кого мне воевать: за Советы или за буржуев? Я сыт, сапоги вот на прошлой неделе снял с покойничка. Сырость не пропускают, — смотри, какой товар. Занятие: пострелял, сходил на ура, и садись у котла. И трудишься за свое дело, парень. Бедняки, голь, как говорится, бесштанная, у кого горе-злосчастье в избе на лавке сидит, — вот наша армия. А Учредительное собрание, — я видел в Нижнем, как выбирали, —

одни интеллигенты да беспощадные старцы.

— Ловко ты насобачился разговаривать, — сказал Рощин, скрытно скользнув взглядом по собеседнику. Звали его Квашин. С ним он таскался вот уже неделю в одном вагоне, спал рядом на верхних нарах. Квашина в вагоне звали «дедом». Всюду, где можно, он пристраивался с газетой, — надевал на сухонький нос золотое пенсне и читал вполголоса. «Эту пенсне, — рассказывал он, — получил я в Самаре по ордеру. Эту пенсне заказал себе Башкиров, миллионер. А я пользуюсь».

— Это верно, что насобачился, — ответил он Рощину, — я ни одного митинга не пропускаю. Придешь на вокзал, все декреты, постановления, все прочту. Наша пролетарская сила — разговор. Чего мы стоим молчаливые-то, без сознания? Плотва!

Он вынул газету, осторожно развернул ее, степенно надел пенсне и стал читать передовицу, выговаривая слова так, будто они были написаны не по-русски:

— «...Помните, что вы сражаетесь за счастье всех трудящихся и эксплуатируемых, вы сражаетесь за право строить лучшую, справедливую жизнь...»

Рощин отвернулся и не заметил, что Квашин,

произнося эти слова, пристально глядит на него поверх пенсне.

— Вот, парень, и видно, что ты из богатеньких, — другим уже голосом сказал Квашин. — Мое чтение тебе не нравится. А ты не шпион?

От станции Афипской эшелон Варнавского полка в пешем строю двинулся к станице Ново-Дмитровской. В полуночной тьме свистал ветер на штыках, рвал одежду, сек лицо ледяной крупой. Ноги проваливались сквозь корку снега, уходили в липкую грязь. Сквозь шум ветра доносились крики: «Стой! Стой! Легче! Не напирай, дьяволы!»

Стужа дула сквозь шинелишку, застывали кости. Рощин думал: «Только бы не упасть, — конец, затопчут…» Мучительнее всего были эти остановки и крики впереди. Ясно, что сбились с дороги, бродили где-то по краю не то оврага, не то речки. «Братцы, не могу больше», — прощался чей-то срывающийся голос. «Не Квашин ли это крикнул? Он все время шел рядом. Догадывается, не верит ни одному слову». (Рощин насилу от него вчера отвязался.) Вот опять впереди остановились. Рощин уткнулся в чью-то коробом замерзшую спину. Стоя с засунутыми в рукава окоченевшими руками, с опущенной головой, подумал:

«Вот так четыре года преодолеваю усталость, исходил тысячи верст — затем, чтобы убивать. Это очень важно и очень значительно. Обидел и бросил Катю, — это менее значительно. Завтра, послезавтра перебегу и в такую же метель буду убивать этих, русских. Странно. Катя говорит, что я благородный и добрый человек. Странно, очень странно».

Он с любопытством отметил эти мысли. Они оборвались. «Э-э, — подумал он, — плохо. Замерзаю. Проходят последние, главные мысли. Значит, сейчас лягу в снег».

Но замерзшая спина впереди качнулась и пошла. Качнулся и пошел за нею Рощин. Вот ноги уже стали вязнуть по колено. Пудовый сапог с трудом выворачивался из глины. Донесло ветром обрывок крика: «Река, ребята…» Раскатилась ругань. А ветер все свистал в штыках, навевая странные мысли. Неясные, согнувшиеся фигуры брели мимо Рощина. Он собрал силы, со стоном вытащил ногу и опять побрел.

Темной чертой на снегу проступал бурный поток, дальше все занавесило летящим снегом. Ноги скользили по откосу. Бешено неслась темная вода. Крики:

— Мост залило…

— Назад, что ли?

— Это кто — назад? Ты, что ли? Ты — назад?

— Пусти… Товарищ, да пусти.

— Дай ему прикладом…

— Ой… ой… ой…

Внизу за краем берега вспыхнул конус света от электрического фонарика. Осветилась горбушка моста, залитого серой, стремительно несущейся водой, расщепленный кусок перил. Фонарик взмахнул высоко, зигзагом, — погас. Хриплый, страшный голос:

— Отделение… Переходи… Винтовки, патроны на голову. Не напирай, — по двое… Пошел!

Подняв винтовку, Рощин вошел по пояс в воду, и она была все же не так холодна, как ветер. Она сильно била в правый бок, толкала, старалась унести в эту серо-белую тьму, в пучину. Ноги скользили, едва ощупывая доски разбитого моста.

Варнавский полк был переброшен на Ново-Дмитровскую для подкрепления местных сил. Все население станицы рыло окопы, — укрепляли станичное управление и отдельные дома, ставили пулеметы. Тяжелая артиллерия находилась южнее, в станице Григорьевской. В том же районе стоял 2-й Северокавказский полк под командой

Дмитрия Жлобы, преследовавшего Добровольческую армию от самого Ростова. Западнее, на Афипской, — гарнизон, артиллерия и бронепоезда. Силы красных оказались разбросанными, что было недопустимо в такую топь и бездорожье.

Под вечер через площадь к станичному управлению прискакал казак, залепленный мокрым снегом и грязью. Осадил у крыльца. От раздувающихся конских боков валил пар.

— Где товарищ командир?

На крыльцо выскочили, торопливо застегивая шинели, несколько человек. Расталкивая их, появился Сапожков в кавалерийском полушубке.

— Я командир.

Переведя дух, навалясь на луку, казак сказал:

— Застава вся перебита. Один я ушел.

— Еще что?

— А то еще, — к ночи ждите сюда Корнилова, идет всей силой…

На крыльце переглянулись. Среди стоящих были коммунисты, организаторы обороны станицы. Сапожков засопел, собрал складками подбородок: «Я готов, как вы, товарищи?..» Казак, слезши с коня, стал рассказывать, как всю заставу порубили черкесы из бригады генерала Эрдели. Тесная толпа бойцов, казачек, мальчишек сбилась у

крыльца. Слушали молча.

Подошел и Рощин, обвязанный башлыком. Ночью ему удалось выспаться и обсушиться в жаркой и вонючей хате, где вповалку среди портянок и мокрой одежи лежало человек пятьдесят красноармейцев. Хозяйка на рассвете испекла хлебы, сама разрезала и раздала ребятам ломти.

— Уж постарайтесь, солдаты, не допустите офицеров в нашу станицу.

Красноармейцы отвечали молодой хозяйке:

— Ничего не бойся… Одного бойся…

И ввертывали такое словцо, что она замахивалась краюхой:

— А ну вас, кабаны, — перед смертью — все про то же…

От вчерашнего ночного похода у Рощина осталась ломота и тупая боль во всем теле. Но решение его было твердо. С утра он копал мерзлую землю на огородах. Потом носил жестянки с патронами с подвод в станичное правление. В обед выдали по чашке спирту, и от огненной влаги у Рощина прошла ломота, отмякли кости, и он решил — не откладывать, кончить сегодня же.

Сейчас он вертелся у крыльца, ища случая попроситься в передовую заставу. Продумано было все, вплоть до капитанских погон, зашитых

на груди в гимнастерке. Как он ожидал, так и случилось. Стоявший с Сапожковым коренастый матрос спустился с крыльца и стал вызывать охотников на опасное дело.

— Братишки, — сказал он чугунным голосом, — а ну, кому жизнь не дорога…

Через час с одной из партий в пятьдесят бойцов Рощин выходил из станицы на равнину, затянутую непроглядным туманом. Спускались гнилые сумерки. Снег теперь перестал, порывистый ветер хлестал крупным дождем. Шли без дорог по сплошной воде, как по озеру, в направлении холмов, где нужно было рыть окопы.

В сырой утренней мгле блеснула зарница. Бухнуло. Завыло, уходя… И сейчас же по холмам, по берегу речки беспорядочно захлопали выстрелы. Снова — зарница, пушечный выстрел, и там, впереди, в тумане затукал пулемет.

Это подходил Корнилов. Его передовые части были уже на том берегу реки. Рощину показалось, что он различил две-три фигуры, перебежавшие, нагнувшись, к самой воде, в кусты. Колотилось сердце. Он высунулся из окопчика, вырытого у кручи над речкой.

Мутная желто-оловянного цвета река неслась водоворотами высоко в берегах. Налево, посреди

нее, был виден наполовину затопленный мост. На него из воды вылезло десятка два тех неясных фигур, — нагнувшись, перебежали. Все беспорядочнее, все учащеннее стреляли с холмов по реке, по мосту. Совсем близко, на том берегу, ударило длинное пламя орудия. Над окопчиком, где сидел Рощин, разорвалась шрапнель. Из-за гребня, вниз к переправе, посыпались серые и черные фигуры, — сбегали, сползали на заду, скатывались, падали. У всех черточками на плечах виднелись погоны.

Снова орудийный удар и рваный грохот над окопчиком. «Ой, ой, братцы…» — затянул голос. Сквозь треск стрельбы кто-то завопил:

— Обходят!.. Ребята, отступайте!..

Рощин чувствовал: вот, вот, — жданная минута. Он быстро прилег ничком, не шевелился. Пронеслось в голове: «Платка нет, кусок рубашки на штык и кричать, — непременно по-французски…» На спину ему тяжело кто-то упал, навалился, обхватил за шею, кряхтя полез к горлу пальцами. Рощин вскинулся — увидел за плечом своим лицо, залитое кровью, с выпученным рыжим глазом, с разинутым беззубым ртом. Это опять был Квашин. Он повторял, будто в забытьи:

— Крестишься… своих увидал…

Рощин, отдирая его со спины, поднялся во весь рост, закачался. Как клещ, вцепился Квашин в плечи. Борясь, Рощин опрокинулся на бруствер окопчика, в бешенстве вцепился зубами в вонючий полушубок. Чувствовал — локти и колени начинают скользить по жидкой глине, — обрыв был в полутора шагах.

— Пусти же! — зарычал наконец Рощин.

Земля под ним осела, и он вместе с Квашиным покатился под обрыв к реке.

От орудийной стрельбы гудело все вокруг, вздрагивала земля от взрывов. Через реку переправлялись главные силы армии. По переправам била артиллерия из станицы Григорьевской. Гранаты ложились повсюду по снежному полю, падали в реку — взлетали столбами воды.

Пехота белых переправлялась — по двое — на конях. Лошади пятились, заходя в быструю реку, их кололи штыками. С крутого и разъезженного берега вскачь съезжала орудийная запряжка. Валясь со стороны на сторону, орудие скрывалось под водой. Ездовые били плетями, тощие кони кое-как выволакивали пушку на горб полузатопленного моста. По сторонам падали, рвались снаряды, кипела вода. Кони становились на дыбы, путались в постромках.

Поскакали вниз пулеметные двуколки, мимо моста — в реку. Поплыли, закрутились. Одну перевернуло, понесло вместе с конями и с людьми, вцепившимися в колеса. С неба скользнула в эту кашу граната, и высоко поднялись в водяном столбе осколки дерева и клочки разорванных тел.

На берегу вертелся на грязной лошадке небольшой человек с бородкой, в коричневой байковой куртке, в белой, глубоко надвинутой папахе. Грозя нагайкой, он кричал высоким, фатовским голосом. Это был генерал Марков, распоряжавшийся переправой. О его храбрости рассказывали фантастические истории.

Марков был из тех людей, дравшихся в мировую войну, которые навсегда отравились ее трупным дыханием: с биноклем на коне или с шашкой в наступающей цепи, командуя страшной игрой боя, он, должно быть, испытывал ни с чем не сравнимое наслаждение. В конце концов, он мог бы воевать с кем угодно и за что угодно. В его мозгу помещалось немного готовых формул о боге, царе и отечестве. Для него это были абсолютные истины, большего не требовалось. Он, как шахматный игрок, решая партию, изо всего мирового пространства видел только движение

фигур на квадратиках.

Он был честолюбив, надменен и резок с подчиненными. В армии его боялись, и многие таили обиды на этого человека, видевшего в людях только шахматные фигуры. Но он был храбр и хорошо знал те острые минуты боя, когда командиру для решающего хода нужно пошутить со смертью, выйдя впереди цепи с хлыстиком под секущий свинец.

Час, и другой, и третий продолжалась переправа. Реку и берега снова затянуло снежной метелью. Ветер усилился, поворачивая на север. Быстро холодало. Рощин, лежавший с вывихнутым плечом у воды под кручей, давно уже бросил надеяться, что его кто-нибудь заметит. Несмотря на боль в плече, он вытащил из-за пазухи погоны, кое-как пристегнул их булавками к гимнастерке, сорвал пятиконечную звезду с картуза. Труп Квашина давно унесло рекой. Раненые валялись повсюду, было не до них.

Переходившая армия, не останавливаясь, с боем уходила на Ново-Дмитровскую. На людях замерзала одежда, покрывалась ледяной корой. Земля застывала и звенела под копытами и колесами, кочки и колеи рвали обувь, раздирали ноги. Кое-кто из раненых поднялся и полез на

обрывистый берег, ковыляя и срываясь. Рощин чувствовал, что ноги его примерзают к земле. Стиснув зубы (болели плечо, поясница, разбитое колено), он также поднялся и побрел за вереницей раненых. На него не обращали внимания. Большого труда стоило взобраться на кручу. Там, наверху, подхватила метель и посвистывали пули. Ковылявший впереди сутулый человек, в мерзлой офицерской шинели и в торчащем конусом башлыке, неожиданно рванулся вбок, упал. Рощин только ниже нагнулся, преодолевая ветер.

Занесенная снегом, валялась лошадь с задранной задней ногой. У брошенного орудия стояли, низко опустив морды, две костлявые клячи, бока их смерзлись и на спины нанесло сугробики. А впереди все грознее, все настойчивее стучали пулеметы. Добровольческая армия дралась за то, чтобы этой ночью залезть в теплые хаты, не сдохнуть во вьюжном поле.

По наступающим била артиллерия из Григорьевской. Но остальные силы красных, также и резервы из Афипской, не были брошены в бой. Второй Кавказский полк получил приказ о наступлении только уже после того, как Варнавский был окружен в Ново-Дмитровской и погибал в

рукопашном бою на улицах. Второй Кавказский прошел десять верст по сплошным болотам и плавням, потеряв целую роту утонувшими и замерзшими, и ударил в тыл белым, дав возможность остаткам варнавцев прорвать окружение.

Такая же путаница и неразбериха происходила и у белых. Кубанский отряд Покровского, который должен был атаковать станицу с юга, заупрямился и не пошел по болотам. К тому же Покровский, получивший генеральские погоны не от царя, а от кубанского правительства, был жестоко обижен на военном совещании генералом Алексеевым, сказавшим ему с вельможной презрительностью: «Э, полноте, полковник, — извините, не знаю, как вас теперь величать...» За этого «полковника» Покровский и не пошел через болото. Коннице генерала Эрдели, направленной в обхват станицы с севера, не удалось перейти через разлившийся овраг, и к ночи она вернулась к общей переправе.

Первым у Ново-Дмитровской оказался офицерский полк. Полузамерзшие, остервенелые офицеры, матерые вояки, услышали жилой запах кизяка и печеного хлеба, увидели теплый свет в окошках и, не дожидаясь подкреплений, поползли по снежно-грязному месиву, по сплошной

воде, подернутой ледком. У самых подступов их заметили и открыли по ним пулеметный огонь. Офицеры бросились в штыки. Каждый из них знал, как и что в каждую секунду он должен делать. Повсюду мелькала белая папаха Маркова. Это был бой командного состава с неумело руководимой и плохо дисциплинированной толпой солдат.

Офицеры ворвались в станицу и перемешались в рукопашной схватке на улицах с варнавцами и партизанами. В темноте и свалке пулеметчики были заколоты или разорваны гранатами у своих пулеметов. К белым непрерывно подходили подкрепления. Красные были окружены и стали отступать к площади, где в станичном правлении сидел ревком.

Стреляли из-за каждого прикрытия, дрались на каждом перекрестке. В вихре грязи подскакала орудийная запряжка, развернулась с краю площади, орудие уставилось рылом в фасад станичного правления и ударило гранатой: бух-дззын! бух-дзын! Из окон начали выскакивать люди, повалил желтый дым, — там от орудийного огня начали рваться жестянки с патронами.

В это как раз время 2-й Кавказский полк обстрелял с востока наступающих. Варнавцы услышали

бой в тылу у неприятеля и приободрились. Сапожков, сорвавший голос от крика и ругани, выхватил у знаменосца полковое знамя, обернутое клеенкой, и, размахивая им, побежал через площадь к высоким мотающимся тополям, где гуще всего скоплялись белые. Варнавцы стали выскакивать из-за ворот и заборов, подниматься с земли, бежали со всех сторон со штыками наперевес. Опрокинули заграждение, прорвались и вышли из станицы на запад.

* * *

Эту ночь Рощин провел в брошенной телеге, вытащив из нее два застывших трупа и зарывшись в сено. Всю ночь одиноко бухали пушки, рвалась шрапнель над Ново-Дмитровской. С утра туда потянулись обозы добровольцев, ночевавшие в станице Калужской. Рощин вылез из телеги и прошел за обоз. Возбуждение его было так велико, что он не чувствовал боли.

Ветер, все еще сильный, дул теперь с востока, разметывая снежные и дождевые тучи. Часам к восьми утра сквозь несущиеся в вышине обрывки непогоды засинело вымытое небо. Прямыми, как мечи, горячими лучами падал солнечный свет. Снег таял. Степь быстро темнела, проступали

изумрудные полоски зеленей и желтые полоски жнивья. Блестели воды, бежали ручьи по дорожным колеям. Трупы, обсохшие на буграх, глядели мертвыми глазами в лазурь.

— Гляди-ка, да это Рощин, ей-богу! Рощин, ты как сюда попал? — крикнули с проезжавшего воза.

Рощин обернулся. В грязной и разломанной телеге, которой правил хмурый казак, накрывшийся прелым тулупом, сидели трое с замотанными головами, с подвязанными руками. Один из них, длинный, худой, с вылезающей из воротника шеей, приветствовал Рощина частыми кивками головы, растянутым в улыбку запекшимся ртом. Рощин едва признал в нем товарища по полку Ваську Теплова, когда-то румяного весельчака, бабника и пьяницу. Молча подошел к телеге, обнял, поцеловал:

— Скажи, Теплов, к кому мне нужно явиться? Кто у вас начальник штаба? Как-никак, видишь, у меня погоны булавкой приколоты. Вчера только перебежал…

— Садись. Стой, остановись, сволочь! — крикнул Теплов извозному. Казак заворчал, но остановился.

Рощин влез на угол телеги, свесив ноги над

колесом. Это было блаженно — ехать под горячим солнцем. Сухо, как рапорт, он рассказал свои приключения с самого отъезда из Москвы. Теплов сказал, мелко покашливая:

— Я сам с тобой пойду к генералу Романовскому… Доедем до станицы, пожрем, и я устрою тебя в два счета. Чудак! Что же, ты хотел прямо явиться по начальству: так, мол, и так — перебежал из красной шайки, честь имею явиться… Ты наших не знаешь. До штаба не довели бы, прикололи…Смотри, смотри. — Он указал на длинный труп в офицерской шинели. — Это Мишка, барон Корф, валяется… Ну, помнишь его… Эх, был парень… Слушай, папиросы есть? А утро-то, утро! Понимаешь, душка моя, послезавтра въезжаем в Екатеринодар, выспимся на постелях, и — на бульвар! Музыка, барышни, пиво!

Он громко, рыдающе засмеялся. Его обтянутое до костей больное лицо сморщилось, лихорадочные пятна пылали на скулах.

— И так по всей России будет: музыка, барышни, пиво. Отсидимся в Екатеринодаре с месяц, почистимся и — на расправу. Ха-ха! Теперь мы не дураки, душка моя… Кровью купили право распоряжаться Российской империей. Мы им порядочек устроим… Сволочи! Вон, гляди,

валяется. — Он указал на гребень канавы, где, неестественно растопырившись, лежал человек в бараньем кожухе. — Это непременно какой-нибудь ихний Дантон…

Телегу перегнал неуклюжий плетеный тарантас. В нем, залепленные грязью, в чапанах с отброшенными на спину воротниками и в мокрых меховых шапках, сидели двое: тучный, огромный человек с темным оплывшим лицом и другой — с длинным мундштуком в углу проваленного рта, с запущенной седоватой бородой и мешочками под глазами.

— Спасители отечества, — покивал на них Теплов. — За неимением лучшего — терпим. Пригодятся.

— Это, кажется, Гучков, толстый?

— Ну да, и будет в свое время расстрелян, можешь быть покоен… А тот, с мундштуком, — Борис Суворин, тоже, брат, рыльце-то в пушку… Как будто он монархии хочет, и — не вполне монархии; виляет, но способный журналист… Его не расстреляем…

Телега въехала в станицу. Хаты и дома за палисадниками казались опустевшими. Дымилось пожарище. Валялось несколько трупов, до половины вбитых в грязь. Кое-где слышались

отдельные выстрелы, — это приканчивали иногородних, вытащенных из погребов и сеновалов. На площади в беспорядке стоял обоз. Кричали с возов раненые. Между телег бродили одуревшие, измученные сестры в грязных солдатских шинелях. Откуда-то со двора слышался животный крик и удары нагаек. Скакали верхоконные. У забора кучка юнкеров пила молоко из жестяного ведра.

Все ярче, все горячее светило солнце из голубой ветреной бездны. Между деревом и телеграфным столбом, на перекинутой жерди, покачивались на ветру, свернув шеи, опустив носки разутых ног, семь длинных трупов — коммунисты из ревкома и трибунала.

Наступил последний день корниловского похода. Конные разведчики, заслоняясь от солнца, увидели в утреннем мареве, за мутной рекой Кубанью, золотые купола Екатеринодара.

Задачей передовой конной части было — отбить у красных единственный в тех местах паром на переправе через Кубань близ станицы Елизаветинской. Это была новая хитрость Корнилова. Его могли ждать с юга — от Ново-Дмитровской, с юго-запада — по железной дороге Новороссийск — Екатеринодар. Но предположить, что для штурма города он выберет крайне опасный

обход в сторону, на запад от города, и переправу без мостов, на одном пароме, всей армии через стремительные воды Кубани, отрезывая тем себе всякую возможность отступления, — такого тактического хода штаб командующего красными силами — Автономова — предположить не мог. Но именно этот наименее охраняемый путь, дающий два-три дня передышки от боев и выводящий армию прямо в сады и огороды Екатеринодара, и выбрал хитрый, как старая лиса, Корнилов.

Недостаток в огневом снаряжении был пополнен при занятии железнодорожной станции Афипской, где добровольцы взорвали пути, чтобы обезопасить себя от огня броневых поездов. Все же пулеметы с одного из красных поездов доставали до фланга наступающих, которые шли по сплошной талой воде. Когда полоса пуль, поднимая фонтанчики воды, добегала до них, — они падали в воду, уходили с головой, как утки. Высунувшись, перебегали. Гарнизон Афипской защищался отчаянно. Но красные были обречены, потому что они только защищались, а противник их наступал.

Медленно, змейками цепей, части Добровольческой армии окружали и обходили Афипскую.

Солнце заливало синюю равнину, с торчащими из воды деревьями, стогами, крышами хуторов, с пролетающими по заливным озерам тенями весенних облаков. Корнилов в коротком полушубке с мягкими генеральскими погонами, с биноклем и картой, двигался на коне, впереди своего штаба, по этому зеркальному мареву. Он отдавал приказания ординарцам, и они в вихре брызг мчались на лошаденках. Одно время он попал под обстрел, и рядом с ним легко ранило генерала Романовского.

Когда станция была обойдена с запада и начался общий штурм, Корнилов ударил коня плетью и рысью поехал прямо в Афипскую. Он не сомневался в победе. Там, между путями, вереницами вагонных составов, железнодорожными зданиями, пакгаузами и казармами, ворвавшиеся части истребляли красных. Это была последняя и самая кровавая победа Добровольческой армии.

Полковник Неженцев, краснощекий, моложавый, возбужденный, прыгая через трупы, подбежал к Корнилову, — блеснув стеклами пенсне, рапортовал:

— Станция Афипская занята, ваше превосходительство.

Корнилов перебил тотчас же с нетерпением:

— Снаряды взяты?

— Так точно, семьсот снарядов и четыре вагона патронов.

— Слава богу! — Корнилов широко перекрестился, царапая ногтем мизинца по заскорузлому полушубку. — Слава богу…

Тогда Неженцев глазами указал ему на стоявших толпой у вокзала ударников — особый полк из отчаянных головорезов, носивших на рукаве трехцветный угол. Как люди, взошедшие на крутую гору, они стояли, опираясь на винтовки. Лица их застыли в усталых гримасах бешенства, руки и у многих лица — в крови, блуждающие глаза.

— Два раза спасали положение и ворвались первыми, ваше превосходительство.

— Ага! — Корнилов ударил коня и во весь карьер, хотя расстояние было невелико, подскакал к ударникам (они сейчас же заволновались и быстро стали выстраиваться), изо всей силы, как это обычно изображают на памятниках, осадил коня, откинул голову, крикнул отрывисто: — Спасибо, мои орлы! Благодарю вас за блестящее дело и еще раз за то, что захватили снаряды… Низко вам кланяюсь…

* * *

Получив запас огневого снаряжения, армия начала переправляться через Кубань на дощатом пароме, захваченном передовым конным отрядом. Силы армии к этому времени исчислялись в девять тысяч штыков и сабель и четыре тысячи лошадей. Переправа продолжалась три дня. Огромным табором раскинулись по сторонам ее воинские части, обозы, повозки, парки. Весенний ветер трепал лохмотья вымытого белья, развешанного на оглоблях. Дымили костры. Паслись на лугах стреноженные лошади. Повеселевшие офицеры влезали на возы и в бинокли старались рассмотреть в синеющей дали сады и купола заветного города.

— Честное слово… Вот так же крестоносцы подходили к Ерусалиму.

— Там, господа, были жидовочки, а здесь — пролетарочки…

— Объявим женскую социализацию… Хо-хо…

— В баню, на бульвар, и — пива!

Со стороны Екатеринодара не было попыток помешать переправе. Иногда только постреливали разведчики. Красные решили защищаться. Спешно, всем населением — женщины и дети —

рыли окопы, путали проволоку, устанавливали орудия. Из Новороссийска подъезжали эшелоны черноморских моряков, везли пушки и снаряды. Комиссары говорили в воинских частях о классовой сущности корниловских добровольцев, о том, что за их спиной «беспощадная мировая буржуазия, которой, товарищи, мы даем решительный бой», — и клялись — умереть, а не отдавать Екатеринодара.

На четвертый день Добровольческая армия двинулась на штурм столицы Кубани.

Ураганным огнем батарей, со стороны Черноморского вокзала и от пристаней на Кубани, были встречены бешено наступающие колонны добровольцев. Но неровная местность, сады, канавы, изгороди и русла ручьев дали возможность без больших потерь подойти к городу.

Здесь завязался бой. Близ так называемой фермы, — у белого домика, стоявшего на опушке тополевой, еще голой рощи на высоком берегу Кубани, — красные оказали упорное сопротивление, были выбиты, но снова густыми толпами бросились на пулеметы, овладели фермой и через час вторично были выбиты кубанскими пластунами полковника Улагая.

На ферме, в одноэтажном домике, сейчас же

расположился Корнилов со штабом. Отсюда как на ладони виднелись прямые улицы Екатеринодара, белые высокие дома, палисадники, кладбище, Черноморский вокзал и впереди всей панорамы — длинные ряды окопов. Был яркий весенний ветреный день. Повсюду взлетали дымки выстрелов, и сияющий простор тяжело, надрывая душу, грохотал от непереставаемого рева пушек. Ни красные, ни белые не щадили жизней в этот день.

В белом домике главнокомандующему Корнилову отвели угловую комнату, поставили полевые телефоны, стол и кресло. Он сейчас же вошел туда, сел за стол, разложил карту и погрузился в размышления над ходами затеянной игры. Два его адъютанта — подпоручик Долинский и хан Хаджиев — стояли — один у двери, другой у телефонов.

Калмыцкое, обтянуто-морщинистое лицо главнокомандующего, с полуседыми волосами ежиком, было мрачно, как никогда. Сухая маленькая рука с золотым перстнем безжизненно лежала на карте. Он один, вопреки советам Алексеева, Деникина и остальных генералов, решился на этот штурм, и теперь, к исходу первого дня, самоуверенность его поколебалась. Но он не со-

знался бы в этом и самому себе.

Допущены были две ошибки: первая — это то, что треть войск, с генералом Марковым, была оставлена на переправе для охраны обоза; поэтому первый удар по Екатеринодару оказался недостаточно сосредоточенным и не принес того, что ожидали: красные выдержали, уцепились за окопы и засели, видимо, прочно. Вторая ошибка заключалась в том, что к Екатеринодару была применена тактика карательной экспедиции, та же, что и раньше, в пути — к станицам: город обкладывался со всех сторон (на правом фланге — движением пехоты и пластунов вдоль реки к кожевенным заводам, на левом — глубоким обходом конницей Эрдели), с тем чтобы запереть все ходы и выходы и расправиться с защитниками города и с населением как с «бандитами» и «взбунтовавшимися хамами», — расстрелом, виселицей и шомполами. Такая тактика приводила к тому, что сопротивляющиеся решали — лучше умереть в бою, чем на виселицах. «Корнилов всех собрался погубить!» — кричали по городу. Женщины, девушки, дети, старый и малый бежали под пулями в окопы с кувшинами молока, с варениками и пирогами: «Кушайте, матросики, кушайте, солдатики, товарищи родные, постой-

те за нас...» И продолжали носить защитникам пищу и жестянки с патронами, хотя повсюду, особенно к вечеру, скакали верхоконные, крича: «Долой с улиц! По домам! Туши огни!..»

Так первый день принес преимущество красным. Белые в этот же день потеряли троих лучших командиров, около тысячи офицеров и рядовых и расстреляли, без ощутимой цели, свыше трети огневого снаряжения.

А из Новороссийска, прорываясь сквозь огневые завесы, прибывали и прибывали растрепанные поезда с матросами, снарядами и пушками. Бойцы из вагонов бежали прямо в окопы. Из-за скученности и отсутствия командования потери были огромны.

Корнилов, не выходя из угловой комнаты на ферме, сидел над картой. Он уже понимал, что иного выхода нет — или взять город, или умереть всем. Его мысли подошли к черте самоубийства... Армия, которой он единолично командовал, таяла, как брошенные в печь оловянные солдатики. Но этот бесстрашный и неумный человек был упрям, как буйвол.

На церковной паперти в станице Елизаветинской на солнцепеке сидели десятка два раненых офицеров. С востока, то усиливаясь, то западая,

доносился орудийный гром. А здесь, в безоблачное небо над колокольней, пробитой снарядом, то и дело взлетали голуби. Площадь перед церковью была пуста. Хаты с выбитыми окнами — покинуты. У плетня, где на сирени лопнули почки, лежал лицом вниз полузакрытый труп, покрытый мухами.

На паперти говорили вполголоса:

— Была у меня невеста, красивая, чудная девушка, так и помню ее в розовом платье с оборками. Где она теперь — не знаю.

— Да, любовь… Как-то даже дико… А тянет, тянет к прежней жизни… Чистые женщины, ты великолепно одет, спокойно сидишь в ресторане… Ах, хорошо, господа…

— А пованивает этот большевичок. Засыпать бы его…

— Мухи сожрут.

— Тише… Постойте, господа… Опять ураганный огонь…

— Поверьте мне, это — конец… Наши уже в городе.

Молчание. Все повернулись, глядят на восток, где серо-желтой тучей висят дым и пыль над Екатеринодаром. Ковыляя, подходит рыжий, худой, как скелет, офицер, садится, говорит:

— Валька сейчас умер… Как кричал: «Мама, мама, слышишь ты меня?..»

Сверху с паперти проговорил резкий голос:

— Любовь! Барышни с оборками… Ерррррунда. Обозные разговоры. У меня жена покрасивее твоей невесты с оборками… и ту послал к… (Зло фыркнул носом.) Да и врешь ты все, никакой у тебя невесты не было… Наган в кармане да шашка — вот тебе вся семья и прочее…

Рощин, ходивший с винтовкой в карауле у церкви, остановился и внимательно взглянул на говорившего, — у него было мальчишеское, со вздернутым носом, светловолосое лицо, две резкие морщины у рта и старые, тяжелые, мутно-голубого цвета глаза непроспавшегося убийцы. Рощин оперся на винтовку (все еще болела нога), и непрошеные мысли овладели им. Воспоминание о брошенной Кате острой жалостью прошло в памяти. Он прижал лоб к холодному железу штыка. «Полно, полно, это — слабость, это все не нужно…» Он встряхнулся и зашагал по свежей травке. «Не время жалости, не время для любви…»

У кирпичной стены, разрушенной снарядом, стоял, глядя в бинокль, коренастый, нахмуренный человек. Щегольская кожаная куртка,

кожаные штаны и мягкие казацкие сапоги его были забрызганы засохшей грязью. Около него в кирпичную стену время от времени цокали пули.

Ниже, в ста шагах от него, расположилась батарея и зеленые снарядные ящики. Лошадей только что отвели к забору, и они стояли понуро, навалив дымящийся навоз. Прислуга, сидя на лафетах, смеялась, курила, — поглядывали в сторону командира с биноклем. Почти все были матросы, кроме троих оборванных бородачей-артиллеристов.

Дым и пыль заслоняли горизонт — линии окопов, складки земли, сады. То, что разглядывал командир, неясно появлялось и исчезало из поля зрения. Из-за дома, где он стоял, вывернулся медно-красный, в одном тельнике, матрос, проскользнул по-кошачьи вдоль стены и сел у ног коренастого человека, обхватил колени татуированными сильными руками, чуть прищурил рыжие, как у ястреба, глаза.

— У самого берега два дерева, глядишь? — сказал он вполголоса.

— Ну?

— За ними — домишко, стеночка белеется, глядишь?

— Ну?

— То ферма.

— Знаю.

— А правее — гляди — роща. А вон дорога.

— Вижу.

— С четырех часов там верхоконные пробегли, народ начал ползать. Вечером две коляски приехали. Там и сидит дьявол, больше нигде.

— Катись вниз, — повелительно сказал коренастый и подозвал командира батареи. На пригорок влез бородатый человек в овчинном тулупе. Коренастый передал ему свой бинокль, и он долго всматривался.

— Хутор Слюсарева, ферма, — сказал он простуженным голосом, — дистанция четыре версты с четвертью. Можно и по Слюсареву двинуть.

Он вернул бинокль, неуклюже сполз вниз и, надув горло, рявкнул:

— Батарея, готовьсь!.. Дистанция… Первая очередь… Огонь…

Ахнули громовыми глотками орудия, отскочили стволы на компрессорах, выпыхнуло пламя, и тяжелые гранаты ушли, бормоча о смерти, к высокому берегу Кубани, к двум голым тополям, где в белом домике перед картой сидел угрюмый Корнилов.

На второй день штурма был вызван из обоза генерал Марков с офицерским полком. В этой колонне шел Рощин рядовым. Семь верст до Екатеринодара, еще гуще, чем вчера, заволоченного пылью канонады, пробежали за час времени. Впереди шагал в сдвинутой на затылок папахе, в расстегнутой ватной куртке Марков. Обращаясь к едва поспевающему за ним штабному полковнику, он ругался и сволочился по адресу высшего командования:

— Раздергали по частям бригаду, в обозе меня — трах-тарарах — заставили сидеть... Пустили бы меня с бригадой, — я бы давно — трах-тарарах — в Екатеринодаре был...

Он перескочил через канаву, поднял нагайку и, обернувшись к растянутой по зеленому полю колонне, скомандовал, — от крика надулись жилы на его шее...

Запыхавшиеся офицеры, с потными серьезными лицами, стали перебегать, колонна повертывалась, как на оси, и растянулась в виду города четырьмя зыбкими лентами по полю. Рощин оказался недалеко от Маркова. Несколько минут стояли. Пробовали затворы. Поправляли, осматривали патронные сумки. Марков опять скомандовал, растягивая гласные, — тогда от-

делилось сторожевое охранение и бегом ушло далеко вперед. За ним двинулись цепи.

Слева, навстречу, по разъезженной дороге плелись унылые телеги, — везли раненых. Иные шли пешком, уронив головы. Много раненых сидело на гребнях канав, на опрокинутых телегах. И казалось — телегам и раненым нет числа — вся армия.

Обгоняя полк, на вороной лошади проехал рослый и тучный человек с усами, в фуражке с красным околышем и в отлично сшитом френче со жгутами — погонами конюшенного ведомства. Он весело закричал что-то генералу Маркову, но тот отвернулся, не ответил. Это был Родзянко, отпросившийся из обоза — взглянуть глазком на штурм.

Полк опять остановился. Издалека донеслась команда, — многие закурили. Все молчали, смотрели туда, где среди канав и бугров скрывалось сторожевое охранение. Генерал Марков, помахивая нагайкой, ушел по направлению высокой тополевой рощи. Там, из глубины едва тронутых зеленой дымкой деревьев, через небольшие промежутки времени поднимались лохматые столбы дыма, высоко взлетали ветви и комья земли.

Стояли долго. Был уже пятый час. Из-за рощи показался всадник, — он скакал, пригнувшись к шее коня. Рощин глядел, как взмыленная лошаденка его завертелась у канавы, боясь перепрыгнуть, затем, взмахнув хвостом, прыгнула, всадник потерял фуражку. Подскакивая к полку, он закричал:

— Наступать… артиллерийские казармы… генерал впереди… там…

Он кинул рукой туда, где на бугорке маячило несколько фигур; на одной из них белела папаха. Раздалась команда:

— Цепь, вперед!

Рощину стиснуло горло, глаза высохли, — была секунда страха и восторга, тело стало бесплотным, было желание — бежать, кричать, стрелять, колоть и чтобы сердце в минуту восторга залилось кровью: сердце — в жертву…

Отделилась первая цепь, и в ней с левого фланга пошел Рощин. Вот и холмик, где, расставив ноги, лицом к наступающему полку, стоял Марков.

— Друзья, друзья, вперед! — повторял он, и всегда прищуренные глаза его казались сейчас расширенными, страшными.

Затем Рощин увидел торчащие сухие стебли травы. Повсюду между ними валялись, как меш-

ки, — тычком и на боку, — неподвижные люди в солдатских рубашках, в матросских куртках, в офицерских шинелях. Он увидел впереди невысокую изгородь из плитняка и колючие кусты без листьев. Спиной к изгороди сидел длиннолицый человек в стеганом солдатском жилете, разевал и закрывал рот.

Рощин перескочил через изгородь и увидел широкую дорогу. По ней быстро приближались фонтанчики пыли. Это большевики мели пулеметами по наступающим. Он остановился, попятился, захватило дыхание, оглянулся. Те из наступающих, кто перескочил через изгородь, — ложились. Рощин лег, прижался щекой к колючей земле. С усилием заставил себя поднять голову. Цепь лежала. Впереди на поле, шагах в пятидесяти, тянулся бугор канавы. Рощин вскочил и, низко нагибаясь, перебежал эти пятьдесят шагов. Сердце неистово колотилось. Он упал в канаву, в липкую грязь. За ним поодиночке побежала вся цепь. Один, другой, не добежав, ткнулись. Лежа в канаве, тяжело дышали. Над головами по гребню мело пулями.

Но вот впереди что-то переменилось, откуда-то засвистали снаряды в сторону казарм. Огонь пулеметов ослаб.

Цепь с усилием поднялась и двинулась вперед. Рощин видел свою длинную красновато-черную тень, скользящую по неровному полю. Она кривилась, то укорачивалась, то убегала бог знает куда. Подумал: «Как странно, — все еще жив и даже — тень от меня».

Снова усилился огонь со стороны казарм, но поредевшая цепь уже залегла в ста шагах от них в глубокой водомоине. Там по серому глинистому дну расхаживал Марков со страшными глазами.

— Господа, господа, — повторял он, — небольшая передышка… покурите, черт возьми… И — последний удар… Чепуха, всего сто шагов…

Рядом с Рощиным низенький лысый офицер, глядя на пылящий от пуль верхний край оврага, повторял негромко одно и то же матерное ругательство. Несколько человек лежало, закрыв лицо руками. Один, присев и держась за лоб, рвал кровью. Многие, как гиены в клетках, ходили взад и вперед по дну оврага. Раздалась команда: «Вперед, вперед!» Никто как будто не услыхал ее. Рощин судорожным движением затянул ременный кушак, ухватился за куст, полез наверх. Сорвался, скрипнул зубами, полез опять. И наверху оврага увидел присевшего на корточках Маркова. Он кричал:

— В атаку! Вперед!

Рощин увидел в нескольких шагах впереди мелькающие дырявые подметки Маркова. Несколько человек обогнало его. Кирпичная стена казарм была залита заходящим солнцем. Пылали в окнах осколки стекол. Какие-то фигурки убегали от казарм по полю к далеким домикам с палисадниками…

Кучка штатских и солдат стояла около сломанной гимнастики на песчаном дворе артиллерийских казарм. Лица были бледны, обтянуты, сосредоточенны, глаза опущены, руки висели безжизненно.

Перед ними стояла кучка поменьше, — офицеров, — опираясь на винтовки. Они с тяжелой ненавистью глядели на пленных. Те и другие молчали, ожидая. Но вот на дворе показался быстро, вприскочку, идущий ротмистр фон Мекке, тот самый, — Рощин узнал его, — с глазами непроспавшегося убийцы.

— Всех, — крикнул он весело, — приказано — всех… Господа, десять человек — выходите…

Прежде чем десять офицеров, щелкая затворами, выступили вперед, — среди пленных произошло движение. Один, грудастый и рослый, потащил через голову суконную рубашку. Другой

— штатский, чахоточный и беззубый, с прямыми черными усами, закричал рыдающе:

— Пейте, паразиты, рабочую кровь!

Двое крепко обнялись. Чей-то хриплый голос нескладно затянул: «Вставай, проклятьем…» Десять офицеров вжались плечами в ложа винтовок. В это время Рощин почувствовал пристальный взгляд. Поднял голову. (Он сидел на ящике. Переобувался.) На него глядели глаза (лица не увидал) с предсмертным укором, с высокой важностью… «Знакомые, родные, серые глаза, боже мой!»

— Пли!

Не враз, торопливо ударили выстрелы. Раздались стоны, крики, Рощин низко нагнулся, обматывая грязной портянкой ногу, царапнутую пулей.

Второй день, как и первый, не принес победы добровольцам. Правда, на правом фланге были заняты артиллерийские казармы, но в центре не продвинулись ни на шаг, и дравшийся там корниловский полк потерял убитым командира, подполковника Неженцева, любимца Корнилова. На левом фланге конница Эрдели отступала. Красные проявляли небывалое до сих пор упорство, хотя в Екатеринодаре в каждом почти доме

лежали раненые. Много женщин и детей было убито вблизи окопов и на улицах. Будь на месте Автономова боевое, умелое командование общим наступлением красных войск, — Добровольческая армия, растрепанная, с перемешавшимися частями, неминуемо была бы опрокинута и уничтожена.

На третий день кое-как и кое-кем пополненные полки добровольцев снова были брошены в атаку и снова отхлынули к исходным линиям. Многие, бросив винтовки, пошли в тыл, в обоз. Генералы пали духом. На позиции приехал Алексеев, покачал седой головой, уехал. Но никто не смел пойти и сказать главнокомандующему, что игра уже проиграна и что, — если чудом каким-нибудь и ворваться в Екатеринодар, — все равно теперь не удержать города.

Корнилов, после того как поцеловал в мертвый лоб любимца своего Неженцева, привезенного на телеге на ферму под его окно, — больше не раскрывал рта и ни с кем не говорил. Только раз, когда у самого дома разорвалась шрапнель и одна из пуль сквозь окно впилась в потолок, он мрачно указал на эту пулю сухим пальцем и сказал для чего-то адъютанту Хаджиеву:

— Сохраните ее, хан.

В ночь на четвертые сутки по всем полевым телефонам последовало распоряжение главнокомандующего: «Продолжать штурм».

Но на четвертый день всем стало ясно, что темп атаки сильно ослабел. Генерал Кутепов, сменивший убитого Неженцева, не мог поднять корниловского (лучшего в армии) полка, лежавшего в огородах. Части дрались вяло. Конница Эрдели продолжала отступать. Марков, сорвавший от крика и ругани голос, засыпал на ходу, его офицеры не могли высунуть нос дальше казармы.

В середине дня в комнате Корнилова собрался военный совет из генералов Алексеева, Романовского, Маркова, Богаевского, Филимонова и Деникина. Корнилов, уйдя маленькой серебряной головой в плечи, слушал доклад Романовского: «Снарядов нет, патронов нет. Добровольцы-казаки расходятся по станицам. Все полки растрепаны. Состояние подавленное. Многие не раненные из боевой линии уходят в обоз…» и так далее…

Генералы слушали, опустив глаза. Марков, приткнувшись на чье-то плечо, спал. В полумраке (так как окно было завешено) скуластое лицо Корнилова было похоже на высохшую мумию. Он сказал глуховатым голосом:

— Итак, господа, положение действительно тяжелое. Я не вижу другого выхода, как взятие Екатеринодара. Я решил завтра на рассвете атаковать город по всему фронту. В резерве остался полк Казановича. Я его сам поведу в атаку.

Он внезапно засопел. Генералы сидели, опустив головы. Плотный, с полуседой бородкой, похожий на служаку-чиновника, генерал Деникин, страдавший бронхитом, воскликнув невольно: «О господи, господи!», закашлялся и пошел к двери. В спину его Корнилов сверкнул черными глазами. Он выслушал возражения, встал и отпустил совет. Решительный штурм был назначен на первое апреля.

Через полчаса в комнату вернулся Деникин, все еще свистя грудью. Сел и сказал с мягкой душевностью:

— Ваше высокопревосходительство, позвольте, как человек человеку, задать вам вопрос.

— Я слушаю вас, Антон Иванович.

— Лавр Георгиевич, почему вы так непреклонны?

Корнилов ответил сейчас же, как будто давно уже приготовил этот ответ:

— Другого выхода нет. Если не возьмем Екатеринодара, я пущу пулю в лоб. (Пальцем, с

отгрызанным до корня ногтем, он указал себе на висок.)

— Вы этого не сделаете! — Деникин поднял полные, очень белые руки, прижал их к груди. — Перед богом, перед родиной… Кто поведет армию, Лавр Георгиевич?..

— Вы, ваше превосходительство…

И нетерпеливым жестом Корнилов дал понять, что кончает этот разговор.

Жаркое утро 31 марта было безоблачно. От зазеленевшей земли поднимались волны испарений. Лениво в крутых берегах текли мутно-желтые воды Кубани, нарушаемые лишь плеском рыбы. Было тихо. Лишь изредка хлопал выстрел да бухала вдалеке пушка; посвистывая, проносилась граната. Люди отдыхали, чтобы назавтра начать новый кровавый бой.

Подпоручик Долинский курил на крыльце дома. Думал: «Помыть бы рубашку, кальсоны, носки… Хорошо бы искупаться». Даже птица какая-то залетная весело посвистывала в роще. Долинский поднял голову. Фюить — ширкнула граната прямо в зеленую рощу. С железным скрежетом разорвалась. Птичка больше не пела. Долинский бросил окурок в глупую курицу, непонятно как не попавшую в суп, вздохнул, вернулся

в дом, сел у двери, но сейчас же вскочил и вошел в полутемную комнату. Корнилов стоял у стола, подтягивая брюки.

— Что, чай еще не готов? — спросил он тихо.

— Через минуту будет готов, ваше высокопревосходительство, я распорядился.

Корнилов сел к столу, положил на него локти, поднес сухонькую ладонь ко лбу, потер морщины.

— Что-то я вам хотел сказать, подпоручик… Вот не вспомню, просто беда…

Долинский, ожидая, что он скажет, нагнулся над столом. Все это было так не похоже на главнокомандующего — тихий голос, растерянность, — что ему стало страшно.

Корнилов повторил:

— Просто беда… Вспомню, конечно, вы не уходите… Сейчас глядел в окно — утро превосходное… Да, вот что…

Он замолчал и поднял голову, прислушиваясь. Теперь и Долинский различал приближающийся, надрывающий вой гранаты, казалось — прямо в занавешенное окно. Долинский попятился. Страшно треснуло над головой. Рвануло воздух. Сверкнуло пламя. По комнате метнулось снизу вверх растопыренное тело главнокомандую-

щего…

Долинского выбросило в окно. Он сидел на траве, весь белый от известки, с трясущимися губами. К нему побежали…

У тела Корнилова, лежавшего на носилках и до половины прикрытого буркой, возился на корточках доктор. Поодаль стояли кучкой штабные, и ближе их к носилкам — Деникин, — в неловко надетой широкополой фуражке.

Минуту назад Корнилов еще дышал. На теле его не было видимых повреждений, только небольшая царапина на виске. Доктор был невзрачный человек, но в эту минуту он понимал, что все взгляды обращены на него, и — хотя ему было ясно, что все уже кончено, — он продолжал со значительным видом осматривать тело. Не торопясь, встал, поправил очки и покачал головой, как бы говоря: «К сожалению, здесь медицина бессильна».

К нему подошел Деникин, проговорил придушенно:

— Скажите же что-нибудь утешительное.

— Безнадежен! — Доктор развел руками. — Конец.

Деникин судорожно выхватил платок, прижал к глазам и затрясся. Плотное его тело все осело.

Кучка штабных придвинулась к нему, глядя уже не на труп, а на него. Опустившись на колени, он перекрестил желто-восковое лицо Корнилова и поцеловал его в лоб. Двое офицеров подняли его. Третий проговорил взволнованно:

— Господа, кто же примет командование?

— Да я, конечно, я приму, — высоким, рыдающим голосом воскликнул Деникин. — Об этом было раньше распоряжение Лавра Георгиевича, об этом он еще вчера мне говорил…

В эту же ночь все части Добровольческой армии неслышно покинули позиции, и пехота, кавалерия, обозы, лазареты и подводы с политическими деятелями ушли на север, в направлении хуторов Гначбау, увозя с собой два трупа — Корнилова и Неженцева.

Корниловский поход не удался. Главные вожди и половина участников его погибли. Казалось — будущему историку понадобится всего несколько слов, чтобы упомянуть о нем.

На самом деле корниловский «ледяной поход» имел чрезвычайное значение. Белые нашли в нем впервые свой язык, свою легенду, получили боевую терминологию — все, вплоть до новоучрежденного белого ордена, изображающего на георгиевской ленте меч и терновый венец.

В дальнейшем, при наборах и мобилизациях, в неприятных объяснениях с иностранцами и во время недоразумений с местным населением — они выдвигали первым и высшим аргументом венец великомученичества. Возражать было нечего: ну, что же, например, что генерал такой-то перепорол целый уезд шомполами (шомполовал, как тогда кратко выражались). Пороли великомученики, преемники великомучеников, с них и взятки гладки.

Корниловский поход был тем началом, когда, вслед за прологом, взвивается занавес трагедии, и сцены, одна страшнее и гибельнее другой, проходят перед глазами в мучительном изобилии.

4

Алексей Красильников спрыгнул с подножки вагона, взял брата, как ребенка, на руки, поставил на перрон. Матрена стояла у вокзальной двери, у колокола. Семен не сразу узнал ее: она была в городском пальто, черные блестящие волосы ее покрывал завязанный очипком, по новой советской моде, белый опрятный платок. Молодое, круглое, красивое лицо ее было испуганно, губы плотно сжаты.

Когда Семен, поддерживаемый братом, подошел, еле передвигая ноги, карие глаза Матрены замигали, лицо задрожало…

— Батюшка мой, — сказала она тихо, — дурной какой стал.

Семен с болью вздохнул, положил руку на плечо жене, коснулся губами ее чистой прохладной щеки. Алексей взял у нее кнут. Постояли молча. Алексей сказал:

— Вот тебе и муж предоставлен. Убивали, да не убили. Ничего, — косить вместе будем. Ну, поедемте, дорогие родственники.

Матрена нежно и сильно обняла Семена за

спину, довела до телеги, где поверх домотканого коврика лежали вышитые подушки. Усадила, села рядом, вытянув ноги в новых, городского фасона, башмаках. Алексей, поправляя шлею, сказал весело:

— В феврале один кавалер от эшелона отбился. Я его двое суток самогоном накачивал. Ну, и пятьсот целковых дал еще керенками, вот тебе и конь. — Он ласково похлопал сильного рыжего мерина по заду. Вскочил на передок телеги, поправил барашковую шапку, тронул вожжами. Выехали на полевую дорогу в едва зазеленевшие поля, над которыми в солнечном свете, трепеща крыльями, жарко пел жаворонок. На небритое, землистое лицо Семена взошла улыбка, Матрена, прижимая его к себе, взором спросила, и он ответил:

— Да, вы тут пользуетесь…

Приятно было Семену войти в просторную, чисто выбеленную хату. И зеленые ставни на маленьких окошках, и новое тесовое крыльцо, и вот, — шагнул через знакомую низкую дверь, — теплая, чисто вымазанная мелом печь, крепкий стол, покрытый вышитой скатертью, на полке — какая-то совсем не деревенская посуда из никеля и фарфора, налево — спальня Матрены с

металлической широкой кроватью, покрытой кружевным одеялом, с грудой взбитых подушек, направо — комната Алексея (где прежде жил покойный отец), на стене — уздечка, седло, наборная сбруя, шашка, винтовка, фотография, и во всех трех комнатах — заботливо расставленные цветы в горшках, фикусы и кактусы, — весь этот достаток и чистота удивили Семена. Полтора года он не был дома, и — гляди — фикусы, и кровать, как у принцессы, и городское платье на Матрене.

— Помещиками живете, — сказал он, садясь на лавку и с трудом разматывая шарф. Матрена положила городское пальто в сундук, подвязала передник, перебросила скатерть изнанкой кверху и живо накрыла на стол. Сунула в печь ухват и, присев под тяжестью, так что голые до локтей руки ее порозовели, вытащила на шесток чугун с борщом. На столе уже стояли и сало, и копченая гусятина, и вяленая рыба. Матрена сверкнула глазами на Алексея, он мигнул, она принесла глиняный жбанчик с самогоном.

Когда братья сели за стол, Алексей поднес брату первому стаканчик. Матрена поклонилась. И когда Семен выпил огненного первача, едва отдулся, — оба — и Матрена и Алексей — вытерли глаза. Значит, сильно были рады, что Семен жив

и сидит за столом с ними.

— Живем, браток, не то чтобы в диковинку, а — ничего, хозяйственно, — сказал Алексей, когда кончили хлебать борщ. Матрена убрала тарелки с костями и села близко к мужу. — Помнишь, на княжеской даче клин около рощи, землица — золотое дно? Много я пошумел в обществе, шесть ведер самогону загнал хрестьянам, — отрезали. Нынче мы с Матреной его распахали. Да летось неплохой был урожай на полосе около речки. Все, что видишь: кровать, зеркало, кофейники, ложки-плошки, разные тряпки-барахло, — все этой зимой добыли. Матрена твоя очень люта до хозяйства. Ни один базарный день не пропускает. Я еще по старинке — на денежки продаю, а она — нет: сейчас кабана, куренков заколет, муки там, картошки — на воз, подоткнет подол и — в город... И на базар не выезжает, а прямо идет к разным бывшим господам на квартиру, глазами шарит: «За эту, говорит, кровать — два пуда муки да шесть фунтов сала... За эту, говорит, покрывалу — картошки...» Прямо смех, как с базара едем, — чистые цыгане — на возу хурда-бурда.

Матрена, пожимая мужнину руку, говорила:

— Двоюродную мою сестру, Авдотью, помнишь? Старше меня на годочек, — за Алексея ее

сватаем.

Алексей смеялся, шаря в кармане:

— Бабы эти прежде меня решили… А и верно, браток, надоело вдовствовать. Напьешься и — к сводне, такая грязь, потом не отплюешься…

Он вынул кисет и обугленную трубочку с висящими на ней медными побрякушками, набил доморощенным табаком, и заклубился дым по хате. У Семена от речей и от самогона кругом пошла голова. Сидел, слушал, дивился.

В сумерки Матрена повела его в баньку, заботливо вымыла, попарила, хлестала веником, закутала в тулупчик, и опять сидели за столом, ужинали, прикончили глиняный жбанчик до последней капли, Семен хотя еще был слаб, но лег спать с женой и заснул, обвитый за шею ее горячей рукою. А наутро — открыл глаза — в хате было прибрано, тепло. Матрена, посверкивая глазами, белозубой улыбкой, месила тесто. Алексей скоро должен был приехать с поля завтракать. Весенний свет лился в чистые окошечки, блестели листы фикусов. Семен сел на кровати, расправился: как будто вдвое прибыло здоровья за вчерашний день, за эту ночь, проспанную с Матреной. Оделся, помылся, спросил — где у брата бритва? — в его комнате у окошка перед

осколком зеркала побрился. Вышел на улицу, стал у ворот и поклонился сидевшему у соседей в палисаднике древнему старику, помнившему четырех императоров. Старик снял шапку, важно нагнул голову — и опять сидел, ровно поставив мертвые ноги в валенках, ровно сложив жиловатые руки на клюке.

Знакомая улица в этот час была пуста. Между хатами виднелись далеко уходящие полосы зеленей. На курганах, на горизонте, кое-где стояли распряженные телеги. Семен поглядел налево, — над меловым обрывом лениво вертели крыльями две мельницы. Пониже, на склоне, среди садов и соломенных крыш, белела колокольня. За еще прозрачной рощей горели от солнца окна бывшего княжеского дома. Кричали грачи над гнездами. И роща, и красивый фасад дома отражались в заливном озере. Там у воды лежали коровы, бегали дети.

Семен стоял и поглядывал исподлобья, засунув руки в просторные карманы братниной свитки. Глядел, и находила печаль ему на сердце, и понемногу сквозь прозрачные волны жара, струящиеся над селом, над лиловыми садами и вспаханной землей, видел он уже не этот мир и тишину. Подъехал Алексей на телеге, еще издали

весело окликнул. Отворяя ворота, внимательно взглянул на Семена. Распряг мерина и стал мыть руки на дворе под висячим рукомойником.

— Ничего, браток, обтерпишься, — сказал он ласково. — Я тоже, с германского фронта вернулся, ну не глядел бы ни на что: кровь в глазах, тоска… Ах, будь она, эта война, проклята… Идем завтракать.

Семен промолчал. Но и Матрена заметила, что муж невесел. После завтрака Алексей опять уехал в поле. Матрена, босая, подоткнувшись, ушла возить навоз на второй лошади. Семен лег на братнину постель. Ворочался, не мог уснуть. Печаль томила сердце. Стиснув зубы, думал: «Не поймут, и говорить нечего с ними». Но вечером, когда вышли втроем посидеть у ворот, на бревнышке, Семен не выдержал, сказал:

— Ты, Алексей, винтовку бы все-таки вычистил.

— А ну ее к шуту… Воевать, браток, теперь сто лет не будем.

— Рано обрадовались. Рано фикусы завели.

— А ты не серчай раньше-то времени. — Алексей раскурил трубочку, сплюнул между ног. — Давай говорить по-мужицки, мы не на митинге. Я ведь это все знаю, что на митингах говорят, — сам

кричал. Только ты, Семен, умей слушать, что тебе нужно, а чего тебе не нужно — это пропускай. Скажем, — землю трудящимся. Это совершенно верно. Теперь, скажем, — комитеты бедноты. У нас в селе мы этих комитетчиков взнуздали. А вон в Сосновке комитет бедноты что хочет, то и делает, такие реквизиции, такое безобразие, — хоть беги. Именье графа Бобринского все ушло под совхоз, мужикам земли ни вершка не нарезали. А кто в комитете? Двое местных бобылей безлошадные, остальные — шут их знает кто, пришлые, какие-то каторжники… Понял али нет?

— Эх, да не про то я… — Семен отвернулся.

— Вот то-то, что не про то, а я про то самое. В семнадцатом году и я на фронте кричал про буржуазию-то. А хлопнуло, — дай бог ему здоровья, кто меня хлопнул тогда пулей в ногу, — сразу эвакуировался домой. Вижу, — сколько ни наешь, на другой день опять есть хочется. Трудись…

Семен постучал ногтями по бревну.

— Земля под вами горит, а вы спать легли.

— Может быть, у вас во флоте, — сказал Алексей твердо, — или в городах революция и не кончилась. А у нас она кончилась, как только землю поделили. Теперь вот что будет: уберемся мы с посевом и примемся мы за комитетчиков.

К Петрову дню ни одного комитета бедноты не оставим. Живыми в землю закопаем. Коммунистов мы не боимся. Мы ни дьявола не боимся, это ты запомни…

— Будет тебе, Алексей Иванович, гляди — он весь дрожит, — проговорила Матрена тихо. — Разве можно с больного спрашивать?

— Не больной я… Чужой я здесь! — крикнул Семен, встал и отошел к плетню.

На том разговор и кончился.

В полосе уже погасшей зари летали две мыши, два чертика. Кое-где горел свет в окошках, — кончали ужинать. Издалека доносилась песня — девичьи голоса. Вот песня оборвалась, и по широкой погруженной в сумрак улице понесся дробный стук копыт. Скакавший приостановился, что-то крикнул, опять пустил коня. Алексей вынул изо рта трубку, прислушиваясь. Поднялся с бревен.

— Несчастье, что ли? — сказала Матрена дрогнувшим голосом.

Наконец показался верхоконный, — парень без шапки скакал, болтая босыми ногами…

— Немцы идут! — крикнул он. — В Сосновке уже четырех человек убили!..

После заключения мира, к середине марта по

новому стилю, германские войска по всей линии от Риги до Черного моря начали наступление — на Украину и Донбасс.

Немцы должны были получить по мирному договору с Центральной радой 75 миллионов пудов хлеба, 11 миллионов пудов живого скота, 2 миллиона гусей и кур, 2 *1 /2* миллиона пудов сахару, 20 миллионов литров спирта, 2 *1 /2* тысячи вагонов яиц, 4 тысячи пудов сала, кроме того — масло, кожу, шерсть, лес и прочее…

Немцы наступали на Украину по всем правилам — колоннами зелено-пыльного цвета, в стальных шлемах. Слабые заслоны красных войск сметались тяжелой германской артиллерией.

Шли войска, автомобильные обозы, огромные артиллерийские парки с орудиями, выкрашенными изломанными линиями в пестрые цвета, гремели танки и броневые автомобили, везли понтоны, целые мосты для переправ. Жужжали в небе вереницы аэропланов.

Это было нашествие техники на почти безоружный народ. Красные отряды, — из фронтовиков, крестьян, шахтеров и городских рабочих, — разрозненные и во много раз уступающие немцам численностью, уходили с боями на север и на

восток.

В Киеве на место Центральной рады, продавшей немцам Украину, был посажен свитский генерал Скоропадский; одетый в любезную самостийникам синюю свитку, подбоченясь, держал гетманскую булаву: «Хай живе щира Украина! Отныне и навеки — мир, порядок и благолепие. Рабочие — к станкам, землеробы — к плугу! Чур, чур! — сгинь, красное наваждение!»

Через неделю после того, как по улице села Владимирского проскакал страшный вестник, ранним утром на меловом обрыве у мельниц показался конный разъезд, — двадцать всадников на рослых вороных конях, — крупные, нерусского вида, в коротких зелено-серых мундирах и уланских шапках со шнурами. Посмотрели вниз на село и спешились.

В селе был еще народ, — многие сегодня не выехали в поле. И вот побежали от ворот к воротам мальчишки, перекликнулись бабы через плетни, и скоро на церковной площади собралась толпа. Глядели наверх, где около мельниц — ясно было видно — уланы ставили два пулемета.

А вскоре затем, с другой стороны, по селу загромыхали кованые колеса, защелкал бич, и на площадь широкой рысью влетела пара карако-

вых в мыле, запряженная в военную тележку. На козлах правил белоглазый, с длинной нижней челюстью, нескладный солдат в бескозырке и в узком мундире. Сзади него, — руки в бока, — сидел германский офицер, строгого и чудного вида барин, со стеклышком в глазу и в новенькой, как игрушечной, фуражке. По левую сторону его жался старый знакомец, княжеский управляющий, сбежавший прошлой осенью из имения в одних подштанниках.

Сейчас он сидел, насупясь, в хорошем пальто, в теплом картузе — круглолицый, бритый, в золотых очках, — Григорий Карлович Миль. Ох, и зачесались мужики, когда увидели Григория Карловича.

— Шапки долой! — внезапно крикнул по-русски чудной офицер.

Некоторые, кто стоял поближе, нехотя стащили шапки. На площади притихло. Офицер, сидя все так же, подбоченясь, поблескивая стеклышком, начал говорить, отчеканивая слова, с трудом, но правильно произнося:

— Землепашцы села Владимирского, вы увидели там, на горке, два германских пулемета, они отлично действуют… Вы, конечно, благоразумные землепашцы. Я бы не хотел причинять вам

вреда. Должен сказать, что германские войска императора Вильгельма пришли к вам для того, чтобы восстановить среди вас жизнь честных людей. Мы, германцы, не любим, когда воруют чужую собственность, за это мы наказуем очень беспощадно. Большевики вас учили другому, не правда ли? За это мы прогнали большевиков, они никогда больше к вам не вернутся. Советую вам хорошенько подумать о своих дурных поступках, а также о том, чтобы незамедлительно вернуть владельцу этого имения то, что вы у него украли…

В толпе даже крякнули после этих слов. Григорий Карлович все время сидел, опустив козырек на глаза, — внимательно всматривался в мужиков. Один раз на полном лице его мелькнула усмешка торжества, — видимо, он узнал кого-то. Офицер окончил речь. Мужики молчали.

— Я исполнил мой долг. Теперь скажите вы, господин Миль, — обратился к нему офицер.

Григорий Карлович в очень почтительных выражениях отклонил это предложение:

— Господин лейтенант, мне с ними говорить не о чем. Они и так все поняли.

— Хорошо, — сказал офицер, которому было наплевать. — Август, пшел!

Солдат в бескозырке хлопнул бичом, и военная тележка покатилась сквозь раздавшуюся толпу к княжескому дому, где еще три дня тому назад находился волисполком. Мужики глядели вслед.

— Подбоченился немец, — проговорил в толпе чей-то голос.

— А Григорий Карлович, ребята, помалкивает.

— Подожди, он еще разговорится.

— Вот беда-то, господи, — да за что же это?..

— А теперь скоро жди исправника.

— В Сосновку уж прибыл. Созвал сход, и давай мужиков ругать, — вы, мол, такие-сякие, грабители, бандиты, забыли девятьсот пятый год? Часа три чистил, и все по матери. Всю политику объяснил.

— А чего же теперь будет?

— А пороть будут.

— Постой, а как же запашка? Чья она теперь?

— Запашку исполу. Убраться дадут, половина — князю.

— Эх, черт, уйду я…

— Куда пойдешь, дура?..

Поговорили мужики, разошлись. А к вечеру понесли в княжеский дом диваны, кресла, кровати, занавески, золоченые рамы с зеркалами и картинами.

У Красильникова ужинали, не зажигая огня. Алексей каждый раз клал ложку, оглядывался на окно, вздыхал. Матрена ходила тихо, как мышь, от печи до стола. Семен сидел сутуло, вьющиеся темные волосы падали ему на лоб. Убирая ли куски, ставя ли миску с новой едой, Матрена нет-нет да и касалась его то рукой, то грудью. Но он не поднимал головы, молчал упрямо.

Вдруг Алексей шатнулся к окну, ударил в него ногтями, выглянул. Теперь в вечерней тишине был ясно слышен издалека дикий, долгий крик. Матрена сейчас же села на лавку, стиснула руки между коленями.

— Ваську Дементьева порют, — тихо проговорил Алексей, — давеча его провели на княжеский двор.

— Это уже третьего, — прошептала Матрена.

Замолчали, слушали. Крик человека все тем же отчаянием и ужасом висел над вечерним селом.

Семен порывисто встал. Коротким движением подтянул ремень на штанах и пошел к брату в комнату. Матрена также молча кинулась за ним. Он снимал со стены винтовку. Матрена обхватила его за шею, повисла, закинув голову, стиснув белые зубы — замерла.

Семен хотел оттолкнуть ее и не мог. Винтовка

упала на глиняный пол. Тогда он повалился на кровать лицом в подушку. Матрена присела около, торопливо гладила мужа по жестким волосам.

Не надеясь на силы стражников и нового гетманского войска — гайдамаков, управляющий Григорий Карлович Миль ходатайствовал о посылке в село Владимирское гарнизона. Немцы охотно соглашались в таких случаях, и во Владимирское вошли два взвода с пулеметами.

Солдат расквартировали по хатам. Говорили, будто Григорий Карлович сам отмечал дворы под постой. Во всяком случае, все те из крестьян, кто принимал участие в прошлогоднем разгроме княжеской усадьбы, и все члены волисполкома из беспартийных (человек десять молодежи скрылись из села еще до появления немцев) получили на кормежку по солдату с конем.

Так и к Алексею Красильникову постучался в ворота бравый германский солдат, в полной амуниции, при винтовке и в шлеме. Непонятно лопоча, показал Алексею ордер, похлопал по плечу:

— Карашо, друг…

Солдату отвели Алексееву комнату, убрали только сбрую и оружие. Солдат сейчас же устроил-

ся — постелил хорошее одеяло, на стену повесил фотографию Вильгельма, велел подмести пол почище.

Покуда Матрена мела, он собрал грязное бельишко и попросил выстирать. «Шмуциг, фуй, — говорил он, — битте, стиркать». Потом, очень всем довольный, брякнулся в сапогах на постель и закурил сигару.

Солдат был толстый, с плоскими усами, вздернутыми кверху. Одежда на нем была хорошая, ладная. И есть был здоров, как боров. Жрал все, что ни приносила ему в комнату Матрена; особенно понравилось ему соленое свиное сало. Матрене жалко было до смерти кормить салом немца, но Алексей сказал: «Брось, пусть его трескает да спит, только бы носу никуда не совал».

Когда нечего было делать, солдат напевал про себя военные марши или писал письма на родину на открытках с видами Киева. Не озорничал, только ходил очень громко, — топал сапогами, как хозяин.

У Красильниковых было теперь — будто покойник в доме: садились за стол, вставали молча, Алексей — невесел, на лбу морщины. Матрена осунулась, вздыхала, украдкой вытирала слезы фартуком. Больше всего боялась она за Семена,

как бы он не сорвался сгоряча. Но он за эти дни будто затих, затаился.

Теперь каждый день в волостной избе и на воротах по дворам расклеивались универсалы гетмана о возврате земли и скота помещикам, о реквизициях и поборах, о принудительной продаже хлеба, о беспощадных карах за попытки к бунтам, за укрывательство коммунистов и так далее…

Мужики читали универсалы, помалкивали. Потом стали доходить зловещие слухи о том, что в таком-то селе скупщики под охраной немецкой кавалерии вывезли даже немолоченый хлеб, расплатились какими-то нерусскими бумажками, которых и бабы брать не хотят, в таком-то селе угнали половину скота, а в таком-то не оставили будто бы и воробью клюнуть.

По ночам в укромных местах мужики стали собираться небольшими кучками, слушали рассказы, кряхтели. Что тут было делать? Чем помочь? Такая навалилась сила, что только дух пускай, а не пикни.

Семен стал хаживать на эти собрания — на зады, к ручью, под иву. В пиджаке внакидку сидел на земле, курил, слушал. Иной раз хотелось вскочить, кинуть пиджак, развернуть плечи:

«Товарищи!..» Напрасно, — только напугаешь их, затрясут мужики мотнями, разбегутся.

Однажды в сумерки на выгоне он встретил какого-то человека, — тот стоял, скалился. Семен пошел было мимо, человек окликнул негромко:

— Братишка!

Семен вздрогнул: неужели свой? Спросил, искоса оглядывая того:

— А что надо?

— Ты Ликсеев брат?

— Ну, скажем.

— Своих не признаешь... Команду на «Керчи» помнишь?

— Кожин! Ты? — Семен крепко сунул руку ему в руку.

Стояли, глядели друг на друга. Кожин, быстро оглянувшись, сказал:

— Обрезы-то пилите?

— Нет, у нас пока еще тихо.

— А бойкие ребята есть?

— Кто их знает, пока не видать. Ждем, что дальше будет.

— Что же вы, ребята, делаете? — заговорил Кожин, и глаза его все время бегали, вглядывались в сумеречные очертания. — Чего вы смотрите? Так вас, как гусей, общиплют, а вы и головки

подставили. А знаете вы, — у нас уже село Успенское все сожгли артиллерийским огнем. Бабы, ребятишки разбежались кто куда, мужики в лес… Из Новоспасского народ бежит, из Федоровки, из Гуляй-Поля — все к нам…

— Да к кому — к вам?

— Дибривский лес знаешь? Туда собираются… Ну, ладно… Ты вот что шепни ребятам: чтобы от вашей Владимировки сорок обрезов, да винтовок с патронами штук десять, да гранат ручных — сколько соберете, — и это вы прячьте в стог, в поле… Понял? В Сосновке уж под стога прячут, ребята только меня дожидаются… В Гундяевке тридцать мужиков на конях ждут. Уходить надо.

— Да куда? К кому?

— Ну, к атаману… Зовут — Щусь. Сейчас мы по всей Екатеринославщине отряды собираем… На прошлой неделе разбили гайдамаков, сожгли экономию… Вот, братишка, была потеха: спирт этот, сахар даром крестьянам кидали… Так помни — через неделю приду…

Он подмигнул Семену, перескочил через плетень и побежал, пригнувшись, в камыши, где голосисто квакали лягушки.

Слухи об атаманах, о налетах доходили до Владимировки, но не верилось. И вот — появился

живой свидетель. Семен в тот же вечер рассказал о нем брату. Алексей выслушал серьезно.

— Атамана-то как звать?

— Щусь, говорят.

— Не слыхал. Про Махно, Нестора Ивановича, бродят слухи, будто бы шайка у него человек в двадцать пять головорезов, — налетают на экономии. А про Щуся не слыхал… Все может быть: теперь мужик на все способен. Что ж — Щусь так Щусь, дело святое… Только вот что, Семен: мужикам ты покуда не говори. Когда нужно будет, скажу сам.

Семен усмехнулся, пожал плечом:

— Ну, ждите, покуда не ощиплют догола.

В тот же вечер Кожин виделся, должно быть, не с одним Семеном. По селу зашептали про обрезы, гранаты, про атаманские отряды. Кое-где по дворам, ночью, — если прислушаться, — начали ширкать напильники. Но пока что все было тихо. Немцы даже навели порядок, издали приказ — с субботы на воскресенье мести улицу. Ничего, — и улицу подмели.

Затем пришла и беда. В ранний час, когда еще не выгоняли поить скотину, по выметенной улице пошли стражники и десятники с бляхами, застучали в окошки:

— Выходи!

Мужики стали выскакивать за ворота, босиком, застегиваясь, и тут же получали казенную бумагу: с такого-то двора — столько-то хлеба, шерсти, сала и яиц представить германскому интендантству по такой-то цене в марках. На площади у церкви уже стоял военный обоз. По дворам у ворот ухмылялись постояльцы-немцы, в шлемах, с винтовками.

Зачесались мужики. Кто божиться стал. Кто шапку кинул об землю:

— Да нет же у нас хлеба, боже ж ты мой! Хоть режь, — нет ничего!..

И тут по улице на дрожках проехал управляющий. Не столько солдат или стражников испугались мужики, сколько его золотых очков, потому что Григорий Карлович все знал, все видел.

Он остановил жеребца. К дрожкам подошел исправник. Поговорили. Исправник гаркнул стражникам, те вошли в первый двор и сразу под навозом нашли зерно. У Григория Карловича только очки блеснули, когда он услышал, как закричал мужик-хозяин.

В это время Алексей ходил у себя по двору, — до того растерялся, что жалко было смотреть.

Матрена, опустив на глаза платок, плакала на крыльце.

— На что мне деньги, марки-то эти, на что? — спрашивал Алексей, поднимал чурку или сломанное колесо, бросал в крапиву к плетню. Увидал петуха, затопал на него: — Сволочь! — Хватался за замок на амбарушке: — Жрать-то мы что будем? Марки эти, что ли? Значит, — по миру хотят нас? Окончательно разорить? Опять в окончательную кабалу?

Семен, сидя около Матрены, сказал:

— Хуже еще будет… Мерина твоего отберут.

— Ну уж нет! Тут я, брат, — топором!

— Поздно спохватился.

— Ой, милые, — провыла Матрена, — да я им горло зубами переем…

В ворота громыхнули прикладом. Вошел жилец, толстый немец, — спокойно, весело, как к себе домой. За ним — шесть стражников и штатский, с гетманской, в виде трезубца, кокардой на чиновничьей фуражке, со шнурованной книгой в руках.

— Тут — много, — сказал ему немец, кивнув на амбарушку, — сал, клеб.

Алексей бешено взглянул на него, отошел и со всей силы швырнул большой заржавленный

ключ под ноги гетманскому чиновнику.

— Но, но, мерзавец! — крикнул тот. — Розог захотел, сукин сын!

Семен локтем откинул Матрену, кинулся с крыльца, но в грудь ему сейчас же уперлось широкое лезвие штыка.

— Хальт! — крикнул немец жестко и повелительно. — Русский, на место!

Весь день грузились военные телеги, и поздней ночью обоз ушел. Село было ограблено начисто. Нигде не зажигали огня, не садились ужинать. По темным хатам выли бабы, зажав в кулаке бумажные марки…

Ну, поедут мужик с бабой в город с этими марками, походят по лавкам, — пусто: ни гвоздика, ни аршина материи, ни куска кожи. Фабрики не работают. Хлеб, сахар, мыло, сырье — поездами уходит в Германию. Не рояль же мужику с бабой, не старинную же голландскую картину, не китайский чайник везти домой. Поглазеют на чубастых, с висячими усами, гайдамаков в синих свитках, в смушковых с алым верхом, шапках, потолкаются на главной улице среди сизо-бритых, в котелках, торговцев воздухом и валютой. Вздохнут горько и едут домой ни с чем. А по дороге — верст двадцать отъехали — стоп, загорелись

оси на вагонах, — нет смазки, машинного масла: немцы увезли. Песочком засыплют, поедут дальше, и опять горят оси.

От этого всего бабы и выли, зажав в кулаке смятые германские марки, а мужики прятали скотину в лесные овраги, подальше от греха: кто ведь знает, какой назавтра расклеят гетманский универсал!

В селе не зажигали огня, все хаты были темны. Только за рощей, над озером, ярко светились окна княжеского дома. Там управляющий чествовал ужином германских офицеров. Играла военная музыка, — странной жутью неслись звуки немецких вальсов над темным селом. Вот огненным шнуром, черт знает в какую высь, поднялась ракета на потеху немецким солдатам, стоявшим на усадебном дворе, куда выкатили бочонок с пивом. Лопнула. И соломенные крыши, сады, ивы, белая колокольня, плетни озарились медленно падающими звездами. Много невеселых лиц поднялось к этим огням. Свет был так ярок, что каждая угрюмая морщина выступала на лицах. Жаль, что их нельзя было заснять в эту минуту при помощи какого-нибудь невидимого аппарата. Такие снимки дали бы большой материал для размышления германскому главному штабу.

Даже в поле, за версту от села, стало светло, как днем. Несколько человек, пробиравшихся к одинокому стогу, быстро легли на землю. Только один у стога не лег. Задрав голову к падающим с неба огонькам, ухмыльнулся:

— Ишь ты, курицына мать!

Огоньки погасли, не долетев до земли, стало черно. У стога сошлись люди, зазвякало бросаемое на землю оружие.

— Сколько всего?

— Десять обрезов, товарищ Кожин, четыре винтовки.

— Мало…

— Не успели… Завтра ночью еще принесем.

— А патроны где?

— Вот держи, — в карманах… Патронов много.

— Ну, прячь, ребята, под стог… Гранат, гранат, ребята, несите… Обрез — стариковское оружие, — сидеть за кустом в канаве. Выстрелил, в портки навалил, и — все сражение. А молодому бойцу нужна винтовка и — первая вещь — граната. Поняли? Ну, а уж кто может, то — шашка. Она всем оружиям оружие.

— Товарищ Кожин, а нынче ночью бы это устроить.

— Ей-богу, всем селом поднимемся… Такая

злоба, — ну, живое отняли… С вилами, с косами, можно сказать, со всем трудовым снарядом пойдем… Да их, сонных, перерезать легче легкого…

— Это кто, ты — командир? — крикнул Кожин рубящим голосом. Помолчал. Заговорил сначала вкрадчиво, потом все повышая: — Кто здесь командир? Антиресно… Али я с дураками говорю? Али я сейчас уйду, пусть вас немцы, гайдамаки бьют и грабят… (Шепотом матерное.) Дисциплины не знаете? Али мало я шашкой голов срубил за это? Когда едешь в отряд — клятву должен дать о полном, беспрекословном повиновении атаману… Иначе — не ходи. У нас — воля, пей, гуляй, а гикнул батько: «На коня!» — и ты уж не свой. Поняли? (Помолчал. Примирительно, но строго.) Ни нынче и ни завтра немцев трогать нельзя. Тут нужна большая сила.

— Товарищ Кожин, нам бы хоть до Григория Карловича добраться, — он нам все равно жить не даст.

— Что касается управляющего, то — можно, не раньше будущей недели, — иначе я с делами не управлюсь. На днях в Осиповке германец изнасиловал бабу. Хорошо. Та ему в вареники иголок подсыпала. Поел он, выскочил из-за стола, — на двор. Брякнулся, и скоро из него — дух вон. Нем-

цы эту бабу тут же прикончили. Мужики — за топоры… Что тут немцы сделали — и вспоминать не хочется… Теперь и места этого, где Осиповка стояла, не найдешь… Вот как самосильно-то, тяп да ляп! Поняли?

Матрена вздыхала, ворочаясь на постели. Начинало светать, пели петухи. Ложилась роса на подоконник открытого окна. Жужжал комарик. На шестке проснулась кошка, мягко спрыгнула и пошла нюхать сор в углу.

Братья вполголоса разговаривали у непокрытого стола: Семен — подперев руками голову, Алексей — все наклоняясь к нему, все заглядывая в лицо:

— Не могу я, Семен, пойми ты, родной. Матрене одной не управиться с хозяйством. Ведь тут годами коплено, — как бросить? Разорят последнее. Вернешься на пустое место.

— Как бросить? — сказал Семен. — Пропадет твое хозяйство — скажи какая важность. Победим — каменный дом построишь. (Он усмехнулся.) Партизанская война нужна, а ты со своим хозяйством.

— Опять говорю, — кто вас кормить будет?

— А ты и так не нас кормишь, — немцев, да гетмана, да всякую сволочь кормишь… Раб…

— Постой. В семнадцатом году я не дрался за революцию? В солдатский комитет меня не выбирали? Империялистического фронта я не разлагал? То-то… Погоди меня срамить, Семен… И сейчас, — ну, подойди Красная Армия, я первый схвачу винтовку. А куда я пойду в лес, к каким атаманам?

— Сейчас и атаманы пригодятся.

— Так-то так.

— Рана проклятая связала меня. — Семен вытянул руки по столу. — Вот моя мука… А наших черноморских ребят много пошло в эти отряды. Зажжем Украину с четырех концов, дай срок…

— Кожина ты видел еще?

— Видел.

— Что говорит?

— А мы с ним говорили, что скоро освещение устроим у вас в селе.

Алексей взглянул на брата, побледнел, опустил голову.

— Да, конечно бы, следовало… Торчит эта проклятая усадьба, как бельмо… Покуда Григорий Карлович жив, он нам дышать не даст…

Матрена спрыгнула с постели, в одной рубашке, — только накинула шаль с розами, — подошла и несколько раз постучала косточками кулака

по столу:

— Мое добро берут, я терпеть не буду! Мы, бабы, скорее вас расправимся с этими дьяволами.

Семен неожиданно весело взглянул на нее:

— Ну? Как же вы, бабы, станете воевать? Интересно.

— Будем воевать по-бабьему. Сядет он жрать, — мышьяку… Порошки мы достанем. На сеновал его — заманю или в баню, — вязальной иглы, что ли, у меня нет? Так суну в это место — не ахнет. Мы-то начнем, вы не сробейте… А надо — и мы с винтовками пойдем, не хуже вас…

Семен топнул ногой, засмеялся во все горло:

— Вот это — баба, ух ты, черт!

— Пусти! — Махнув шалью, Матрена у порога сунула босые ноги в башмаки, постучала ими и ушла, должно быть, посмотреть скотину. Семен и Алексей долго качали головами, усмехаясь: «Атаман баба, ну и баба». В открытое окошко залетел предрассветный ветерок, зашуршал листами фикусов, и донеслось бормотанье и обрывки какой-то нерусской песни. Это возвращался из усадьбы пьяный жилец-немец, греб пыль сапогами.

Алексей со злобой захлопнул окошко.

— Пошел бы ты, Семен, к себе, лег.

— Боишься?

— Да привяжется пьяный черт… Он помнит, как ты на него кидался.

— И еще раз кинусь. — Семен поднялся, пошел было к себе. — Эх, Алеша, революция из-за этого погибает, что вас раскачать трудно… Корнилова вам мало? Гайдамаков, немцев мало? Чего вам еще? (Он вдруг оборвал.) Постой…

На дворе послышалось бормотанье, тяжело, неуверенно затопали сапогами. Раздался злой женский крик: «Пусти!..» Затем — возня, сопенье, и опять, еще громче, как от боли, закричала Матрена: «Семен, Семен!..»

На кривых ногах бешено выскочил Семен из хаты. Алексей только схватился за лавку, остался сидеть, — все равно он знал, что бывает, когда так кидаются люди. Подумал: «Давеча в сенях топор оставил, им — значит…» Диким голосом вскрикнул Семен на дворе. Раздался хряский удар. На дворе что-то зашипело, забулькало, грузно повалилось.

Вошла Матрена, белая, как полотно, — тащила за собой шаль. Прислонилась к печи, дыша высокой грудью. Вдруг замахала руками на Алексея, на глаза его…

В дверях показался Семен, спокойный, блед-

ный.

— Брат, помоги, — унести его надо куда-нибудь, закопать…

5

Немецкие войска дошли до рубежей Дона и Азовского моря и остановились. Немцы овладели богатейшей областью, большей, чем вся Германия. Здесь, на Дону, так же как на Украине, германский главный штаб немедленно вмешался в политику и укрепил крупное землевладение — станичников, богатое казачество, которое всего года четыре тому назад хвалилось с налета взять Берлин. Эти самые коренастые, с красными лампасами, широколицые казаки, крепкие, как литые из стали, — казались теперь ручными овечками.

Еще немцы не подходили к Ростову, как уже десятитысячная казачья армия, под командой походного атамана Попова, бросилась на донскую столицу Новочеркасск. В кровопролитном бою на высоком плоскогорье — по-над Доном — красные казаки новочеркасского гарнизона и подоспевшие из Ростова большевики стали одолевать донцов. Но дело решил фантастический случай.

Из Румынии пешком шел добровольческий отряд полковника Дроздовского. 22 апреля он

неожиданно ворвался в Ростов, держал его до вечера и был выбит. Дроздовцы шли в степи — искать корниловскую армию. В пути, 25 апреля, услышали под Новочеркасском шум битвы. Не спрашивая, — кто, почему и зачем дерется, — повернули к городу, врезались с броневиком в резервы красных и произвели отчаянный переполох. Увидев с неба свалившуюся помощь, донцы перешли в контратаку, опрокинули и погнали красных. Новочеркасск был занят. Власть от ревкома перешла к «Кругу спасения Дона». А затем подошли и немцы.

Под их покровительством Казачий круг в Новочеркасске, — куда немцы благоразумно не ввели гарнизона, — вручил атаманский пернач генералу Краснову — как он сам выражался: «Личному другу императора Вильгельма». Зазвонили малиновые колокола в соборе. На огромной булыжной площади перед собором станичники закричали: «Ура!» И седые казаки говорили: «Ну, в добрый час».

Дальше Ростова, в глубь Дона и Кубани, немцы не пошли. Они попытались было замирить Батайск — станицу, лежащую на левом берегу напротив Ростова, населенную рабочим людом ростовских мастерских и фабрик и пригородной

беднотой. Но, несмотря на ураганный огонь и кровопролитные атаки, взять его так и не смогли. Батайск, почти весь залитый половодьем, сопротивлялся отчаянно и остался независимым.

Немцы остановились на этой черте. Они ограничились укреплением атаманской власти и подвозом оружия, взятого из русских военных складов на Украине. Так же осторожно был разрешен колкий вопрос об отношении к обеим добровольческим группам: деникинской армии и дроздовскому отряду. Добровольцы исповедовали две заповеди: уничтожение большевиков и возобновление войны с немцами, то есть верность союзникам до гроба. Первое казалось немцам разумным и хорошим, второе они считали не слишком опасной глупостью. Поэтому они сделали вид, что не знают о существовании добровольцев. Дроздовцы и деникинцы тоже сделали вид, что не замечают немцев на русской земле.

Так, дроздовскому отряду во время похода из Кишинева на Ростов пришлось однажды переходить реку. С одной стороны ее, в Бориславле, стояли немцы, с другой, у Каховки, — большевики.

Немцы не могли форсировать мост через реку.

Тогда дроздовцы сами форсировали мост, выбили красный отряд из Каховки и, не дожидаясь от немцев благодарности, пошли дальше.

Такое же, но в более крупных размерах, противоречие встало и перед Деникиным. В конце апреля растерзанные под Екатеринодаром остатки Добровольческой армии кое-как добрались до района станиц Егорлыцкой и Мечетинской, верстах в пятидесяти от Новочеркасска. Здесь неожиданно пришло спасение — весть, что Ростов занят немцами, Новочеркасск — атаманскими донцами. Красные оставили в покое добровольцев и повернули фронт против нового врага — немцев.

Добровольцы могли передохнуть, подлечить раненых, собраться с силами. В первую голову необходимо было пополнить материальную часть армии.

Все станции, от Тихорецкой до Батайска, были забиты огромными запасами военных материалов для готовящегося контрнаступления красных на Ростов. Генералы Марков, Богаевский и Эрдели тремя колоннами бросились в ближайший тыл красных, на станциях Крыловская, Сосыка и Ново-Леушковская разбили эшелоны, взорвали бронепоезда и с огромной добычей ушли назад,

в степь. Наступление Красной Армии на немцев было сорвано.

Вывихнутое плечо, ничтожные царапины, полученные в боях, зажили. Рощин окреп, обгорел и за последние дни в тихой станице отъелся.

Задача, мучившая его, как душевная болезнь, с самой Москвы — отомстить большевикам за позор, — была выполнена. Он мстил. Во всяком случае, он помнил одну минуту… Подбежал к железнодорожной насыпи… Была победа… Дрожали колени, било в виски. Он снял мягкую фуражку и вытер ею штык. Сделал это невольно, как старый солдат, берегущий чистоту оружия. У него не было прежней сумасшедшей ненависти — свинцовых обручей на черепе, крови, бросающейся в глаза. Он просто — настиг врага, вонзил лезвие и вытер его: значит, был прав, прав? Прояснившийся ум силится понять, — прав он? Да? Прав? Так почему же он спрашивает самого себя об этом?

Был воскресный день. Шла обедня в станичной церкви. Рощин опоздал, потолкался на паперти среди свежевыбритых затылков и побрел за церковь на старое кладбище. Походил по траве, где цвели одуванчики, сорвал травинку и, кусая ее, сел на холмик. Вадим Петрович был честным и — как говорила Катя — добрым человеком.

Из полуоткрытого, заросшего паутиной окна доносилось пение детских голосов, и густые возгласы дьякона казались такими гневными и беспощадными, что — вот-вот — сейчас испугаются детские голоса, вспорхнут, улетят. Невольно мысли Вадима Петровича заблуждали по прошлому, словно ища светлое, самое безгрешное…

Он просыпается от радости. За чистым высоким окном — весеннее небо, темно-синее, — такого неба он не видел с тех пор никогда. Слышно, как шумят деревья в саду. На стуле у деревянной кроватки лежит новая сатинетовая рубашка — голубая в горошек. От нее пахнет воскресеньем. Он думает о том, что будет делать весь долгий день и с кем встретится, — это так заманчиво и радостно, что хочется еще полежать… Он глядит на обои, где повторяются: китайский домик с загнутой крышей, крутой мостик и два китайца под зонтиками, а третий китаец, в шляпе, похожей на абажур, ловит с мостика рыбу. Добрые, смешные китайцы, как им хорошо живется в домике у ручья… Из коридора слышен голос матери: «Вадим, ты скоро? Я уже готова…» И этот милый, покойный голос раздается по всей его жизни благополучием и счастьем… В рубашке горошком он стоит около матери. Она в наряд-

ном шелковом платье. Целует его, вынимает из своих волос гребень и причесывает ему голову: «Ну, вот, теперь хорошо. Поедем…» Спускаясь по широкой лестнице, она раскрывает зонт. На подметенной площадке, со следами метлы на земле, едва стоит нетерпеливая тройка рыжих: левая пристяжная балует, солидный коренник нарыл яму копытом. Кучер, сытый и довольный, в малиновых рукавах, в бархатной безрукавке, оборачивает пугачевскую бороду, говорит: «С праздничком». Матушка удобно усаживается в коляску, нагретую солнцем. Вадим прижимается к матери от счастья и предчувствия — как сейчас засвистит ветер в ушах, полетят навстречу деревья. Тройка мчится, огибая усадьбу. Вот и широкая улица села, — степенно кланяющиеся мужики, раскудахтавшиеся куры, выбегающие из-под колес. Белая ограда церкви, зеленый луг, мелко распустившиеся березки, под ними покосившиеся кресты, холмики… Паперть с нищими… Знакомый запах ладана…

Церковь эта и березы стоят и посейчас там. Вадим Петрович как будто видит их зеленое кружево на синеве… Под одной — пятой от церковного угла — давно уж лежит матушка, холмик над ней обнесен оградой. Года три тому назад ста-

рый дьячок писал Вадиму Петровичу, что ограда поломана, деревянный крест сгнил… И только сейчас с ужасным раскаянием он вспомнил, что так и не ответил на письмо.

Милое лицо, добрые руки, голос, будивший его утром и наполнявший счастьем на весь день… Любовь к каждому волосочку, каждой царапинке на его теле… Боже мой, — какое бы ни было у него горе — он знал, оно всегда потонет в ее любви. Все это легло с немым лицом под холмик в березовой тени, распалось землей…

Вадим Петрович положил локти на колени, закрыл лицо руками.

Прошли долгие годы. Всегда казалось, что еще какое-то одно преодоление, и он проснется от счастья в такое же, как в былом, синее утро. Два китайчика под зонтиками поведут его через горбатый мостик в дом с приподнятой крышей… Там ждет его невыразимо любимая, невыразимо родная…

«Моя родина, — подумал Вадим Петрович, и опять вспомнилась тройка, мчавшаяся по селу. — Это — Россия… То, что было Россией… Ничего этого больше нет и не повторится… Мальчик в сатинетовой рубашке стал убийцей».

Он быстро встал и заходил по траве, заложив

руки за спину и хрустя пальцами. Мысли сами занесли его туда, куда он, казалось, наотмашь захлопнул дверь… Ведь он верил, что идет на смерть… И вот, не умер… Как было бы просто сейчас валяться, осыпанному мухами, где-нибудь в степной водомоине…

«Ну, что же, — думал он, — умереть легко, жить трудно… В этом и заслуга каждого из нас — отдать погибающей родине не просто живой мешок мяса и костей, а все свои тридцать пять прожитых лет, привязанности, надежды, и китайский домик, и всю свою чистоту…»

Он даже застонал и оглянулся, — не слышит ли кто? Но детские голоса все так же пели. Ворковали голуби на ржавом карнизе… Поспешно, точно воруя, он вспомнил еще одну минуту нестерпимой жалости. (Он никогда об ней не поминал Кате.) Это было год тому назад, в Москве. Рощин еще на вокзале узнал, что в этот день были похороны мужа Екатерины Дмитриевны и что она сейчас — совсем одна. Он пришел к ней в сумерки, прислуга сказала, что она спит, он остался ждать и сел в гостиной. Прислуга шепотом рассказала, что Екатерина Дмитриевна все плачет: «Повернется к стеночке на постельке и ну, как ребенок, — заведет, так мы уж в кухню дверь затворяем…» Он

решил ждать хотя бы всю ночь, сидел на диване и слушал, как тикает маятник где-то, уводя время, отнимая секунды жизни, кладя морщины на любимое лицо, серебря волосы — беспощадно, неумолимо… Рощину казалось, что если Катя не спит, то именно думает об этом, слушая стук часов. Потом он услышал ее шаги, слабые и неуверенные, точно у нее подвертывался каблучок. Она ходила в спальне и будто что-то шептала. Останавливалась, подолгу не шевелилась. Рощин начал тревожиться, как будто понимал сквозь стену Катины мысли. Скрипнула дверь, она прошла в столовую, зазвенела хрусталем в буфете. Рощин вытянулся, готовый кинуться. Она приотворила дверь: «Лиза, это вы?» Она была в верблюжьем халатике, в одной руке сжимала рюмку, в другой — какой-то жалкий пузыречек… Хотела этими средствами избавиться от тоски, от одиночества, от неумолимого времени, от всего… Ее сероглазое осунувшееся лицо было как у ребенка, брошенного всеми… Ее бы — в китайский домик. Вадим Петрович сказал ей тогда: «Располагайте мной, всей моей жизнью…» И она поверила, что может все свое одиночество, все годы оставшейся жизни утопить в его жалости, в любви…

Какого черта, в самом деле, какого черта! Конечно, он всегда знал, что ни на одно мгновение Катя не отступала от него — и когда его давила ненависть свинцовыми обручами, и в этот страшный месяц боев. Словно незримой тенью, раскинув руки, беззвучно моля, она преграждала ему путь, и он, охрипший от бешеного крика, вонзал штык в красноармейскую шинель, вонзал сквозь эту неотступную тень и, сняв фуражку, вытирал лезвие…

Обедня кончилась. Из церкви повалила толпа загорелых юнкеров и офицеров. Не спеша пошли знаменитые генералы с привычно строгими глазами, в чистых гимнастерках, с орденами и крестами: высокий, картинно стройный красавец, с раздвоенной бородкой и фуражкой набекрень — Эрдели; мухрастый, в грязной папахе — колючий Марков; низенький — Кутепов, курносый, коренастый, с медвежьими глазками; казак Богаевский с закрученными усами. Затем вышли, разговаривая, Деникин и холодный, «загадочный», как называли его в армии, с красивым, умным лицом — Романовский. При виде главнокомандующего все подтянулись, курившие под березами — бросили папироски.

Деникин был теперь уже не тот несчастный, в

сбитых сапогах и в штатском, больной бронхитом «старичок», увязавшийся без багажа в обозе за армией. Он выпрямился, был даже щегольски одет, серебряная бородка его внушала каждому сыновнее почтение, глаза округлились, налились строгой влагой, как у орла. Разумеется, ему далеко было до Корнилова, но все же из всех генералов он был самый опытный и рассудительный. Прикладывая два пальца к фуражке, он важно прошел в церковные ворота и сел в коляску вместе с Романовским.

К Рощину подошел долговязый Теплов; левая рука его была на перевязи, на плечи накинута измятая кавалерийская шинель. Он побрился для праздника и был в отличном настроении.

— Новости слыхал, Рощин? Немцы и финны не сегодня завтра возьмут Петербург. Командует Маннергейм — помнишь его? Свитский генерал, молодчина, отчетливый рубака… В Финляндии всех социалистов вырезал под гребенку. И большевики, понимаешь, уже драпают из Москвы с чемоданами через Архангельск. Факт, честное слово… Приехал поручик Седельников из Новочеркасска, рассказывает… Ну, а в Новочеркасске — елочки точеные — баб шикарных, девчонок! Седельников рассказывает, на одного — десять…

(Он раздвинул худые, согнутые в коленях ноги и захохотал так, что кадык у него вылез из ворота гимнастерки.)

Рощин не поддержал разговора об «елочках точеных», и Теплов опять свернул на политические новости, которыми в глуши степей жила армия.

— Оказывается, вся Москва минирована — Кремль, храмы, театры, все лучшие здания, целые кварталы, — и электрические провода отведены в Сокольники, какая-то там есть таинственная дача, охраняется днем и ночью чекистами… Мы подходим — представляешь — бац! Москва взлетает на воздух… (Он наклонился, понизил голос.) Факт, честное слово. Главнокомандующий принял соответствующие меры: в Москву посланы особые разведчики — найти эти провода и — когда будем подходить к Москве — не допустить до взрыва… Но зато уж повешаем! На Красной площади! Елки точеные! Публично, с барабанным боем.

Рощин поморщился, поднялся:

— Ты бы уж лучше про девочек рассказывал, Теплов.

— А что — не нравится?

— Да, не нравится. — Рощин твердо посмотрел в рыжеватые глупые глаза Теплова.

У того длинный рот углом пополз на сторону.

— То-то, видно, ты забыть не можешь красный паек…

— Что? — Рощин сдвинул брови, придвинулся. — Что ты сказал?

— То сказал, что у нас в полку все говорят… Пора тебе дать отчет, Рощин, по работе в Красной Армии…

— Мерзавец!

Только то обстоятельство, что у Теплова одна рука была на перевязи и он еще считался на положении раненого, спасло его от пощечины. Рощин не ударил его. Заведя руку за спину, он круто повернулся и, весь как деревянный, с поднятыми плечами, пошел между могил.

Теплов поднакинул сползшую шинель и, обиженно усмехаясь, глядел на его прямую спину. Подошли корнет фон Мекке и неразлучный с ним веснушчатый юноша с большими светлыми, мечтательными глазами, — сын табачного фабриканта из Симферополя, Валерьян Оноли, одетый в поношенную, в бурых пятнах, студенческую шинель с унтер-офицерскими погонами.

— Что тут у вас произошло — поругались? — резким голосом, как бывает у глуховатых людей, спросил фон Мекке. Все еще недоумевающий

Теплов, дергая себя за висячие усы, передал весь разговор с подполковником Рощиным.

— Странно, вы все еще удивляетесь, господин штабс-капитан, — скучающе, с мечтательными глазами, проговорил Оноли. — Мне с первого дня было ясно, что подполковник Рощин — шпион.

— Брось, Валька. — Фон Мекке мигнул всей левой стороной лица, пораженного контузией. — Гвоздь в том, что его лично знает генерал Марков. Тут сплеча не руби… Но я ставлю мой шпалер, что Рощин — большевик, сволочь и дерьмо…

До конца мая на Северном Кавказе было сравнительное затишье. Обе стороны готовились к решительной борьбе. Добровольцы — к тому, чтобы захватить главные узлы железных дорог, отрезать Кавказ и с помощью белого казачества очистить область от красных. ЦИК Кубано-Черноморской республики — к борьбе на три фронта: с немцами, с белым казачеством и со вновь ожившими «бандами Деникина».

Красная Кавказская армия, состоявшая в подавляющей массе из фронтовиков бывшей царской закавказской армии, из иногородних и малоземельной казачьей молодежи, насчитывала до ста тысяч бойцов. Главком ее — Автономов — подозревался членами Кубано-Черноморского

ЦИКа в диктаторских стремлениях и непрерывно ссорился с правительством. На огромном митинге в Тихорецкой он обозвал ЦИК немецкими шпионами и провокаторами. В ответ на это ЦИК «заклеймил» Автономова и примкнувшего к нему Сорокина бандитами и врагами народа и предал их проклятию и вечному позору.

Вся эта «буза» парализовала армию. Вместо того чтобы начать концентрическое наступление тремя группами на Добровольческую армию, находившуюся в центре расположения этих групп, Красная Армия волновалась, митинговала, скидывала командиров и в лучшем случае способна была на трагическую гибель.

Наконец московские декреты продолбили упрямство краевых властей. Автономов был назначен инспектором фронта, командование северной группой армии перешло к угрюмому латышу, подполковнику Калнину. Сорокин остался командующим западной группой.

В это как раз время к Добровольческой армии присоединился полковник Дроздовский с трехтысячным отрядом отборных и свирепых офицеров, стоивших в бою каждый десяти рядовых бойцов; подтягивалось на конях станичное казачество; из Петрограда, Москвы, со всей

России просачивалось, поодиночке и кучками, офицерство, прослышавшее про чудеса «ледяного похода»; атаман Краснов, хотя и скуповато, снабжал оружием и деньгами. С каждым днем Добровольческая армия крепла, и настроение ее раскалялось умелой пропагандой генералов и общественных деятелей, неумелыми действиями краевой советской власти и рассказами прибывающих с севера очевидцев.

В конце мая ее уже не могли раздавить местные силы красных. Она сама перешла в наступление и нанесла северной группе Красной Армии Калнина страшный удар на станции Торговая.

— Что же вы, ребята, бросили петь?

— Охрипли.

— А ну-ка, я уголек достану. — Иван Ильич Телегин присел у костра, в котором ярко горел брошенный сверху железнодорожный щит, и, раскурив трубку, остался послушать.

Час был поздний. Почти все костры вдоль полотна погасли. Свежая ночь пышно раскинулась звездами. Огонь освещал наверху, на насыпи, товарные составы — кирпично-красные вагончики, ободранные и разбитые. Иные прибежали от берегов Тихого океана, иные из полярных болот, из песков Туркестана, с Волги, из Полесья. На

каждом имелась пометка: «Срочный возврат». Но все сроки давно прошли. Построенные для мирной работы, многотерпеливые вагончики с немазаными осями и проломанными боками готовились сейчас, — отдыхая под звездами, — к совершенно уже фантастической деятельности. Их будут сбрасывать целыми составами со всем содержимым под откосы; набив в них, как сельдь в бочку, пленных красноармейцев и наглухо заколотив двери и окошки, угонят за тысячи верст с пометкой мелом: «Непортящийся груз, медленная скорость». Они превратятся в кладбище сыпнотифозных, в рефрижераторы для перевозки мороженых трупов. Они будут взлетать в огненных взрывах под самое небо… В сибирских дебрях их двери и стенки будут растаскиваться на заборы и скотные дворы… И, — уцелевшие, обгорелые, разбитые, — они еще не скоро, очень не скоро приплетутся по требованию срочного возврата и станут на ржавых путях в ремонт.

— А что, товарищ Телегин, как в Москве пишут, скоро кончится гражданская война?

— Покуда не победим.

— Видишь ты… Значит — надеются на нас…

Несколько человек у костра, бородатые, обгорелые, черные, лежали лениво… Спать не хотелось,

шибко разговаривать тоже не хотелось. Один попросил у Телегина махорки.

— Товарищ Телегин, а кто это такие — чехословаки? Откуда они взялись у нас? Раньше будто бы не было таких людей…

Иван Ильич объяснил, что чехословаки — австрийские военнопленные, из них царское правительство начало формировать корпус, чтобы перебросить к французам, но не успело…

— А теперь советская власть не может их выпустить, раз они едут на империалистический фронт… Потребовали, чтобы они разоружились. Они и взбунтовались…

— Что же, товарищ Телегин, неужели и с ними будем воевать?

— Никто сейчас ничего не знает… Сведения самые неопределенные… Думаю, что вряд ли… Их всего тысяч сорок…

— Ну, это побьем…

Опять замолчали у костра. Тот, кто попросил табачку у Телегина, покосившись, сказал, видимо, только так, для уважения:

— Гнали нас при царе под Саракамыш. Ничего нам не объясняли: за что должны бить турок, за что мы должны помирать. А горы там ужасные. Посмотришь, — ах, думаешь, родила тебя мать

не в добрый час… А теперь — не то: эта война — для себя, отчаянная… И все понятное — и кто и за что…

— Ну, вот я, скажем, по прозвищу — Чертогонов, — густо проговорил другой солдат, поднявшись на локте, и сел так близко к огню, что стало удивительно, как не загорится у него борода. Вид его был страшный, черные волосы падали на лоб, на дубленом лице горели круглые глаза. — Два раза был на Дальнем Востоке, в кутузках сидел без счета за бродяжничество… Хорошо. Все-таки меня заключили — в казарму, воинский билет и — на войну… Шесть ранений… Вот, гляди. — Он залез пальцем в рот, отодрал его на сторону, показал корешки выбитых зубов. — Изловчился я попасть в Москву, в лазарет, а тут — и большевики… Конец моим мукам. Вопрос: «Социальное положение?» Я им: «Дальше не ищите, я — тут, потомственный почетный батрак, роду-племени не знаю». Как они засмеются! Мне — винтовку, мне — мандат. И стали мы в то время обходить город, искать буржуев… Зайдешь в хорошую квартиру, хозяева, конечно, заробеют… Смотришь — где у них что попрятано: мука, сахар… Сволочи, ведь боятся, дрожат, а разговору не выходит и не выходит… Иной раз остервенишься, — не чело-

век, что ли, гладкая твоя морда, — разговаривай, ругайся, умоляй меня… Пустишь его матюгом, а разговора не выходит… В чем, думаю, дело?.. И так мне стало обидно, — весь век молчал, на них, дьяволов гладких, работал, кровь за них проливал… И меня за человека не считают… Вот они, думаю, каковы буржуи! И стала меня жечь классовая ненависть. Хорошо… Надо было реквизировать особняк купца Рябинкина. Пошли мы туда четверо с пулеметом, для паники. Стучим в парадное. Через некоторое время отворяет нам аккуратненькая горничная, вся, голубушка, побледнела и заметалась: ах, ах — на цыпочках… Мы ее отстранили, входим в залую, — громадная комната со столбами, посереди стоит стол, за ним Рябинкин с гостями едят блины. Дело было на масленицу, все, конечно, пьяные… Это в то самое время, когда пролетариат погибает от голоду!.. Как я винтовкой стукнул об пол, как я на них за это закричал! Смотрю, — сидят, улыбаются… И подбегает к нам Рябинкин, красный весь, веселый, глаза выпученные: «Дорогие товарищи, говорит, ведь я давно знаю, что вы мой особняк со всем имуществом реквизируете! Дайте доесть блины, а между прочим, садитесь с нами… Это не стыдно, потому что это все народное достоя-

ние», — и показывает на стол… Мы потоптались, но сели к столу, держим винтовки, хмуримся… А Рябинкин нам — водки, блинов, закуски… И говорит и хохочет… Про что он только не рассказывал, все в лицах, с подковыркой… Гости хохочут, и мы стали смеяться. Пошли разные шутки про похождения буржуев, начались споры, но чуть кто из нас ощетинится, хозяин глушит его водкой: чайный стакан, — из другой посуды не пили… Начали откупоривать шампанское, и мы винтовки поставили в уголок… «Чертогонов, думаю, ты ли это ходишь по залую, цепляешься за столбы?» Песни начали петь хором. А к вечеру поставили на крыльце пулемет, чтобы никто посторонний не вломился. Полтора суток пили. Отыгрался я за всю мою бессловесную жизнь. Но все-таки Рябинкин нас обманул, — ах, дошлый купец!.. Покуда мы гуляли, он успел, — горничная ему помогала, — все бриллианты, золото, валюту, разные стоящие вещицы переправить в надежное место… Реквизировали мы одни стены да обстановку… Уж как с нами прощался Рябинкин, с похмелья, конечно: «Дорогие товарищи, берите, берите все, мне ничего не жалко, из народа я вышел, в народ и вернусь…» И в тот же день скрылся за границу. А меня — в Чеку. Я им: «Виноват,

расстреливайте». За бессознательность только не расстреляли. А я и сейчас рад, что погулял… Есть что вспомнить…

— Много злодеев среди буржуев, но и среди нас не мало, — проговорил кто-то сидевший за дымом. В его сторону посмотрели. Тот, кто спрашивал махорку у Телегина, сказал:

— Раз уж кровь переступили в четырнадцатом году, народ теперь ничем не остановишь…

— Я не про то, — повторил голос из-за дыма. — Враг — враг, кровь — кровь… А я — про злодеев.

— А сам-то ты кто?

— Я-то? Я и есть злодей, — ответил голос тихо. Тогда все замолчали, стали глядеть на угли в догоревшем костре. Холодок пробежал по спине Телегина. Ночь была свежа. Кое-кто у костра поворочался и лег, положив шапку под щеку.

Телегин поднялся, потянулся, расправляясь. Теперь, когда дым сошел, можно было видеть по ту сторону огня сидевшего, поджав ноги, злодея. Он кусал стебелек полыни. Угли освещали его худое, со светлым и редким пушком, почти женственно мягкое, длинное лицо. На затылке — заношенный картуз, на узких плечах — солдатская шинель. Он был по пояс голый. Рубашка, в которой он, должно быть, искал, — лежала подле него. Заметив,

что на него смотрят, он медленно поднял голову и улыбнулся медленно, по-детски.

Телегин узнал — это был боец из его роты. Мишка Соломин, из-под Ельца, из пригородных крестьян, взят был как доброволец еще в Красную гвардию и попал на Северный Кавказ из армии Сиверса.

Он только на секунду встретился взором с Телегиным и сейчас же опустил глаза, будто от смущения, и тут только Иван Ильич вспомнил, что Мишка Соломин славился в роте как сочинитель стихов и безобразный пьяница, хотя пьяным видали его редко. Ленивым движением плеча он сбросил шинель и стал надевать рубашку. Иван Ильич полез по насыпи к классному вагону, где бессонно в одном окошке у командира полка, Сергея Сергеевича Сапожкова, горела керосиновая лампа. Отсюда, с насыпи, были яснее видны звезды и внизу, на земле, — красноватые точки догорающих костров.

— Кипяток есть, иди, Телегин, — сказал Сапожков, высовываясь с кривой трубкой в зубах в окошко.

Керосиновая лампа, пристроенная на боковой стене, тускло освещала ободранное купе второго класса, висящее на крючках оружие, книги,

разбросанные повсюду, военные карты. Сергей Сергеевич Сапожков, в грязной бязевой рубашке и подтяжках, обернулся к вошедшему Телегину:

— Спирту хочешь?

Иван Ильич сел на койку. В открытое окно вместе с ночной свежестью долетало бульканье перепела. Пробухали спотыкающиеся шаги красноармейца, вылезшего спросонок из теплушки за надобностью. Тихо тренькала балалайка. Где-то совсем близко загорланил петух, — был уже первый час ночи.

— Это как так — петух? — спросил Сапожков, кончая возиться с чайником.

Глаза его были красны, и румяные пятна проступали на худом лице… Он пошарил позади себя на койке, нашел пенсне и, надев его, стал глядеть на Телегина:

— Каким образом в расположении полка мог оказаться живой петух?

— Опять беженцы прибыли, я уже доложил комиссару. Двадцать подвод с бабами, ребятами… Черт знает что такое, — сказал Телегин, помешивая в кружке с чаем.

— Откуда?

— Из станицы Привольной. Их большой обоз шел, да казаки по пути побили. Все иногородние,

беднота. У них в станице два казачьих офицера собрали отряд, ночью налетели, разогнали совет, сколько-то там повесили.

— Словом, обыкновенная история, — проговорил Сапожков, отчетливо произнося каждую букву. Кажется, он был сильно пьян и зазвал Телегина, чтобы отвести душу… У Ивана Ильича от усталости гудело все тело, но сидеть на мягком и прихлебывать из кружки было так приятно, что он не уходил, хотя мало чего могло выйти толкового из разговора с Сергеем Сергеевичем. — Где у тебя, Телегин, жена?

— В Питере.

— Странный человек. В мирной обстановке вышел бы из тебя преблагополучнейший мещанин. Добродетельная жена, двое добродетельных детей и граммофон… На кой черт ты пошел в Красную Армию? Тебя же убьют…

— Я тебе уже объяснял…

— Ты что же, в партию, быть может, ловчишься?

— Нужно будет для дела, пойду и в партию.

— А меня, — Сапожков прищурился за мутными стеклами пенсне, — вари в трех котлах, коммунистом не сделаешь…

— Вот уж, если кто странный, так это ты стран-

ный, Сергей Сергеевич…

— Ничего подобного. У меня мозги не диалектические… Дикая порода, — один глаз всегда в лес смотрит. Гм! Так ты говоришь — я странный? (Он усмехнулся, видимо с удовлетворением.) С октября месяца дерусь за советскую власть. Гм! А ты Кропоткина читал?

— Нет, не читал…

— Оно и видно… Скучно, братишка… Буржуазный мир подл и скучен до адской изжоги… А победим мы, — коммунистический мир будет тоже скучен и сер, добродетелен и скучен… А Кропоткин хороший старик: поэзия, мечта, бесклассовое общество. Воспитаннейший старик: «Дайте людям анархическую свободу, разрушьте узлы мирового зла, то есть большие города, и бесклассовое человечество устроит сельский рай на земле, ибо основной двигатель в человеке — это любовь к ближнему…» Хи-хи…

Сапожков, точно обижая кого-то, пронзительно засмеялся, пенсне запрыгало на костлявом его носу. Смеясь, полез под койку, вытащил жестяной бидончик со спиртом, налил в чашку, выпил и хрустко разгрыз кусочек сахару.

— Наша трагедия, милый друг, в том, что мы, русская интеллигенция, выросли в безмятежном

лоне крепостного права и революции испугались не то что до смерти, а прямо — до мозговой рвоты… Нельзя же так пугать нежных людей! А? Посиживали в тиши сельской беседки, думали под пенье птичек: «А хорошо бы, в самом деле, устроить так, чтобы все люди были счастливы…» Вот откуда мы пошли… На Западе интеллигенция — это мозговики, отбор буржуазии — выполняют железное задание: двигать науку, промышленность, индустрию, напускать на белый свет утешительные миражи идеализма… Там интеллигенция знает, зачем живет… А у нас, — ой, братишки!.. Кому служим? Какие наши задачи? С одной стороны, мы — плоть от плоти славянофилов, духовные их наследники. А славянофильство, знаешь, что такое? — расейский помещичий идеализм. С другой стороны, деньги нам платит отечественная буржуазия, на ее иждивении живем… А при всем том служим исключительно народу… Вот так чудаки: народу!.. Трагикомедия! Так плакали над горем народным, что слез не хватило. И когда у нас эти слезы отняли, — жить стало нечем… Мы мечтали — вот-вот дойдут наши мужички до Цареграда, влезут на кумпол, водрузят православный крест над Святой Софией… Земной шар мечтали мужичкам подарить. А нас, энту-

зиастов, мечтателей, рыдальцев, — вилами… Неслыханный скандал! Испуг ужасный… И начинается, милый друг, саботаж… Интеллигенция попятилась, голову из хомута тащит: «Не хочу, попробуйте-ка — без меня обойдитесь…» Это когда Россия на краю чертовой бездны… Величайшая, непоправимая ошибка. А все — барское воспитание, нежны очень: не в состоянии постигнуть революции без книжечки… В книжечках про революцию прописано так занимательно… А тут — народ бежит с германского фронта, топит офицеров, в клочки растерзывает главнокомандующего, жжет усадьбы, ловит купчих по железным дорогам, выковыривает у них из непотребных мест бриллиантовые сережки… Ну, нет, мы с таким народом не играем, в наших книжках про такой народ ничего не написано… Что тут делать? Океан слез пролить у себя в квартире, так мы же и плакать разучились, — вот горе!.. Вдребезги разбиты мечты, жить нечем… И мы — со страха и отвращения — головой под подушку, другие из нас — дерка за границу, а кто позлее — за оружие схватился. Получается скандал в благородном семействе… А народ, на семьдесят процентов неграмотный, не знает, что ему делать с его ненавистью, мечется, — в крови, в ужасе…

«Продали, говорит, нас, пропили! Бей зеркала, ломай все под корень!» И в нашей интеллигенции нашлась одна только кучечка, коммунисты. Когда гибнет корабль, — что делают? Выкидывают все лишнее за борт… Коммунисты первым делом вышвырнули за борт старые бочки с российским идеализмом… Это все «старик» орудовал — российский, брат, человек… И народ сразу звериным чутьем почуял: это свои, не господа, эти рыдать не станут, у этих счет короткий… Вот почему, милый друг, я — с ними, хотя произращен в кропоткинской оранжерее, под стеклом, в мечтах… И нас не мало таких, — ого! Ты зубы-то не скаль, Телегин, ты вообще эмбрион, примитив жизнерадостный… И есть, видишь ли, такие, которым сознательно приходится вывернуть себя наизнанку, мясом наружу и, чувствуя каждое прикосновение, утвердить в себе одну волевую силу — ненависть… Драться без этого нельзя… Мы сделаем все, что в силах человеческих, — поставим впереди цель, куда пойдет народ… Но ведь нас — кучка… А враги — повсюду… Ты слыхал про чехословаков? Придет комиссар, он тебе расскажет… Знаешь, чего боюсь? Боюсь, что у нас это самоубийство. Не верю, — месяц, два, полгода — больше не продержимся… Обречены, брат…

Кончится все — генералом… И я тебе говорю, — виноваты во всем славянофилы… Когда началось освобождение крестьян, надо было кричать: «Беда, гибнем, нам нужно интенсивное сельское хозяйство, бешеное развитие промышленности, поголовное образование… Пусть приходит новый Пугачев, Стенька Разин, все равно, — вдребезги разбить крепостной костяк…» Вот какую мораль нужно было тогда бросить в массы, вот на чем воспитывать интеллигенцию… А мы изошли в потоках счастливых слез: «Боже мой, как необъятна, как самобытна Россия! И мужичок теперь свободен, как воздух, и помещичьи усадьбы с тургеневскими барышнями целы, и таинственная душа у народа нашего, — не то что на скаредном Западе…» И вот я теперь — топчу всякую мечту!

Сапожков больше не мог говорить. Лицо его пылало. Но, видимо, самого главного он так и не сказал. Телегин, оглушенный водопадом его слов, сидел, открыв рот, с остывшей кружкой на коленях. В проходе вагона послышались шаги, как будто шел кто-то неимоверно тяжелый. Дверь купе приотворилась, и показался широкий, среднего роста человек с прилипшими к большому лбу темными волосами. Он молча сел под лампой, положив на колени большие руки. На

обветренном грубом лице его редкие морщины казались шрамами, глаз не было видно в тени глазниц и нависших бровей. Это был начальник особого отдела полка, товарищ Гымза.

— Опять шпирт достал? — спросил он негромко и серьезно. — Смотри, товарищ…

— Какой такой спирт? Ну тебя к свиньям. Видишь, чай пьем, — сказал Сапожков.

Гымза, не шевелясь, прогудел:

— Так еще хуже, что врешь. Спиртищем из окна так и тянет, в теплушках шевеление началось, бойцы принюхиваются… Бузы у нас мало? Во-вторых, опять философию завел, дурацкую волынку, отсюда я заключаю, что ты пьяный.

— Ну, пьяный, ну, расстреляй меня.

— Расстрелять мне тебя недолго, это ты хорошо знаешь, и если я терплю, то принимая во внимание твои боевые качества…

— Дай-ка табаку, — сказал Сапожков.

Гымза важно достал из кармана тряпичный кисет.

Затем, обращаясь к Телегину, продолжал медленным голосом, точно тер жернова:

— Каждый раз одна и та же недопустимая картина: на прошлой неделе расстреляли троих подлецов, я сам допрашивал, — гниль, во всем со-

знались. И он сейчас же достает шпирту… Сегодня расстреляли заведомую сволочь, деникинского контрразведчика, он же сам его и поймал в камышах… Готово: нализался и тянет философию. Такая у него получается капуста, ну, вот я сейчас стоял под окном, слушал, — рвет, как от тухлятины… За эту философию другой, не я, давно бы его отправил в особый отдел, потому что он же разлагается… Он потом два дня болен, не может командовать полком…

— А если ты расстрелял моего университетского товарища? — Сапожков прищурился, ноздри у него затрепетали.

Гымза ничего не ответил, будто и не слышал этих слов. Телегин опустил голову… Сапожков говорил, придвигая потный нос к Гымзе:

— Деникинский разведчик, ну да. А мы вместе с ним бегали на «Философские вечера». Черт его знает, зачем он полез в белую армию… Может быть, с отчаяния… Я сам его к тебе привел… Довольно с тебя, что я исполнил долг? Или тебе нужно, чтобы я камаринского плясал, когда его в овраг повели?.. Я сзади шел, я видел. — Он в упор глядел Гымзе в темные впадины глаз. — Могу я иметь человеческие чувства, или я уже все должен в себе сжечь?

Гымза ответил не спеша:

— Нет, не можешь иметь… Другой кто-нибудь, там уж не знаю… А ты все должен в себе сжечь… От такого гнезда, как в тебе, контрреволюция и начинается.

Долго молчали. Воздух был тяжелый. За темным окном затихли все звуки. Гымза налил себе чаю, отломил большой кусок серого хлеба и медленно стал есть, как очень голодный человек. Потом глухим голосом начал рассказывать о чехословаках. Новости были тревожны. Чехословаки взбунтовались во всех эшелонах, растянутых от Пензы до Владивостока. Советские власти не успели опомниться, как железные дороги и города оказались под ударами чехов. Западные эшелоны очистили Пензу, подтянулись к Сызрани, взяли ее и оттуда двигаются на Самару. Они отлично дисциплинированы, хорошо вооружены и дерутся умело и отчаянно. Пока еще трудно сказать, что это — простой военный мятеж или ими руководят какие-то силы извне? Очевидно, — и то и другое. Во всяком случае, от Тихого океана до Волги вспыхнул, как пороховая нить, новый фронт, грозящий неимоверными бедствиями.

К окну снаружи кто-то подошел. Гымза замолчал, нахмурился, обернулся.

Голос позвал его:

— Товарищ Гымза, выдь-ка…

— Что тебе? Говори…

— Секретное.

Опустив брови на впадины глаз, Гымза оперся руками о койку, сидел так секунду, пересиленным движением поднялся и вышел, задев плечами за оба косяка двери. На площадке он сел на ступени, наклонился. Из темноты к нему пододвинулась высокая фигура в кавалерийской шинели, звякнули шпоры. Человек этот торопливо зашептал ему у самого уха…

Сапожков, как только Гымза вышел, стал шибко раскуривать трубку, яростно плюнул несколько раз в окно. Снял, швырнул пенсне и вдруг рассмеялся.

— Вот в чем весь секрет: прямо ответить на поставленный вопрос… Есть бог? — нет. Можно человека убить? — можно. Какая ближайшая цель? — мировая революция… Тут, братишка, без интеллигентских эмоций…

Он вдруг оборвал, вытянулся, слушая. Весь вагон вздрогнул, — это кулаком в стенку ударил Гымза. Свирепо-хриплый голос его прорычал:

— Ну, уж если ты мне соврал, сукин сын…

Сергей Сергеевич схватил Телегина за руку:

— Слышишь? А знаешь — в чем дело? Ходят неприятные слухи о нашем главкоме Сорокине… Это товарищ из особого отдела вернулся оттуда. Понял — почему Гымза, как черт, мрачный…

Звезды уже блекли перед рассветом. Опять закричал петух между возами. На спящий лагерь опускалась роса. Телегин пошел к себе в купе, стащил сапоги и со вздохом лег на койку, заскрипев пружинами.

Телегину порой казалось, что короткое счастье жизни только приснилось ему где-то в зеленой степи под стук колес… Была жизнь — удачливая и тихая: студенчество, огромный, бездонный Питер, служба, беззаботная компания чудаков, живших у него в квартире на Васильевском острове. Тогда казалось — будущее ясно, как на ладони. Он и не задумывался о будущем: полет годов над крышей его дома был неспешен и неутомителен. Иван Ильич знал, что честно выполнит положенный ему труд и, — когда голова поседеет, — оглянется на пройденное и увидит, что прошел долгую-долгую дорогу, не сворачивая в опасные закоулки, как тысячи таких же Иванов Ильичей. В его простые будни повелительно вошла Даша, и грозным счастьем засияли ее серые глаза. Правда, у него всегда, очень тайно, нет-нет

да и появлялось коротенькое сомнение: счастье назначалось не ему! Но он гнал это сомнение, он намеревался — вот только минуют дни войны — построить счастливый домик для Даши. И даже когда рухнули капитальные стены империи, и все смешалось, и зарычал от гнева и боли стопятидесятимиллионный народ, — Иван Ильич все еще думал, что буря пролетит и лужайка у Дашиного домика мирно засияет после дождя.

И вот он — снова на койке, в военном эшелоне. Вчера — бой, завтра — бой. Теперь ясно: к прошлому возврата нет. Стыдно ему было и вспоминать, как он год тому назад суетился, устраивая квартирку на Каменноостровском, — приобрел кровать красного дерева, чтобы Даша на ней родила мертвого младенца.

Даша первая ударилась о дно водоворота. «Попрыгунчики», наскочившие на нее у Летнего сада, дыбом вставшие волосики у мертвого ребенка, голод, темнота, декреты, где каждое слово дышало гневом и ненавистью, — вот какой предстала ей революция. По ночам революция свистела над крышами, кидала снегом в замерзшие окна, — чужая! — кричала она Даше вьюжными голосами. Когда серенькая петербургская весна подула серым ветром, закапали крыши и с грохо-

том по дырявым трубам полетели вниз ледяные сосульки, Даша сказала Ивану Ильичу (он пришел домой оживленный, в пальто нараспашку, и особенно блестящими глазами поглядел на Дашу, — она вся поджалась, завернулась в платок до подбородка).

— Как бы я хотела, Иван, — сказала она, — разбить себе голову, все забыть навсегда… Тогда бы еще могла быть тебе подругой… А так, — ложиться в страшную постель, снова начинать проклятый день, — пойми же ты: не могу, не могу жить. Не думай, мне не нужно никакого изобилия, — ничего, ничего… Но только жить — полным дыханием… А крохи мне не нужны… Разлюбила… Прости…

Сказала и отвернулась.

Даша всегда была сурова в чувствах. Теперь она стала жестока. Иван Ильич спросил ее:

— Быть может, нам лучше на некоторое время расстаться, Даша?..

И тогда в первый раз за всю зиму увидел, как радостно взлетели ее брови, странной надеждой блеснули глаза, жалобно задрожало ее худенькое лицо…

— Мне кажется, — нам лучше расстаться, Иван.

Тогда же он начал решительно хлопотать через Рублева о зачислении своем в Красную Армию и в конце марта уехал с эшелоном на юг. Даша провожала его на перроне Октябрьского вокзала и, — когда окно вагона поплыло, — горько заплакала, опустив вязаную шаль на лицо.

Много сотен верст исколесил с тех пор Иван Ильич, но ни бой, ни усталость, ни лишения не заставили его забыть любимого заплаканного лица в толпе женщин у прокопченной стены вокзала. Даша прощалась с ним так, как прощаются навсегда. Он силился понять, — в чем же не угодил ей? В последнем счете, конечно, только в нем лежала причина ее охлаждения: ведь не у нее же одной родился мертвый ребенок. Не революция же вырвала у нее сердце… Сколько супружеских пар, — он перебирал в памяти, — теснее прижались друг к другу в это грозное, смутное время… В чем же была его вина?

Иногда в нем подымалось возмущение: хорошо, найди, милая, поищи другого такого, кто будет с тобой так же тютькаться… Мир трещит по всем швам, а ей дороже всего свои переживания… Просто — распущенность, привычка питаться сдобными булочками– а не хочешь ли черненького, с мякиной?

Все это верно, все так, но отсюда был дальнейший вывод, что Иван Ильич сам отменно хорош и не любить его преступно. На этом каждый раз Иван Ильич спотыкался… «Действительно, ну-ка, что во мне такого особенного? Физически здоров — раз. Умен и интересен чрезвычайно? — нет, нормален, как десятый номер калош… Герой, большой человек? Увлекательный самец, что ли? Нет, нет… Серый, честный обыватель, каких миллионы… Случайно выхватил номер в лотерее: полюбила обольстительная девушка, в тысячу раз страстнее, умнее, выше меня, и так же непонятно разлюбила…»

Так, оглядываясь на себя, он думал: не в том ли причина, что он не по росту этому времени, мал, — что и воюет-то он даже по-обывательски, будто служит в конторе? Ему не раз теперь приходилось встречать людей, страшных во зле и добре, непомерной тенью шагавших по кровавым побоищам… «А ты бы, Иван Ильич, хотя бы врага во всю силу возненавидел, смерти бы как следует испугался…»

Ивана Ильича все это очень огорчало. Сам не замечая того, он становился одним из самых надежных, рассудительных и мужественных работников в полку. Ему поручали опасные опе-

рации, он выполнял их блестяще.

Разговор с Сергеем Сергеевичем заставил его сильно задуматься. Развеселый, казалось, командир тоже корчился от муки… Да еще какой… А Мишка Соломин? А Чертогонов? А тысячи других, мимо которых проходишь бездумно? Все они в рост со временем, косматые, огромные, обезображенные муками. У иных и слов нет сказать, одна винтовка в руке, у иных — дикий разгул и раскаяние… Вот она — Россия, вот она — революция…

— Товарищ ротный… Проснись…

Телегин сел на койке. В вагонное окно глядел золотистый шар солнца, вися над краем цыплячье-желтой степи. Широколицый, рыжебородый солдат, красный, как утреннее солнце, еще раз тряхнул Ивана Ильича:

— Срочно, командир требует…

В купе у Сапожкова все еще горела вонючая лампочка. Сидели — Гымза; комиссар полка Соколовский, черноволосый чахоточный человек с бессонно горящими черными глазами; двое батальонных; несколько человек ротных и представитель солдатского комитета, с независимым и даже обиженным выражением лица… Все курили. Сергей Сергеевич, уже во френче и при револьвере, держал в дрожащей руке телеграф-

ную ленту.

— «...таким образом, неожиданный захват станции противником отрезал наши части и поставил их под двойной удар, — хриповато читал Сапожков, когда Иван Ильич остановился у двери купе. — Во имя революции, во имя несчастного населения, которое ждет неминуемой смерти, казней и пыток, если мы бросим его на произвол белым бандам, — не теряйте минуты, шлите подкрепление».

— Что же мы сделаем без распоряжения главкома? — крикнул Соколовский.

— Я еще раз пойду попытаюсь соединиться с ним по Юзу...

— Иди попытайся, — зловеще сказал Гымза. (Все посмотрели на него.) — А я вот что скажу: ступай ты, возьми четырех бойцов, вот Телегина возьми, и дуйте вы в штаб на дрезине... И ты без распоряжения не возвращайся... Сапожков, пиши бумагу главкому Сорокину...

На травянистом кургане стоял всадник и внимательно, приложив ладонь к глазам, глядел на полоску железнодорожного полотна, — по нему быстро приближалось облачко пыли.

Когда облачко скрылось в выемке, всадник коснулся шенкелем и шпорой коня, худой рыжий

жеребец вздернул злую морду, повернул и сошел с кургана, где по обоим склонам перед только что набросанными кучками земли лежали добровольцы — взвод офицеров.

— Дрезина, — сказал фон Мекке, соскакивая с седла, и стеком стал похлопывать жеребца по передним коленям. — Ложись. — Норовистый конь подбирал ноги, прядал ушами, все же, переупрямленный, с глубоким вздохом опустился, касаясь мордой земли, и лег. Ребристый бок его вздулся и затих.

Фон Мекке присел на корточки наверху кургана рядом с Рощиным. Дрезина в это время выскочила из выемки, теперь можно было различить шестерых людей в шинелях.

— Так и есть, красные! — Фон Мекке повернул голову налево: — Отделение! — Повернул направо: — Готовьсь! По движущейся цели беглый огонь… Пли!

Как накрахмаленный коленкор, разорвался воздух над курганом. Сквозь облако пыли было видно, что с дрезины упал человек, перевернулся несколько раз и покатился под откос, рвя руками траву.

На уносящейся дрезине стреляли — трое из винтовок, двое из револьверов. Через минуту

они должны были скрыться во второй выемке за будкой стрелочника. Фон Мекке, свистя в воздухе хлыстом, бесновался:

— Уйдут, уйдут! Ворон вам стрелять! Стыдно!

Рощин считался хорошим стрелком. Спокойно ведя мушкой на фут впереди дрезины, он выцеливал широкоплечего, рослого, бритого, видимо — командира… «До чего похож на Телегина! — подумалось ему. — Да… это было бы ужасно…»

Рощин выстрелил. У того слетела фуражка, и в это время дрезина нырнула во вторую выемку. Фон Мекке швырнул хлыст.

— Дерьмо. Все отделение дерьмо. Не стрелки, господа офицеры, — дерьмо.

И он с выпученными глазами непроспавшегося убийцы ругался, покуда офицеры не поднялись с земли и, отряхивая коленки, не начали ворчать:

— Вы бы, ротмистр, попридержали язык, тут есть и повыше вас чином.

Вкладывая свежую пачку патронов, Рощин почувствовал, что все еще дрожат руки. Отчего бы? Неужели от одной мысли, что этот человек был так похож на Ивана Телегина? Вздор, — он же в Петрограде…

Комиссар Соколовский и Телегин с обвязанной головой поднялись на крыльцо кирпичного

двухэтажного дома — станичного управления, стоявшего, по обычаю, напротив собора на немощеной площади, где в прежнее время бывали ярмарки. Сейчас лавки стояли заколоченными, окна выбиты, заборы растащены. В соборе помещался лазарет, на церковном дворе трепалось на веревках солдатское тряпье.

В станичном управлении, где помещался штаб главкома Сорокина, в прихожей, забросанной окурками и бумажками, сбоку лестницы, ведущей наверх, сидел на венском стуле красноармеец, держа между ног винтовку. Закрыв глаза, он мурлыкал что-то степное. Это был широкоскулый парень с вихром, — знаком воинской наглости, — выпущенным из-под сдвинутой на затылок фуражки с красным околышком. Соколовский торопливо спросил:

— Нам нужно к товарищу Сорокину… Куда пройти?

Боец открыл глаза, мутноватые от сонной скуки. Нос у него был мягкий, несерьезный. Он посмотрел на Соколовского — на лицо, на одежду, на сапоги, потом так же — на Телегина. Комиссар нетерпеливо придвинулся к нему.

— Я вас спрашиваю, товарищ… Нам по чрезвычайному делу — видеть главкома.

— А с часовым не полагается разговаривать, — сказал вихрастый.

— Фу ты, черт. Это всегда в штабах такая сволочь — формалисты! — крикнул Соколовский. — Я требую, чтобы вы ответили, товарищ: дома Сорокин или нет?

— Ничего не известно…

— А где начальник штаба? В канцелярии?

— Ну, в канцелярии.

Соколовский дернул Ивана Ильича за рукав, кинулся было на лестницу. Тогда часовой сделал падающее движение, но остался сидеть на стуле, только выпростал из-за ног винтовку.

— Вы куда же идете?

— То есть как — куда? — к начштабу.

— А пропуск имеется?

У комиссара даже пена выступила на губах, когда он начал объяснять часовому, по какому делу они примчались на дрезине. Тот слушал, глядя на пулемет, стоявший перед входом, на декреты, приказы, извещения, которыми сплошь были залеплены стены в прихожей. Замотал головой.

— Надо понимать, товарищ, а еще вы сознательный, — сказал он с тоской. — Есть пропуск — иди, нет пропуска — беспощадно буду стрелять.

Приходилось подчиниться, хотя пропуска

выдавали где-то на другом краю площади и присутствие, наверное, было заперто, комендант ушел, — скажут — до завтра. Соколовский сразу даже как-то устал… В это время с площади в дверь кинулась, бухая сапогами, низенькая фигура в разодранной до пупа рубашке, крикнула:

— Митька, мыло выдают…

Часового как ветром сдунуло со стула. Он выскочил на крыльцо. Соколовский и Телегин беспрепятственно поднялись во второй этаж и, — после того как припухлоглазые хорошенькие гражданочки, в шелковых кофточках, посылали их то направо, то налево, — нашли, наконец, комнату начштаба.

Там, с ногами на ободранном диване, лежал щегольски одетый военный, рассматривая ногти. С крайней вежливостью и вдумчиво-пролетарским обхождением, через каждое слово поминая «товарищ» (причем «товарищ» звучало у него совсем как «граф Соколовский», «князь Телегин»), он расспросил о сути дела, извинился и вышел, поскрипывая желтыми, до колена шнурованными башмаками. За стеной начался шепот, хлопнула вдалеке дверь, и все затихло.

Соколовский горящими глазами глядел на Телегина:

— Ты понимаешь что-нибудь? Куда мы приехали? Ведь это что же, — белый штаб?

Он поднял худые плечи — и так и остался натопорщенным от крайнего изумления. Опять за стеной зашептали. Дверь широко распахнулась, и вошел начальник штаба, средних лет, плотный, с большим лысым лбом, нахмуренный человек, в грубой солдатской рубашке, подпоясанный по большому животу кавказским ремешком. Он пристально, бегло взглянул на Телегина, кивнул Соколовскому и сел за стол, привычным движением положив перед собой волосатые руки. Лоб его был влажен, как у человека, который только что хорошо поел и выпил. Почувствовав, что его рассматривают, он жестче нахмурил одутловатое красивое лицо.

— Дежурный мне передал, что вы, товарищи, прибыли по срочному делу, — сказал он важно и холодно. — Меня удивило, почему командир полка или вы, товарищ комиссар, не воспользовались прямым проводом…

— Я три раза пытался соединиться. — Соколовский вскочил и вытащил из кармана телеграфную ленту, протянул ее начштабу. — Как мы можем спокойно ждать, когда погибают товарищи… От штаба армии распоряжений нет… Нас умоляют о

помощи… Полк «Пролетарской свободы» гибнет, при нем обоз в две тысячи беженцев…

Начштаба мельком взглянул на ленту и бросил ее, — она запуталась о массивную чернильницу.

— О том, что сейчас идут бои в расположении полка «Пролетарской свободы», нам, товарищи, известно… Хвалю ваше усердие, ваш революционный пыл. (Он как бы подыскивал слова.) Но впредь я просил бы не развивать паники… Тем более что операции противника носят случайный характер… Словом, все меры приняты, вы можете спокойно вернуться к вашим обязанностям.

Он поднял голову. Взгляд был строг и ясен. Телегин, понимая, что разговор окончен, поднялся. Соколовский сидел, точно его пришибли.

— Я не могу вернуться в полк с таким ответом, — проговорил он. — Сегодня же бойцы сбегутся на митинг, сегодня же полк самовольно выступит на помощь «пролетарцам»… Предупреждаю, товарищ, что на митинге я буду говорить за выступление…

Начштаба начал багроветь, — голый огромный лоб его заблестел. Шумно откинув кресло, он встал в наполовину свалившихся солдатских штанах, засунул руки за пояс:

— И вы ответите перед ревтрибуналом армии,

товарищ! Не забывайте, у нас не семнадцатый год!

— Не запугаете, товарищ!

— Молчать!

В это время дверь быстро распахнулась, и вошел высокий, необыкновенно стройный человек в синей черкеске тонкого сукна. Мрачное красивое лицо его, с темными волосами, падающими на лоб, с висячими усами, было нежно-розового цвета, какой бывает у запойно пьющих и у жестоких людей. Губы его были влажны и красны, черные глаза расширены. Размахивая левым рукавом черкески, он вплоть подошел к Соколовскому и Телегину, взглянув им в глаза диким взглядом. Повернулся к начштабу. Ноздри его гневно вздрогнули.

— Опять старорежимные ухватки! Это что такое за «молчать»? Если они виноваты, они будут расстреляны… Но — без генеральского издевательства…

Начштаба выслушал замечание молча, опустив голову. Возражать не приходилось — это был сам главком Сорокин.

— Садитесь, товарищи, я слушаю вас, — проговорил Сорокин спокойно и присел на подоконник.

Соколовский снова принялся объяснять цель поездки: добиться разрешения Варнавскому полку немедленно выступить на помощь соседним с ним «пролетарцам»; кроме революционного долга, это продиктовано также простым расчетом: если «пролетарцы» будут разбиты — Варнавский полк окажется отрезанным от базы.

Сорокин только секунду сидел на подоконнике. Он принялся бегать от двери к двери, задавая короткие вопросы. Ладная шапка волос его разлеталась, когда он стремительно поворачивался. Солдаты любили его за пылкость и храбрость. Он умел говорить на митингах. И то и другое в те времена часто заменяло военную науку. Он был из казачьих офицеров, в чине подъесаула, воевал в армии Юденича в Закавказье. После октябрьского переворота вернулся на Кубань и у себя, в станице Петропавловской, организовал из станичников партизанский отряд, с которым удачно дрался при осаде Екатеринодара. Звезда его быстро всходила. Слава туманила голову. Силы плескались через край, — хватало времени и воевать, и гулять. К тому же начштаба с особенной заботой окружал его хорошенькими женщинами и всей подходящей обстановкой для разгула души.

— Что вам ответили в моем штабе? — спросил он, когда Соколовский окончил и судорожно вытирал лоб грязным комочком платка.

Начштаба сказал поспешно:

— Я ответил, что нами приняты все меры к спасению полка «Пролетарской свободы». Я ответил, что штаб Варнавского полка вмешивается в распоряжения штаба армии, что совершенно недопустимо, и кроме того — создается паника, которой нет основания.

— Э, вы, товарищ, не так подходите к этому делу, — неожиданно примиряюще проговорил Сорокин. — Дисциплина — конечно… Но есть вещи в тысячу раз важнее вашей дисциплины… Воля масс! Революционный порыв нужно поощрять, хотя бы это шло вразрез с вашей наукой… Пусть операция Варнавского полка будет бесполезна, пусть вредна, черт возьми! У нас революция… Запретите им сейчас, они кинутся на митинг, — я знаю этих горлопанов, опять будут кричать, что я пропиваю армию…

Он отбежал к печке и уже бешено взглянул на Соколовского:

— Подайте рапорт!

Телегин сейчас же вынул бумагу и положил на стол. Главком схватил ее, пробежал бегаю-

щими зрачками и, брызгая пером, начал писать: «Приказываю Варнавскому полку немедленно выступить в походном порядке и выполнить свой революционный долг».

Начштаба глядел на него с усмешкой, когда же главком протянул ему бумагу, он отступил, заложив руки за спину:

— Пусть меня предадут суду, но этого приказа я не скреплю…

В ту же минуту Иван Ильич бросился и схватил Сорокина за руку у кисти, не давая ему поднять револьвер. Соколовский заслонил собою начштаба. Все четверо тяжело дышали. Сорокин вырвался, сунул револьвер в карман и вышел, бухнув дверью так, что полетела штукатурка…

Хлопнули двери, затихли бешеные шаги главкома.

Начштаба проговорил примиряюще басовито:

— Могу вас уверить, товарищи: если бы я подписал приказ, несчастье могло бы принять крупные размеры.

— Какое несчастье? — кашлянув, хриповато спросил Соколовский. Начштаба странно взглянул на него.

— Вы не догадываетесь, о чем я говорю?

— Нет. — У Соколовского задрожали углы глаз.

— Я говорю о своей армии…

— Что такое?

— Я не имею права раскрывать военные тайны перед комиссаром полка. Не так ли, товарищ? За это вы первый должны меня расстрелять… Но мы зашли слишком далеко. Хорошо… Берите все на свою ответственность…

Он подошел к карте, утыканной флажками. Соколовский и Телегин, придвинувшись, стали за его спиной. Видимо, близость горячего дыхания двух ртов была несколько неприятна начштабу, — лопатки его под рубашкой задвигались… Но он спокойно вытащил грязную зубочистку, и изгрызенный кончик ее скользнул по карте от трехцветных флажков в южном направлении в густое расположение красных.

— Вот где белые, — сказал начштаба.

— Где, где? — Соколовский вплоть придвинулся к карте, бродя по ней ослепшими глазами. — Но это же Торговая…

— Да, это Торговая. С ее падением для белых путь наполовину расчищен.

— Не понимаю… Мы считали, что белые севернее по крайней мере верст на…

— То мы считали, товарищ комиссар, а не белые. Торговая в настоящий момент находится под

концентрическим ударом. У белых аэропланы и танки. Это не прежняя корниловская банда… Они действуют по внутренним линиям, наносят удары, где хотят. Инициатива в их руках.

— Севернее Торговой — Стальная дивизия Дмитрия Жлобы, — сказал Телегин…

— Разбита…

— А кавбригада?..

— Разбита…

Соколовский дернул шеей, придвинулся к карте.

— Вы очень выдержанный человек, товарищ, — проговорил он. — Вы как будто уже примирились с падением Торговой… Тот разбит, и этот разбит. — Он повернулся к начштабу: — А наша армия?

— Мы ждем распоряжения главковерха. У товарища Калнина свои расчеты. Штаб главкома не может, стуча кулаками, требовать у ставки главковерха наступления, — как вы думаете? Война не митинг.

Начштаба тонко улыбнулся. Соколовский, не дыша, глядел в его толстое спокойное лицо. Начштаба выдержал взгляд.

— Вот какие дела, товарищи, — сказал он, возвращаясь к столу. — Вот почему я не имею

права снять ни одной части с фронта, хотя бы это казалось совершенно разумным и необходимым… Наше положение весьма нелегкое. Итак, возвращайтесь немедленно в свою часть. Все, что я вам сказал, пока не подлежит оглашению. Нужно сохранить полное спокойствие в армии. Что касается полка «Пролетарской свободы», — за участь его можете не тревожиться, я получил успокоительные сведения…

Брови начштаба сдвинулись над крючковатым носом. Кивком головы он отпустил посетителей. Соколовский и Телегин вышли из кабинета. В соседней комнате дежурный чистил ногти, стоя у окна. Он вежливо поклонился уходящим.

— Сволочь, — прошептал Соколовский.

Когда вышли на улицу, он схватил Телегина за рукав:

— Ну? Что ты скажешь?

— Формально он прав. А по существу — саботаж, конечно.

— Саботаж? Ну, нет… Тут игра покрупнее… Я вернусь, застрелю его…

— Брось, Соколовский, не глупи…

— Измена, я тебе говорю — здесь измена, — бормотал Соколовский. — Гымзе каждый день доносят, — в штабе пьянство. Сорокин разогнал

комиссаров. А поди, подступись. Сорокин — царь и бог в армии, черт его знает, любят за храбрость, — свой человек. А начштаба, ты знаешь, кто такой? Беляков, царский полковник… Понял — какой узел? Ну, едем… Проскочим, как ты думаешь?

Начштаба тронул колокольчик, — в дверях отчетливо появился дежурный.

— Узнайте, в каком состоянии главком, — сказал Беляков, сурово глядя в бумаги.

— Товарищ Сорокин в столовой. Состояние в полградуса.

Дежурный ждал, покуда начштаба не усмехнется нехотя, тогда многозначительно улыбнулся и он:

— С ним — Зинка.

— Хорошо. Ступайте.

Беляков прошел в отделение службы связи. Просмотрел телефонограммы. Подписал четко мелким почерком несколько бумаг и в коридоре у крайней двери задержался на секунду. За дверью слышался тихий звон гитарных струн. Начштаба вынул платок, отер крепкую красную шею, постучал и, не дожидаясь ответа, вошел.

Посреди комнаты у стола, покрытого развернутыми газетами и уставленного грязной посудой

и рюмками, сидел Сорокин, отмахнув широкие рукава черкески. Красивое лицо его было все так же мрачно. Прядь темных волос падала на мокрый лоб. Расширенными зрачками он уставился на Белякова. Сбоку у него на табуретке сидела Зинка, положив ногу на ногу, так что видны были подвязки и кружева, и перебирала струны гитары. Это была молоденькая женщина с яркой окраской синих глаз и влажных губ, с тоненьким и решительным носиком, со спутанными, высоко поднятыми русыми волосами, и только больные складочки у рта, правда — едва приметные, придавали ее нежному лицу выражение зверька, умеющего кусаться. По документам она была откуда-то из Омска, дочь железнодорожного рабочего, чему, конечно, никто не верил, не верили и в то, что ей 18 лет, ни в ее фамилию — Канавина, ни в имя — Зинаида. Но она отлично писала на пишмашине, пила водку, играла на гитаре и пела увлекательные романсы. Сорокин обещался собственноручно застрелить ее при первой попытке разводить в штабе белогвардейскую гниль и плесень. На том и успокоились.

— Хорош, нечего сказать, — проговорил Беляков, качая головой и на всякий случай держась около двери. — В какое ты меня ставишь по-

ложение? Являются два явных цекиста, грозят митингами, и ты немедленно перекидываешься на их сторону… Чего проще, иди к аппарату, телеграфируй в Екатеринодар, — немедленно тебе пришлют еврейчика, он тебе сформирует штаб, он с тобой в постели будет спать, ходить с тобой в сортир, все мысли твои возьмет под учет. Действительно ужас! У главкома Сорокина уклон к диктатуре! Ну и ступай под контроль… А меня уволь… Расстрелять меня ты можешь… Но в присутствии подчиненных грозить револьвером я не позволю… Какая же после этого дисциплина!.. Черт тебя возьми, в самом деле.

Продолжая глядеть на начштаба, Сорокин протянул руку, большую и сильную, и, промахнувшись, сжал воздух вместо горлышка бутылки. Короткая судорога свела его рот, усы взъерошились. Он все же взял бутылку и налил две стопки:

— Садись пей.

Беляков покосился на кружево Зинкиных панталон, подошел к столу. Сорокин сказал:

— Не будь ты умен — быть бы тебе в расходе… Дисциплина… Моя дисциплина — бой. Ну-ка, поди кто из вас, — подними массы… А я поведу, и дай срок, — никто не может, один я раздавлю

белогвардейскую сволочь… Мир содрогнется…

Ноздри его захватили воздух, багровые жилы запульсировали на висках.

— Без цекистов и Кубань вычищу, и Дон, и Терек… Мастера они петь в Екатеринодаре, комитетчики… Сволочи, трусы… Ну, так что же, — я на коне, в бою, я — диктатор… Я веду армию!

Он протянул руку к стакану со спиртом, но Беляков быстро опрокинул его стакан:

— Довольно пить…

— Ага. Приказываешь?

— Прошу, как друга…

Сорокин откинулся на стуле, несколько раз коротко вздохнул, начал оглядываться, покуда зрачки его не уставились на Зинку. Она провела ноготком по струнам.

— «Дышала ночь…» — запела она, лениво подняв брови.

Сорокин слушал, и жилы сильнее пульсировали на висках. Поднялся, запрокинул Зинкину голову и жадно стал целовать в рот. Она перебирала струны, затем гитара соскользнула с ее колен.

— Вот это другое дело, — добродушно сказал Беляков. — Эх, Сорокин, люблю я тебя, сам не знаю за что — люблю.

Зинка наконец освободилась и, вся красная, низко нагнулась, поднимая гитару. Яркие глаза ее блеснули из-под спутанных волос. Кончиком языка облизнула припухшие губы:

— Фу, больно сделал…

— А знаете что, друзья? У меня припасена заветная бутылочка…

Беляков оборвал, подавившись словом. Рука с растопыренными пальцами повисла в воздухе. За окном хлопнул выстрел, загудели голоса. Зинка, с гитарой, точно на нее дунули, вылетела из комнаты. Сорокин нахмурился, пошел к окну…

— Не ходи, я раньше узнаю, в чем дело, — торопливо проговорил начштаба.

Скандалы и стрельба в расположении ставки главкома были обычным явлением. В состав сорокинской армии входили две основные группы: кубанская — казачья, ядро которой было сформировано Сорокиным еще в прошлом году, и другая — украинская, собранная из остатков отступивших под давлением немцев украинских красных армий… Между кубанцами и украинцами шла затяжная вражда. Украинцы плохо держали фронт на чужой им земле и мало стеснялись насчет фуража и продовольствия, когда случалось проходить через станицы.

Драки и скандалы происходили ежедневно. Но то, что началось сегодня, оказалось более серьезным. С криками мчались конные казаки. От заборов и садов перебегали испуганные кучки красноармейцев. В направлении вокзала слышалась отчаянная стрельба. На площади перед окнами штаба дико кричал, ползая по пыли и крутясь, раненый казак.

В штабе начался переполох. Еще с утра сегодня телеграфная линия не отвечала, а сейчас оттуда посыпался ворох сумасшедших донесений. Можно было разобрать только, что белые, быстро двигаясь в направлении Сосыка — Уманская, гонят перед собой спасающиеся в панике эшелоны красных.

Передние из них, докатившись до ставки, начали грабеж на станции и в станице. Кубанцы открыли стрельбу. Завязался бой.

Сорокин вылетел за ворота на рыжей, рослой, злой кобыле. За ним — полсотни конвоя в черкесках, с вьющимися за спиной башлыками, с кривыми саблями. Сорокин сидел как влитый в седле. Шапки на нем не было, чтобы его сразу узнали в лицо. Красивая голова откинута, ветер рвал волосы, рукава и полы черкески. Он был все еще пьян, решителен, бледен. Глаза глядели

пронзительно, взор их был страшен. Пыль тучей поднималась за скачущими конями.

Близ вокзала из-за живой изгороди раздались выстрелы. Несколько конвойцев громко вскрикнули, один покатился с коня, но Сорокин даже не обернулся. Он глядел туда, где между товарными составами кричала, кишела и перебегала серая масса бойцов.

Его узнали издали. Многие полезли на крыши вагонов. В толпе махали винтовками, орали. Сорокин, не уменьшая хода, перемахнул через забор вокзального садика и вылетел на пути, в самую гущу бойцов. Коня его схватили под уздцы. Он поднял над головой руки и крикнул:

— Товарищи, соратники, бойцы! Что случилось? Что за стрельба? Почему паника? Кто вам головы крутит? Какая сволочь?

— Нас предали! — провыл панический голос.

— Командиры нас продали! Сняли фронт! — закричали голоса… И вся многотысячная толпа на путях, на поле, в вагонах заревела:

— Продали нас… Армия вся разбита… Долой командующего! Бей командующего!

Раздался свист, вой, точно налетел дьявольский ветер. Завизжали, поднимаясь на дыбы, лошади конвойных. К Сорокину уже протискивались

искаженные лица, черные руки. И он закричал так, что сильная шея его раздулась:

— Молчать! Вы не революционная армия… Стадо бандитов и сволочей… Выдать мне шкурников и паникеров… Выдать мне белогвардейских провокаторов!

Он вдруг толкнул кобылу, и она, махнув передом, врезалась глубже в толпу. Сорокин, перегнувшись с седла, указал пальцем:

— Вот он!

Невольно толпа повернулась к тому, на кого он указал. Это был высокий, с большим носом, худой человек. Он побледнел, растопырил локти, пятясь. Знал ли его действительно Сорокин или жертвовал им как первым попавшимся, спасая положение, — неизвестно… Толпе нужна была кровь. Сорокин выхватил кривую шашку и, наотмашь свистнув ею, ударил высокого человека по длинной шее. Кровь сильной струей брызнула в морду лошади.

— Так революционная армия расправляется с врагами народа.

Сорокин опять толкнул кобылу и, помахивая окровавленной шашкой, страшный и бледный, вертелся в толпе, ругаясь, грозя, успокаивая:

— Никакого разгрома нет… Разведчики и белые

агенты нарочно раздувают панику… Это они толкают вас на грабеж, срывают дисциплину… Кто сказал, что нас разбили? Кто видел, как нас били? Ты, что ли, мерзавец, видел? Товарищи, я водил вас в бой, вы меня знаете… У меня самого двадцать шесть ран! Требую немедленно прекратить грабеж! Все по эшелонам! Сегодня я поведу вас в наступление… А трусов и шкурников ждет расправа народного гнева…

Толпа слушала. Дивились, лезли на плечи, чтобы взглянуть на своего главкома. Еще рычали голоса, но уже сердца разгорались. То тут, то там слышалось: «А что ж, он правду говорит… И пусть ведет. И пойдем…» Появились попрятавшиеся было ротные командиры, и понемногу части стали отходить к своим эшелонам. Черкеска на груди Сорокина была разорвана, он отдирал ее, показывал старые раны… Лицо его было исступленно бледно… Паника утихла, навстречу подходившим эшелонам были выдвинуты пулеметные заставы. По всей линии летели телеграммы самого решительного содержания.

Все же нельзя было избежать отступления армии. Только через несколько дней, в районе станции Тимашевской, удалось привести войска в порядок и начать встречное наступление. Крас-

ные двинулись двумя колоннами на Выселки в Кореневку. Где только колебался бой, всюду красноармейцы видели мчавшегося Сорокина на рыжем коне. Казалось, одной своей страстной волей он поворачивал судьбу войны, спасая Черноморье. ЦИКу Северокавказской республики оставалось только официально признать за ним главенство в военных операциях.

6

В те же дни конца мая, когда деникинская армия выступила во «второй кубанский поход», — над Российской Советской Республикой собралась новая гроза. Три чешские дивизии, продвигаясь с украинского фронта на восток, взбунтовались почти одновременно во всех эшелонах от Пензы до Омска.

Этот бунт был первым заранее подготовленным ударом интервенции по Советскому Союзу. Чешские дивизии, начавшие формироваться еще с четырнадцатого года из живших в России чехов, затем из военнопленных, — оказались после Октября чужеродным телом внутри страны и вооруженно вмешались во внутренние дела.

Склонить их на вооруженное выступление против русской революции было делом не простым. У чехов еще жило отношение к России как будущей освободительнице чешского народа от австрийской имперской власти. Чешские крестьяне, откармливая гусей к рождеству, по старой традиции говорили: «Еднего гуса для руса». Чешские дивизии, уходя с боями от наступающих

на Украину немцев, готовились к переброске во Францию, чтобы на фронте демонстрировать перед всем миром за свободу Чехии, за участие ее в победе над австро-германцами.

Навстречу чешским эшелонам, направлявшимся во Владивосток, двигались военнопленные немцы и особенно ненавистные венгры. На остановках, где сталкивались два встречных потока, бушевали страсти. Белогвардейские агенты нашептывали чехам о коварных замыслах большевиков, о их намерении будто бы разоружить и выдать немцам чешские эшелоны.

Четырнадцатого мая на станции Челябинск произошла серьезная драка между чехами и венграми. Челябинский совдеп арестовал несколько особенно задиравшихся чехов. Весь эшелон схватился за оружие. У совдепа, как и повсюду по линии, были одни лишь кое-как вооруженные красноармейцы, — пришлось уступить. Весть о челябинском инциденте полетела по всем эшелонам. И взрыв произошел, когда в ответ на эти события был издан предательский и провокационный приказ председателя Высшего военного совета республики:

«Все совдепы обязаны под страхом ответственности разоружить чехословаков: каждый

чехословак, найденный вооруженным на железнодорожной линии, должен быть расстрелян на месте, каждый эшелон, в котором окажется хотя бы один вооруженный солдат, должен быть выгружен из вагонов и заключен в лагерь для военнопленных».

Так как у чехов была превосходная дисциплина, спаянность и боевой опыт, в изобилии пулеметы и пушки, а у совдепов плохо вооруженные отряды Красной гвардии, без опытного командования, — то не совдепы, а чехи разоружили совдепы и стали хозяевами по всей линии от Пензы до Омска.

Бунт начался в Пензе, где совдеп выслал навстречу четырнадцати тысячам чехов пятьсот красногвардейцев. Они повели наступление на железнодорожную станцию и были почти все перебиты. Чехи вывезли из Пензы печатный станок Экспедиции заготовления государственных бумаг, в большом бою разбили красных под Безенчуком и Липягами и заняли Самару.

Так образовался новый фронт гражданской войны, быстро охвативший огромное пространство Волги, Урала и Сибири.

Доктор Дмитрий Степанович Булавин лежал животом в раскрытом окне и слушал глухие

раскаты артиллерийской стрельбы. Улица была пуста. Белое солнце нестерпимо жгло стены невысоких домов, пыльные окна пустых магазинов, ненужные вывески и асфальтовую улицу, покрытую известковой пылью.

Направо, куда глядел доктор, на площади торчал деревянный, с выцветшими лохмотьями, обелиск, прикрывавший памятник Александру Второму; сбоку стояла пушка; кучка обывателей ворочала булыжники, что-то копала, явно бессмысленное. Тут были и протоиерей Словохотов, и краса и гордость самарской интеллигенции нотариус Мишин, и владелец гастрономического магазина Романов, и бывший член земской управы Страмбов, и когда-то большой барин, седой красавец, помещик Куроедов. Все — клиенты Дмитрия Степановича, партнеры в винт… Красноармеец, поставив винтовку между ног, курил, сидя на тумбе.

Пушки за рекой Самаркой ухали. Тихо позванивали оконные стекла. От этих звуков доктор ехидно кривил рот, фыркал ноздрей в седые усы. Пульс у него был — сто пять. Значит, жила еще в нем старая общественная закваска. Но большим проявлять свои чувства было пока опасно. Как раз напротив, на той стороне улицы, на досках,

прикрывавших забитое зеркальное окно ювелирного магазина Ледера, бельмом белел приказ ревкома, грозивший расстрелом контрреволюционным элементам.

На пустынной улице показалась странная фигура испуганного человека, в шляпе «здравствуйте-прощайте» из кокосовой мочалки и в чесучовом пиджаке довоенной постройки. Человек крался вдоль стены и, поминутно озираясь, подпрыгивал, как будто над ухом его стреляли. Мочального цвета волосы его висели до плеч, рыжеватая борода казалась приклеенной к очень бледному длинному лицу.

Это был Говядин, земский статистик, некогда безуспешно пытавшийся пробудить в Даше «красивого зверя». Он шел к Дмитрию Степановичу, и дело, видимо, было настолько серьезно, что он пересиливал страх пустой улицы и уханье орудийных взрывов.

Увидев доктора в окошке, Говядин отчаянно взмахнул рукой, что должно было означать: «Ради бога, не глядите, за мной следят». Оглядываясь, прижался к стене под объявлением ревкома, затем кинулся через улицу и скрылся под воротами. Через минуту он постучал в докторскую квартиру с черного хода.

— Ради бога, закройте окно, за нами следят, — громко прошептал Говядин, входя в столовую. — Спустите шторы… Нет, лучше не спускайте… Дмитрий Степанович, я послан к вам…

— Чем могу служить? — насмешливо спросил доктор, присаживаясь за стол, покрытый прожженной и грязной клеенкой. — Садитесь, рассказывайте…

Говядин схватил стул, кинулся на него, поджав под себя ногу, и, брызгаясь, громко зашептал в самое ухо доктору:

— Дмитрий Степанович… Только что на конспиративном заседании комитета Учредительного собрания проголосовано предложить вам портфель товарища министра здравоохранения.

— Министра? — переспросил доктор, опуская углы рта, так что весь подбородок собрался складками. — Так, так. А какой республики?

— Не республики, а правительства… Мы берем в свои руки инициативу борьбы… Мы создаем фронт… Мы получаем машину для печатания денег…С чехословацким корпусом во главе двигаемся на Москву… Созываем Учредительное собрание… И это — мы, понимаете — мы… Сегодня была горячая стычка. Эсеры и меньшевики требовали все портфели. Но мы, земцы, отстоя-

ли вас, провели ваш портфель… Я горжусь. Вы согласны?

В это как раз время так страшно ухнуло за речкой Самаркой, — на столе зазвенели стаканы, — что Говядин вскочил, схватившись за сердце:

— Это чехи…

Громыхнуло опять, и, казалось, совсем рядом застучал пулемет. Говядин, совсем белый, снова сел, подвернув ногу.

— А это красная сволочь. У них пулеметы на элеваторе… Но сомневаться нельзя, — чехи берут город… Они возьмут город…

— Пожалуй, я согласен, — пробасил Дмитрий Степанович. — Хотите чаю, только холодный?

Отказавшись от чаю, в забытьи, Говядин шептал:

— Во главе правительства стоят патриоты, — честнейшие люди, благороднейшие личности… Вольский, вы его знаете, — присяжный поверенный из Твери, прекраснейший человек… Штабс-капитан Фортунатов… Климушкин — это наш, самарский, тоже благороднейший человек… Все эсеры, непримиримейшие борцы… Ожидают даже самого Чернова, — но это величайшая тайна… Он борется с большевиками на севере…

Офицерские круги в теснейшем блоке с нами… От военных выдвигается полковник Галкин… Говорят, что это новый Дантон… Словом, все готово. Ждем только штурма… По всем данным, чехи назначили штурм на сегодня в ночь… Я — от милиции. Это ужасно опасно и хлопотливо… Но надо же воевать, надо жертвовать собой…

За окном раздались громкие и нестройные звуки военных труб — «Интернационал». Говядин согнулся, лег головой на живот Дмитрию Степановичу; соломенные волосы его казались неживыми, как у куклы.

Солнце закатилось за грозовую тучу. Ночь не принесла прохлады. Звезды затянуло мглой. Орудийные удары за рекой стали чаще и громче. От разрывов дрожали дома. Шестидюймовая батарея большевиков, стоящая за элеватором, отвечала в тьму. Стучали пулеметы на крышах. За Самаркой, в слободе, куда вел деревянный мост, слабо хлопали выстрелы красноармейских сторожевых охранений.

Туча наползала, ворча громовыми раскатами. Наступала непроглядная темень. Ни одного огонька не виднелось ни в городе, ни на реке. Только мигали зарницами орудия.

В городе никто не спал. Где-то в таинственном

подполье непрерывно заседал комитет Учредительного собрания. Добровольцы из офицерских организаций нервничали по квартирам, одетые и вооруженные. Обыватели стояли у окон, вглядываясь в ночную жуть. По улицам перекликались патрули. В промежутки тишины слышались уныло-дикие свистки паровозов, угонявших составы на восток.

Глядевшие в окна видели извилистую молнию, перебежавшую от края неба до края. Мрачно осветились мутные воды Волги. Проступили очертания барж и пароходов у пристаней. Высоко над рекой, над железом крыш появились — громада элеватора, острый шпиль лютеранской кирки, белая колокольня женского монастыря, по преданию построенная на деньги бродячей монашки Сусанны. Погасло. Тьма…

Раскололось небо. Налетел ветер. Страшно завыло в печных трубах. Чехи шли на приступ.

Чехи наступали редкими цепями со стороны станции Кряж — на железнодорожный мост и мимо салотопенных заводов — на заречную слободу. Пересеченная местность, дамба, заросли тальника задерживали продвижение.

Ключом к городу были оба моста — деревянный и железнодорожный. Артиллерия большевиков,

на площади за элеватором, обстреливала подступы. Ее тяжкие удары и вспышки поддерживали мужество в красных частях, не уверенных в опытности комсостава.

В конце ночи чехи пошли на хитрость. Близ элеватора в бараках жили остатки польских беженцев с женами и детьми. Чехам это было известно. Когда их снаряды стали рваться над элеватором, — поляки высыпали из бараков и заметались в поисках убежища. Артиллеристы гнали их от пушек матюгом и банниками. Когда шестидюймовки грохали — оглушенные и ослепленные беженцы кидались прочь… Но вот от амбаров побежала новая толпа женщин. Они кричали:

— Не стреляйте, проше пане, не стреляйте, умоляем, не губите несчастных.

Со всех сторон они окружили орудия.

Странные польские женщины хватались за банник, за колеса пушек, плотно брали под руки, тяжело висели на одуревших от грохота артиллеристах, вцеплялись им в бороды, валили на мостовую… Под кофтами у баб были мундиры, под юбками — галифе…

— Ребята, это чехи! — закричал кто-то, и голову ему разнес револьверный выстрел… Одни

боролись, другие кинулись бежать... А чехи уже снимали замки с орудий и отступали, отстреливаясь. И затем, как сквозь землю, ушли в щели между амбарами.

Батарея была выведена из строя. Пулеметы сбиты. Чехи продолжали наступать, охватывая Засамарскую слободу до самой Волги.

Наутро ушли тучи. Сухое солнце ударило в непромытые окна квартиры Дмитрия Степановича. Доктор сидел у стола, тщательно одетый. Глаза его провалились, — он не ложился спать. Полоскательница, поднос и блюдечки были наполнены окурками. Иногда он вынимал сломанный гребешок и причесывал на лоб седые кудри. Каждую минуту он мог ожидать, что его позовут к исполнению министерских обязанностей. Оказалось, что он был дьявольски честолюбив.

Мимо его окон по Дворянской улице тянулись раненые. Они шли как по вымершему городу. Иные садились на тротуар у стен, кое-как перевязанные окровавленными тряпками. Глядели на пустые окна, — но не у кого было попросить воды и хлеба.

Солнце разжигало улицу, не освеженную ночной грозой. За рекой бухало, ахало, стукало. Промчался автомобиль, наполнив Дворянскую

облаками известковой пыли, мелькнуло перекошенное лицо военного комиссара с черным ртом. Автомобиль ушел вниз через деревянный мост и, как рассказывали потом, был разорван вместе с седоками артиллерийским снарядом. Время останавливалось, — бой казался нескончаемым. Город не дышал. Женщины общества, уже одетые в белые платья, лежали, закрыв головы подушками. Комитет Учредительного собрания кушал утренний чай, сервированный владелицей мукомольной мельницы. В подполье лица министров казались трупными. А за рекой бухало, стукало, ахало…

В полдень Дмитрий Степанович подошел к окну и, засопев, раскрыл его, не в силах дольше сидеть в сизом дыму табака. На улице уже не было ни одного раненого. Многие из окон приоткрывались, — там косил глаз из-за шторы, там металось взволнованное лицо. Из подъездов выглядывали головы, прятались. Как будто было похоже, что нет больше большевиков… Но частая стрельба за речкой?.. Ах, как было томительно!..

Вдруг — чудо — из-за угла появился, постоял с секунду и пошел посреди улицы длинноногий офицер в белом, как снег, кителе с высокой талией. По голенищу его била шашка. На плечах

горели полдневным солнцем, старорежимным счастьем золотые погоны…

Что-то забытое шевельнулось в сердце Дмитрия Степановича, как будто он что-то вспомнил, на что-то вознегодовал. С непонятной живостью он высунулся в окно и крикнул офицеру:

— Да здравствует Учредительное собрание!

Корнет сейчас же подмигнул толстому лицу доктора и ответил загадочно:

— Там увидим…

А изо всех окон высовывались, звали, спрашивали:

— Господин офицер… Ну, что? Мы взяты? Большевики ушли?

Дмитрий Степанович надел белый картуз, взял трость и, оглянув себя в зеркало, вышел. На улицу валил народ, как из церкви. И впрямь — где-то малиново зазвонили колокола. Радостно шумящая толпа сбивалась на перекрестке. Дмитрия Степановича схватила за рукав пациентка, дама с тройным подбородком, искусственные цветы на ее громоздкой шляпе пахли нафталином.

— Доктор, глядите же — чехи!

На скрещении улиц, окруженные женщинами, стояли с винтовками наперевес два чеха: один сизо-бритый, другой с черными усищами. Напря-

женно улыбаясь, они быстро оглядывали крыши, окна, лица.

Их щегольские шапочки, френчи с кожаными пуговицами и нашитым на левом рукаве отличительным щитком, крепкие сумки и патронташи, их решительные лица — все вызывало восторг, почтительное удивление. Эти двое будто свалились на Дворянскую улицу из другого мира.

— Ура! — закричали в толпе несколько чиновников. — Да здравствуют чехи! Качать их! Берись!

Дмитрий Степанович, протиснувшись и сопя, хотел произнести достойное приветствие, но от волнения у него пересохло горло, и он поспешил на конспиративную квартиру, где его ожидали высокие обязанности.

В подполье у мукомольши было пусто, — только табачный перегар, ощетиненные окурками пепельницы, и в конце стола спал блондин, уткнувшись в изрисованные носатыми рожами бумажки. Дмитрий Степанович тронул его за плечо. Блондин глубоко вздохнул, поднял бородатое лицо с блуждающими спросонья светло-голубыми глазами:

— В чем дело?

— Где правительство? — строго спросил Дмит-

рий Степанович. — С вами говорит товарищ министра здравоохранения.

— А, доктор Булавин, — сказал блондин. — Фу, черт, а я того-с… Ну, как в городе?

— Не все еще ликвидировано. Но это конец. На Дворянской — чешские патрули.

Блондин раскрыл зубастый рот и захохотал:

— Здорово! Ах, черт, ловко! Значит, правительство соберется здесь ровно в три. Если все будет благополучно — к вечеру переберемся в лучшее помещение…

— Простите… — У Дмитрия Степановича мелькнула жуткая догадка. — Я говорю с членом ЦК партии?! Вы не Авксентьев?

Блондин ответил неопределенным жестом, как бы говорящим: «Что ж тут поделаешь…» Зазвонил телефон. Он схватил со стола трубку.

— Идите, доктор, ваше место сейчас на улице… Помните, мы не должны допустить эксцессов… Вы представитель буржуазной интеллигенции, — умерьте их пыл… А то, знаете, — он подмигнул, — будет неудобно в дальнейшем…

Доктор вышел. Весь город теперь вывалил на улицы. Здоровались, как на пасху. Поздравляли. Сообщали новости…

— Большевики тысячами кидаются в Самарку…

Дуют вплавь на эту сторону…

— Ну и бьют же их…

— А потонуло сколько… Гибель…

— Совершенно верно, — ниже города вся Волга в трупах…

— И — слава создателю, я скажу… За грех это не считаю…

— Верно, собакам собачья смерть…

— Господа, слышали? Пономаря с колокольни скинули…

— Кто? Большевики?

— Чтобы не звонил… Называется — хлопнули дверью… Я еще понимаю — кого-нибудь, но пономаря-то за что?

— Куда вы, куда, папаша?

— Вниз. Хочу амбар посмотреть. Цело ли…

— С ума сошли. На пристанях еще большевики.

— Дмитрий Степанович, дождались денечка!.. Вы куда такой озабоченный?

— Да вот — избрали товарищем министра…

— Поздравляю, ваше превосходительство…

— Ну, пока еще не с чем… Пока еще Москвы не взяли…

— Э, доктор, нам бы подышать свежим воздухом, и на том спасибо…

В толпе воинственно проплывали золотые погоны. Это был символ всего старого, уютного, охраняемого. Решительным шагом прошел отряд офицеров, сопровождаемый кривляющимися мальчишками. Смеялись нарядные женщины. Толпа сворачивала с Садовой на Дворянскую мимо нелепо роскошного, выложенного зелеными изразцами, особняка Курлиной. Какой-то малый кинулся в толпу…

— Что такое? Что случилось?

— Господин офицер, в этом дворе большевики, двое за дровами…

— Ага… Господа, господа, проходите…

— Куда это офицеры побежали?

— Господа, господа, никакой паники…

— Чекистов нашли!

— Дмитрий Степанович, отойдем все-таки, а то как бы…

Раздались выстрелы. Толпа шарахнулась. Побежали, роняя шапки. Дмитрий Степанович, запыхавшись, снова очутился на Дворянской. Он чувствовал ответственность за все происходящее. Дойдя до площади, он прищурился на обелиск, прикрывающий памятник Александру Второму. Протянув руку, сказал сердито и громко:

— Большевики готовы уничтожить все русское.

Они добиваются, чтобы русский народ забыл свою историю. Здесь стоит никому не вредящий памятник царю-освободителю. Снимите же с него эти глупые доски и это гнусное тряпье.

Такова была его первая речь к народу. Сейчас же бойкие парни в картузиках — по виду приказчики — закричали:

— Ломай!

Раздался треск срываемых с памятника досок. Дмитрий Степанович пошел дальше. Толпа редела. Здесь громче раздавались заречные выстрелы. Навстречу доктору, со стороны Самарки, бежал почти голый человек в одних мокрых подштанниках. Темные волосы падали ему на глаза. Широкая грудь была татуирована. Несколько женщин, завизжав, бросились от него к воротам. Он вдруг вильнул и кинулся к спуску, вниз к Волге. За ним бежали еще трое, потом еще и еще, — мокрые, полуголые, запыхавшиеся… На улице закричали:

— Большевики! Бей их!

Все они, как кулики от выстрела, сворачивали к спуску, к пристаням. Дмитрий Степанович заволновался, тоже побежал, схватил какого-то хилого человека без ресниц с извилистым носом:

— Я — министр нового правительства… Сюда

нужен немедленно пулемет! Бегите же, я приказываю…

— Не понимай по-русски, — с неудовольствием ворочая языком, ответил хилый человек… Доктор оттолкнул его… Нужно было спешить действительно… Он сам пошел разыскивать чехов с пулеметом… И вот у чугунного подъезда, где, наполовину сшибленная, висела красная звезда, увидел еще одного большевика — дочерна загорелого человека с бритой головой и татарской бородкой. Военная рубаха на нем была разорвана, из пятнышка на плече ползла кровь… Показывая мелкие зубы, он по-собачьи вертел головой, огрызался, — видно, что страшно умирать.

Толпа напирала на него. Особенно женщины выкрикивали неистовые слова. Многие размахивали зонтиками, палками, стиснутыми кулаками… Тут же на ступеньках крыльца отставной генерал силился всех перекричать, махая на большевика лиловыми руками. Огромная фуражка поползла по его плеши, под дряблой шеей мотался орден.

— Решительнее, господа… Это комиссар… Без пощады… У меня у самого сын красный… Такое горе… Прошу, господа, найдите, приведите ко мне моего сына… Здесь же при всех убью. Убью

моего сына… И с этим не должно быть никакой пощады…

«В данном случае вмешательство бесполезно», — взволнованно подумал Дмитрий Степанович и, отойдя, оглянулся… Крики затихли… Там, где только что стоял раненый комиссар, взмахивали трости и зонтики… Стало совсем тихо, слышались только удары. Отставной генерал глядел с крыльца вниз, слабо, как дирижер, помахивая рукой над сползшей на нос фуражкой.

Дмитрия Степановича догнал нотариус Мишин. Он был в грязном балахоне, застегнутом до шеи, лицо опухшее, в пенсне не хватало стеклышка.

— Убили… Заколотили зонтами… Ужасно — эти самосуды… Ах, доктор, а говорят, что делается сейчас на берегу Самарки — ужасно…

— В таком случае идем туда… Вы знаете — я в правительстве…

— Знаю, радуюсь…

Именем правительства Дмитрий Степанович остановил офицерский отряд в шесть человек и потребовал сопровождать себя до берега, где происходили нежелательные эксцессы. Теперь уже повсюду на перекрестках стояли чешские патрули. Нарядные женщины украшали их цветами, тут же обучали русскому языку, звонко

смеялись, стараясь, чтобы иностранцам нравились и женщины, и город, и вообще Россия, которая опротивела чехам за годы плена хуже горькой редьки.

На грязном берегу Самарки добровольцы кончали с остатками красных, бежавших из слободы. Дмитрий Степанович пришел туда слишком поздно. Красные, успевшие еще перебежать через деревянный мост, переплывшие наискосок Самарку, садились на баржи и пароходы и уходили вверх по Волге. На берегу в ленивой волне лежало несколько трупов. Многие сотни мертвецов уже уплыли в Волгу.

На перевернутой гнилой лодке сидел Говядин, рукав его был перевязан трехцветной лентой. Мочальные волосы мокры от пота. Глаза, совсем белые, точками зрачков глядели на солнечную реку. Дмитрий Степанович, подойдя к нему, окликнул строго:

— Господин помощник начальника милиции, мне было сообщено, что здесь происходят нежелательные эксцессы… Воля правительства, чтобы…

Доктор не договорил, увидев в руках Говядина дубовый кол с прилипшей кровью и волосами. Говядин прошипел шерстяным голосом, беззвучно:

— Вон еще один плывет…

Он вяло слез с лодки и подошел к самой воде, глядя на стриженую голову, медленно плывущую наискосок течения. Человек пять парней с кольями подошло к Говядину. Тогда Дмитрий Степанович вернулся к своим офицерам, пившим баварский квас у расторопного квасника в опрятном фартуке, непонятно по какой бойкости уже успевшего выехать с тележкой. Доктор обратился к офицерам с речью о прекращении излишней жестокости. Он указал на Говядина и на плывущую голову. Давешний длинноногий ротмистр в снежном кителе шевельнул белыми от квасной пены усами, поднял винтовку и выстрелил. Голова ушла под воду.

Тогда Дмитрий Степанович, чувствуя, что он все-таки сделал все, что от него зависело, вернулся в город. Надо было не опоздать на первое заседание правительства. Доктор пыхтел, поднимаясь в гору, пылил башмаками. Пульс был не менее ста двадцати. Перед взором его развертывались головокружительные перспективы: поход на Москву, малиновый звон сорока сороков, — черт его знает, быть может, даже и кресло президента… Ведь революция такая штучка: как покатится назад, не успеешь оглянуться, — всякие эсеры, эсдеки, смотришь, уж и валяются с

выпущенными кишками у нее под колесами… Нет, нет, довольно левых экспериментов.

7

Екатерина Дмитриевна сидела в низенькой гостиной за фикусом и, сжимая в кулаке мокрый от слез платочек, писала письмо сестре Даше.

В пузырчатое окошко хлестал дождь, на дворе мотались акации. От ветра, гнавшего тучи с Азовского моря, колебались на стене отставшие обои.

Катя писала:

«Даша, Даша, моему отчаянию нет границ. Вадим убит. Мне сообщил об этом вчера хозяин, где я живу, подполковник Тетькин. Я не поверила, спросила — от кого он узнал. Он дал адрес Валерьяна Оноли, корниловца, приехавшего из армии. Я ночью побежала к нему в гостиницу. Должно быть, он был пьян, он втащил меня в номер, стал предлагать вина… Это было ужасно… Ты не представляешь, какие здесь люди… Я спросила: „Мой муж убит?..“ Ты понимаешь, — Оноли его однополчанин, товарищ, вместе с ним был в сражениях… Видел его каждый день… Он ответил с издевательством: „Да, убит, успокойтесь, деточка, я сам видел, как его ели мухи…“ Потом он сказал: „Рощин у нас был на подозрении, счастье

для него, что он погиб в бою…“ Он не сказал ни про день, в какой это случилось, ни про место, где убит Вадим… Я умоляла, плакала… Он крикнул: „Не помню — где кто убит“. И предложил мне себя взамен… Ах, Даша!.. Какие люди!.. Я без памяти убежала из гостиницы…

Я не могу поверить, что Вадима больше нет… Но не верить нельзя, — зачем было лгать этому человеку? И подполковник говорит, что, видимо, так… От Вадима с фронта за все время я получила одно письмо — коротенькое и не похожее на него… Это было на второй неделе после пасхи… Письмо без обращения… Вот слово в слово: «Посылаю тебе денег… Видеть тебя не могу… Помню твои слова при расставании… Я не знаю — может ли человек перестать быть убийцей… Не понимаю — откуда взялось, что я стал убийцей… Стараюсь не думать, но, видимо, придется и думать, и что-то сделать… Когда это пройдет, — если это пройдет, — тогда увидимся…»

И — все, Даша, сколько я пролила слез. Он ушел от меня, чтобы умереть… Чем мне было удержать его, вернуть, спасти? Что я могу? Прижать его к сердцу изо всей силы… Ведь только… Но он и не замечал меня в последнее время. Ему в лицо глядела во все глаза революция. Ах, я ничего не

понимаю. Нужно ли нам всем жить? Все разрушено… Мы, как птицы в ураган, мечемся по России… Зачем? Если всей пролитой кровью, всеми страданиями, муками вернут нам дом, чистенькую столовую, знакомых, играющих в преферанс… Так мы и снова будем счастливы? Прошлое погибло, погибло навсегда, Даша… Жизнь кончена, пусть приходят другие. Сильные… Лучшие…»

Катя положила перо и скомканным платочком вытерла глаза. Потом глядела на дождь, струившийся по четырем стеклам окошка. На дворе гнулась и моталась акация, как будто сердитый ветер трепал ее за волосы. Катя снова начала писать:

«Вадим уехал на фронт. Настала весна. Вся моя жизнь была — ждать его. Как печально, как это никому не было нужно… Я помню, перед вечером глядела в окно. Распускалась акация, большие почки лопались. Суетилась стайка воробьев… Мне стало так обидно, так одиноко… Чужая, чужая на этой земле… Прошла война, пройдет революция. Россия станет уже не той. Воюем, гибнем, мучимся. А дерево распускается так же, как и прошлой весной, как много весен назад. И это дерево и воробьи — вся природа — отошли от меня в страшную даль и там живут своей, уже

непонятной мне жизнью…

Даша, зачем же все наши муки? Не может быть, чтобы напрасно… Мы, женщины, ты, я, — знаем свой маленький мирок… Но то, что происходит вокруг, — вся Россия, — какой это пылающий очаг! Должно же там родиться новое счастье… Если бы люди не верили в это, разве бы стали так ненавидеть, уничтожать друг друга… Я потеряла все… Я не нужна себе… Но вот живу, потому что стыдно, — не страшно, а стыдно пойти положить голову под паровоз… привязать на крюк веревку.

Завтра уезжаю из Ростова, чтобы ничто больше не напоминало… Поеду в Екатеринослав… Там есть знакомые. Мне советуют поступить в кондитерскую. Может быть, Даша, приедешь на юг и ты… Рассказывают, в Питере у вас очень плохо…

Вот разница: женщина никогда бы не покинула любимого человека, будь хоть конец мира… А Вадим ушел… Он любил меня, покуда был в себе уверен… Помнишь, в июне в Петербурге, — какое солнце светило нашему счастью… Не забуду до смерти бледного солнца на севере… У меня не осталось от Вадима ни одной фотографии, ни одной вещицы… Как будто все было сном… Не могу, Даша, не могу понять, что он убит… Наверно, я сойду с ума… Как грустно и ненужно прожита

жизнь...»

Дальше Катя не могла писать... Платочек весь вымок... Но все же нужно было сообщить сестре все то обыденное и обыкновенное, что больше всего ценят в письмах... Под шум дождя она написала эти слова, не вкладывая в них ни мысли, ни чувства... О стоимости продуктов, о дороговизне жизни... «Нет никаких материй, ниток... Иголка стоит полторы тысячи рублей или два живых поросенка... Соседка по двору, семнадцатилетняя девушка, вернулась ночью голая и избитая, — раздели на улице. Главное — охотятся за башмаками...» Написала про немцев, что они устроили в городском саду военную музыку и велят подметать улицы, а хлеб, масло, яйца увозят поездами в Германию... Простонародье и рабочие ненавидят их, но молчат, так как помощи ждать неоткуда.

Все это ей рассказывал подполковник Тетькин. «Он очень мил, но, видимо, тяготится лишним ртом... А жена его, уже не стесняясь, говорит об этом». Катя еще написала: «Позавчера мне минуло 27 лет, но вид у меня... Да бог с ним... Теперь это не важно... Не для кого...»

И снова взялась за платочек.

Это письмо Катя передала Тетькину. Он обе-

щался с первой оказией переправить в Питер. Но еще долго, по Катином отъезде, носил его в кармане. Сообщение с севером было очень трудно. Почта не действовала. Письма доставляли особые ходоки, отчаянные головы, и брали за это большие деньги.

Перед отъездом Катя продала все то немногое, что увезла из Самары; оставила только одну вещицу — изумрудное колечко, его подарили Кате в день рождения. Это было давно, до войны, в весеннее петербургское утро. Оно отошло в такую далекую память, что ничто уже не связывало Катю с тем туманным городом, где пролетела ее молодость. Даша, покойный Николай Иванович и Катя пошли на Невский… Выбрали колечко с изумрудом. Она надела на палец зеленый огонек и только его унесла из той жизни…

С ростовского вокзала отходило сразу несколько поездов. Катю затолкали, впихнули в какой-то вагон третьего класса. Она села у окна, узелок с заштопанным бельем пристроила на коленях. Поплыли заливные луга, донские плавни, дымы на горизонте, туманные очертания не покорившегося немцам Батайска. Под обрывистым берегом — полузатопленные рыбачьи деревни, мазаные хаты, сады, перевернутые баркасы,

мальчики, идущие с бреднем. Потом молочной пеленой разостлалось Азовское море, вдали — несколько косых парусов. Потом погасшие трубы таганрогских заводов. Степи. Курганы. Брошенные шахты. Огромные села на склонах меловых холмов. Коршуны в синем небе. Печальный, как эти просторы, свист поезда. Хмурые мужики на станциях. Железные каски немцев…

Катя смотрела в окно, согнувшись, как старушка. Должно быть, лицо ее было такое печальное и прекрасное, что какой-то немецкий солдат, сидевший напротив, долго глядел на эту чужую русскую женщину. Худое, в никелевых очках, усталое лицо его тоже будто подернулось печалью.

— Виновные понесут расплату за все, мадам, настанет время, — негромко сказал он по-немецки. — Так будет и у нас в Германии, так будет во всем мире: великий суд… Социализмус — будет имя судьи…

Катя не сообразила сначала, что обращаются именно к ней, — подняла глаза на большие чистые никелевые очки. Немец покивал ей дружески:

— Мадам говорит по-немецки?

— Да.

— Когда человек много страдает — утешением ему служит целесообразность тех причин, из-за которых он страдает, — сказал немец, подбирая ноги под лавку и опуская лоб, так что глаза его теперь смотрели на Катю поверх очков. — Я много изучал историю человечества. После долгого затишья мы снова входим в полосу катастроф. Вот мой вывод. Мы присутствуем при начале гибели великой цивилизации. Однажды арийский мир уже пережил подобное. Это было в четвертом веке, когда варвары разрушили Рим. Многие готовы провести параллели с нашим временем. Но это ничего. Рим был разложен идеями христианства. Варвары разорвали уже только труп Рима. Современная цивилизация будет переорганизована социализмом. Там было разрушение, тут будет созидание. Наиболее разрушительными идеями христианства были: равенство, интернационализм и моральное превосходство бедности над богатством. Это были идеи варваров, кормивших чудовищного паразита — Рим, утопавший в роскоши. Вот почему римляне так боялись и так жестоко преследовали христиан. Но в христианстве не было созидающей идеи, оно не организовывало труда. На земле оно довольствовалось только разрушением, а

все остальное обещало на небесах. Христианство — это был только меч, разрушающий и карающий. И даже на небесах, и в идеальной жизни, оно не могло обещать ничего, кроме вывернутого наизнанку иерархического, классового и чиновничьего строя Римской империи. Таковы были его основные ошибки. В противовес ему Рим выдвигал идею порядка. Но тогда самый беспорядок — всеобщий хаос — и был заветной мечтой варваров, ожидавших часа, чтобы полезть штурмом на стены Рима. Час этот настал. На месте городов задымились развалины. Трупы лежали по дорогам, распятые кольями, раздавленные телегами варваров. Спасения не было, потому что Европа, Малая Азия, Африка пылали от края до края. Римляне, как птицы, метались по мировому пожарищу. Их умерщвляли варвары, в лесах раздирали дикие звери, они гибли в пустынях от голода, зноя и стужи. Я читал рассказ современника о том, как Проба, жена римского префекта, бежала ночью в лодке с двумя дочерьми из Рима, куда ворвались германцы Алариха. Плывя по Тибру, римлянки видели пламя, пожиравшее Вечный город. Это был конец мира…

Немец развязал вещевой мешок, со дна его достал пухлую, в потертой коже, записную книжку

и некоторое время со сдержанной улыбкой перелистывал ее.

— Вот, — сказал он, пересаживаясь на Катину лавку, — чтобы вам лучше представить, каковы из себя были римляне перед гибелью, послушайте одно место из Аммиана Марцеллина. Он так описывает этих владык вселенной:

«Длинные одежды из пурпура и шелка развеваются по ветру и дают возможность рассмотреть под ними богатую тунику, украшенную вышивками, изображающими различных животных. Сопровождаемые свитой в пятьдесят человек прислуги, их закрытые колесницы потрясают мостовую и дома, мчась по улице с необыкновенной быстротой. Если кто-нибудь из них входит в бани, обычно соединенные с магазинами, ресторанами и местами для прогулок, — он повелительным тоном требует, чтобы предметы общего употребления были отданы в его исключительное пользование. Выходя из бани, он надевает перстни и пряжки с драгоценными камнями и облекается в дорогой халат, полотна которого хватило бы на двенадцать человек. Затем следуют верхние одежды, которые льстят его самолюбию; при этом он не забывает принять величественную осанку, которой нельзя было бы простить и великому

Марцеллу, завоевателю Сиракуз. Впрочем, иногда и он предпринимает смелые походы с огромной свитой слуг, поваров, клиентов и отвратительно обезображенных евнухов в свои итальянские поместья, где забавляется охотой на птиц и кроликов. Если случайно, особенно в жаркий полдень, он имеет храбрость переплыть на разолоченной барке озеро Лукрин, отправляясь на свою приморскую дачу, он сравнивает потом это путешествие с походами Цезаря и Александра. Если муха проникает за шелковую занавеску палубы или сквозь складки упадет луч солнца, он оплакивает свое бедствие, сетуя, что не родился в странах киммерийских, где вечный мрак. Лучшими гостями у знатных считаются паразиты и льстецы, умеющие рукоплескать каждому слову хозяина. Они смотрят с восторгом на мраморные колонны комнат и мозаичные полы. За столом птицы и рыбы необыкновенной величины вызывают всеобщее удивление. Приносят весы, чтобы удостовериться в полновесности этих яств, и в то время, когда благоразумные гости отворачиваются от такой сцены, паразиты требуют нотариуса, чтобы составить протокол в достоверности подобных чудес…»

— Да, sic transit[1]… — сказал немец, захлопывая записную книжку. — Эти люди пошли бродить в поисках пропитания по дорогам и разрушенным городам. А волны варваров продолжали катиться с востока, опустошая и грабя. В какие-нибудь пятьдесят лет от Римской империи не осталось и следа. Великий Рим зарастал травой, среди покинутых дворцов паслись козы. Почти на семь столетий опустилась ночь над Европой.

Это произошло потому, что христианство могло разрушать, но не знало идеи организации труда. В заповедях не говорится о труде. Их моральные законы применимы к человеку, который не сеет, не жнет, а за которого сеют и жнут рабы. Христианство стало религией императоров и завоевателей. Труд остался неорганизованным и вне морали. Религию труда принесут в мир вторые варвары, которые разрушат второй Рим. Вы читали Шпенглера? Это римлянин от головы до пят, он прав лишь в том, что для *его* Европы закатывается солнце. Но для нас оно восходит. Ему не удастся увлечь за собою в могилу мировой пролетариат. Лебеди кричат перед смертью. Так вот, буржуазия заставила Шпенглера кричать

---

[1] Примечания: 1

Так проходит… (слава мира) (*лат.*).

лебедем… Это ее последний идеалистический козырь. У христианства сгнили зубы. У нас они железные… Ему мы противопоставляем социалистическую организацию труда… Нас заставляют воевать с большевиками… Ого!.. Вы думаете, мы не понимаем, кто толкает нашу руку и против кого? О, мы гораздо больше понимаем, чем это кажется… Раньше мы презирали русских. Теперь мы начинаем удивляться русским и уважать их…

Протяжно свистя, поезд шел мимо большого села: мелькали крепкие избы, крытые железом, длинные ометы соломы, сады за палисадами, вывески лавок. Рядом с поездом, по пыльной дороге, ехал мужик в военной рубашке без пояса и в бараньей шапке. Раздвинув ноги, он стоял в небольшой телеге на железном ходу и крутил концами вожжей. Сытая, рослая лошадь заскакивала, силясь перегнать поезд. Мужик обернулся к вагонным окнам и что-то крикнул, широко показывая белые зубы.

— Это Гуляй-Поле, — сказал немец, — это очень богатое село.

В дороге пришлось несколько раз пересаживаться. (Катя по ошибке села не в прямой поезд.) Суета, вокзальные ожидания, новые лица, ни-

когда прежде не виданные просторы степей, медленно плывущие за вагонным окном, отвлекли ее от тяжелых мыслей. Немец давно уже слез, — на прощанье крепко встряхнул Катину руку. Этот человек несокрушимо был уверен в закономерности происходящего и, казалось, с точностью определял и долю своего в нем участия. Его спокойный оптимизм изумил и встревожил Катю.

То, что все считали гибелью, ужасом, хаосом, для него было долгожданным началом великого начала.

За этот год Катя только и слышала бессильное скрежетание зубов да вздохи последнего отчаяния, только и видела, — как в то мартовское утро в отцовском доме, — искаженные лица, стиснутые кулаки. Правда, не вздыхал и не скрежетал подполковник Тетькин, но он был, по его же словам, «блаженный» и революцию приветствовал от какой-то своей «блаженной» веры в справедливость.

Весь круг людей, где жила Катя, видел в революции окончательную гибель России и русской культуры, разгром всей жизни, мировую пугачевщину, сбывающийся Апокалипсис. Была империя, механизм ее работал понятно и от-

четливо… Мужик пахал, углекоп ломал уголь, фабрики изготовляли дешевые и хорошие товары, купцы бойко торговали, чиновники работали, как часовые колесики. Наверху кто-то от всего этого получал роскошные блага жизни. Поговаривали, что такой строй несправедлив. Но — что же поделаешь, так бог устроил. И вдруг все разлетелось вдребезги, и — развороченная муравьиная куча на месте империи… И пошел обыватель, ошалело шатаясь, с белыми от ужаса глазами…

Поезд долго стоял в тишине на полустанке. Катя высунулась в окно. В темноте тихо шелестели листья высокого дерева. Необъятным казалось звездное небо над этой непонятной землей.

Катя облокотилась о раму спущенного окна. Шелест листьев, звезды, теплый запах земли напомнили ей одну ночь. Это было под Парижем, в парке… Несколько человек, все хорошие знакомые, петербуржцы, приехали туда на двух автомобилях… В беседке над прудом, где ужинали, было очень хорошо. Как серебристые облака, над водой стояли плакучие ивы.

Среди ужинавших был незнакомый Кате человек, немец, живавший в России. Он хорошо говорил по-французски. Он был в вечернем костюме, без шляпы, худой, с продолговатым

нервным лицом, с большим залысым лбом и тяжелыми веками серьезных глаз. Он сидел спокойно, положив длинные пальцы на донышко винного бокала. Когда Кате кто-нибудь нравился, становилось тепло и ласково. Июльская ночь над озером словно прикасалась к ее полуоткрытым плечам. Сквозь листья ползучего винограда наверху беседки виднелись звезды. Свечи тепло освещали лица друзей, ночных бабочек на скатерти, задумчивое лицо незнакомого человека. Катя чувствовала, что он задумался, поглядывая на нее. Должно быть, она была очень хороша в тот вечер.

Когда встали из-за стола и пошли по темной, как высокие своды, аллее в конец парка к террасе, чтобы оттуда смотреть на огни Парижа, немец пошел рядом с Катей.

— Вы не находите, сударыня, что красота не позволена, недопустима? — сказал он суровым голосом, подчеркивая, что он не хотел бы придать словам двусмысленность. Катя шла медленно. Как хорошо, что этот человек с ней заговорил, и голос его не заглушал шелеста темного свода деревьев. Идя по левую сторону от Кати, немец глядел перед собой в глубину аллеи, где разливалось лиловое зарево города. — Я инженер. Мой

отец очень богат. Я работаю в крупных предприятиях. Мне приходится иметь дело с сотнями тысяч людей. Я вижу и знаю многое из того, что вам неизвестно. Простите, вам скучен этот разговор?

Катя повернула к нему голову, молча улыбнулась. В полусвете далекого зарева он разглядел ее глаза и улыбку и продолжал:

— Мы живем, к несчастью, на стыке двух веков. Один закатывается, великолепный и пышный. Другой рождается в скрежете машин и суровых однообразных фабричных улиц. Имя этому веку масса, человеческая масса, где уничтожены все различия. Человек — это только умные руки, руководящие машинами. Здесь иные законы, иной счет времени, иная правда. Вы, сударыня, — последняя из старого века. Вот почему мне так грустно глядеть на ваше лицо. Оно не нужно новому веку, как все бесполезное, неповторяемое, способное возбуждать отмирающие чувства — любовь, самопожертвование, поэзию, слезы счастья… Красота!.. К чему? Это тревожно… Это недопустимо… Я вас уверяю, — в будущем станут издавать законы против красоты… Вам приходилось слышать о работе на конвейере? Это последняя американская новинка. Философию работы у двигающейся ленты нужно внедрять

в массы… Воровство, убийство должно казаться менее преступным, чем секунда рассеянности у конвейера… Теперь представьте: в железные залы мастерских входит красота, то, что волнует… Что же получается? Путаница движений, дрожь мускулов, руки допускают секунды опозданий, неточностей… Из секундных ошибок складываются часы, из часов — катастрофа… Мой завод начинает выбрасывать продукцию низшего качества, чем завод соседний… Гибнет предприятие… Где-то лопается банк… Где-то биржа ответила скачком на понижение… Кто-то пускает пулю в сердце… И все из-за того, что по заводскому цеху прошла, шурша платьем, преступно прекрасная женщина.

Катя засмеялась. Она ничего не знала о конвейере. Она никогда не бывала на заводах, видела только прокопченные трубы, портившие пейзаж… Человеческую массу — толпу — она очень любила на больших бульварах, и ничего зловещего в ней не чудилось. Двое из ее знакомых, ужинавших на озере, были социал-демократы. Стало быть, со стороны совести тоже все обстояло благополучно. То, что говорил ее спутник, медленно, с поднятой головой, идущий в теплой темноте аллеи, было интересно и ново, как,

например, кубические картинки, висевшие когда-то у Кати в гостиной… Но в тот вечер ей было не до философии…

— Должно быть, вам досталось от красивых женщин, если вы их так ненавидите, — сказала она и опять тихо засмеялась, думая о другом… Другое было неопределенное, как эта ночь, с запахом цветов и листьев, со звездными лучами в просветах между вершин, — сладко кружащее голову приближение любви. Не к этому высокому человеку, — а может быть, и к нему. Он вызвал в ней желание. То, что еще недавно казалось таким трудным и даже безнадежным, — легко подошло, легко охватило…

Неизвестно, что бы случилось с ней в те дни в Париже… Но сразу все оборвалось… Заревели пушки мировой войны… Немца Катя так и не встретила больше. Знал ли он о приближении войны или догадывался? В дальнейшей беседе у каменной балюстрады, откуда любовались разбросанными по темному горизонту, переливающимися, как алмазы, огнями Парижа, немец несколько раз заговаривал с какой-то суровой безнадежностью о неизбежности катастрофы. Им словно владела навязчивая мысль о том, что все напрасно: и прелесть ночи, и очарование Кати.

Она не помнила, что говорила ему, должно быть, вздор. Но это было не важно. Он стоял, облокотясь о балюстраду, почти касаясь щекой Катиного плеча. Катя знала, что ночной воздух смешивался с запахом ее духов, ее плеч, ее волос… Должно быть, — или теперь ей показалось, — если бы тогда он положил большую руку ей на спину, она бы не отодвинулась… Нет, этого ничего не случилось…

Ветер бил в щеку, трепал волосы. Неслись искры из паровоза. Поезд шел по степи. Катя оторвалась от окна, все еще ничего не видя. Прижалась в углу койки. Стиснула холодные пальцы.

Она теперь раскаивалась. Что же это было такое? Недели не прошло, как узнала о смерти Вадима, и хуже, чем изменила, хуже, чем предала… Размечталась о небывалом любовнике… Немец этот, конечно, убит… Он был офицером запаса. Убит, убит… Все умерли, все погибло, разорвано, развеяно, как та ночь в парке на террасе, над рекой, — исчезло невозвратно.

Катя сжала губы, чтобы не застонать. Закрыла глаза. Пронзительная тоска разрывала ей грудь… В грязном вагоне, где тускло мерцала свечка, было не много народу. Колебались черные бессонные тени от поднятой руки, от всклокоченной

бороды, от разутых ног, спущенных с верхней койки. Никто не спал, хотя час был поздний. Разговаривали вполголоса.

— Самый скверный этот район, я уж вам говорю…

— А что? Неужели и здесь небезопасно?

— Извиняюсь, что вы говорите? Так здесь тоже грабят? Это же удивительно, чего же немцы смотрят? Они же обязаны охранять проезжую публику… Оккупировали страну, так и наводи порядок.

— Немцам, извините, господа, на нас высочайше наплевать… Сами справляйтесь, мол, голубчики, — заварили кашу… Да. В природе это у нас, — бандитизм… Сволочь народ…

На это уверенный голос ответил:

— Всю русскую литературу надо зачеркнуть и сжечь всемирно… Показали! Честного человека на всю Россию, может быть, ни одного… Вот, помню, был я в Финляндии и оставил в гостинице калоши… Верхового послали с калошами вдогонку, и калоши-то рваные… Вот это честный народ. И как они расправлялись с коммунистами. С русскими вообще. В городе Або, после подавления восстания, финны жгли и пытали начальника тамошней Красной гвардии. За рекой было слыш-

но, как кричал этот большевик.

— Ох, господи, когда у нас вроде порядка что-нибудь сделается…

— Извиняюсь, я был в Киеве… Шикарные магазины, в кофейных музыка… Дамы открыто ходят в бриллиантах. Полная жизнь… Очень хорошо работают конторы по скупке золота и прочего… Уличная жизнь процветает, и все такое… Чудный город…

— А на брюки отрез — полугодовое жалованье. Задушили нас спекулянты… И вы знаете — все такие лобастые, все в синих шевиотовых костюмах… Сидят по кофейным, торгуют накладными… Утром встал — нет в городе спичек. А через неделю коробок — рубль. Или эти иголки. Я вот жене на именины две иголки подарил и шпульку ниток. А раньше дарил серьги с бриллиантами… Интеллигенция гибнет, вымирает…

— Расстреливать спекулянтов, без пощады…

— Ну, господин товарищ, здесь вам все-таки не большевизия…

— А что, какие слухи в Киеве, — гетман крепко сидит?

— Покуда немцы держат… Говорят, появился еще претендент на Украину — Василий Вышиванный. Сам он габсбургский принц, но ходит в

малороссийском костюме.

— Граждане, спать пора, потушили бы свечку.

— То есть как — свечку? Это же вагон…

— А так — безопаснее как-то… С поля все окна видны — мелькают.

В вагоне сразу замолчали. Особенно ясно постукивали колеса. Летели паровозные искры в темноту степи. Затем кто-то прохрипел в последнем негодовании:

— Кто сказал: «тушить свечку»? (Молчание. Стало жутковато.) Ага, свечку… А самому по чемоданам лазить. А вот найти, кто сказал, и с площадки — под откос.

Кто-то в тоске стал цыкать зубом. Панический голос проговорил:

— На прошлой неделе я ехал, — у одной женщины два узла крючком выхватили…

— Это непременно махновцы.

— Станут тебе махновцы из-за двух узлов мараться. Поезд ограбить — это их дело.

— Господа, на ночь-то не стоило бы про них…

И пошли разговоры один страшнее другого. Вспоминались такие истории, что буквально мороз подирал по коже. И тут выяснилось, что места, по которым, не особенно торопясь, тащился поезд, — самое разбойничье гнездо, где немцы избегают

даже ездить, и что на предыдущей остановке даже охрана слезла… По селам здесь мужики гуляют в бобровых шубах, девки — в шелку и бархате. Не проходит дня, — трата-та, — либо обстреляют поезд из пулемета, или отцепят задние вагоны, угонят самокатом, а то на полном ходу вдруг раскрывается дверь, и входят бородатые, с топорами, обрезами: руки вверх! Русских оставляют в чем мать родила, а попадется им еврей…

— Что еврей? При чем тут еврей? — дико закричал бритый человек в синем шевиотовом костюме, тот, кто восхищался Киевом. — Почему во всем виноват еврей?..

От этого крика стало совсем страшно. Голоса притихли. Катя опять закрыла глаза. Грабить у нее было нечего, — разве изумрудное колечко. Но и ею овладел томительный страх. Чтобы отвязаться от неприятного замирания сердца, она попыталась снова вспомнить очарованье той несбывшейся ночи. Но только стучали колеса в черной пустоте: Ка-тень-ка, Катень-ка, Ка-тень-ка, кон-че-но, кон-че-но, кон-че-но…

…Резко, будто влетев в тупик, вагон остановился, тормоза взвизгнули железным воплем, громыхнули цепи, зазвенели стекла, несколько чемоданов тяжело упало с верхней койки.

Удивительнее всего, что никто даже не ахнул. Повскакали с мест, озирались, прислушивались. И без слов было ясно, что влипли в историю.

В темноте грохнули винтовочные выстрелы. Бритый человек в шевиоте метнулся по вагону, куда-то нырнул, притаился. За окнами под самой насыпью побежали люди. Бах, бах — блеснуло в глаза, ударило в уши… Страшный голос закричал: «Не высовываться!» Рвануло гранату. Качнуло вагон. Мелко-мелко у пассажиров застучали зубы. На площадку полезли. Бухнули прикладами в дверь. Толкаясь, ввалилось человек десять в бараньих шапках, грозя гранатами, сталкиваясь в тесноте оружием. Шумно дышали груди.

— Забирай вещи, выходи в поле!

— Живей шевелись, а то…

— Мишка, крой гранатой буржуев…

Пассажиры шарахнулись. Светловолосый парень со злым, бледным лицом кинулся всем корпусом вперед, подняв гранату, и так на секунду застыл с поднятой рукой…

— Выходим, выходим, выходим, — зашелестели голоса. И, больше не протестуя, не говоря ни слова, пассажиры полезли из вагона, — кто с чемоданчиком, кто захватив только подушку или чайник… Один, в пенсне, со сбитой набок

бородкой, даже улыбался, пробираясь между разбойничками.

Ночь была свежая. Роскошным покровом раскинулись звезды над степью. Катя с узелком села на штабель гнилых шпал. Не убили сразу, — теперь уж не убьют. Она чувствовала такую слабость, точно после обморока. «Не все ли равно, — думала, — сидеть здесь на шпалах или бродить по Екатеринославу, без куска хлеба…» Плечам было зябко… Она зевнула. В вагоне рослые мужики тащили с полок чемоданы, выкидывали их через окошки. Человек в пенсне полез было на откос к вагону:

— Господа, господа, там у меня физические приборы, ради бога, осторожнее, это хрупкое…

На него зашипели, схватив сзади за непромокаемый плащ, втащили в толпу пассажиров. В это время из темноты со звоном и топотом примчался конный отряд. На два лошадиных корпуса впереди него скакал, подбрасываясь в седле, кто-то невероятно крепкий, в высокой шапке. Пассажиры шарахнулись. Отряд с поднятыми ружьями и шашками остановился у вагона. Крепкий в шапке крикнул зычно:

— Потерь никаких, хлопцы?

— Не, не… Выгружаем… Гони тачанки, — отве-

тили голоса. Крепкий в шапке повернул коня и въехал в толпу пассажиров.

— Представь документы, — приказал он, играя конем, так что пена с конской морды летела в выпученные от страха глаза пассажиров. — Не бойся. Вы под защитой народной армии батьки Махно. Расстреливать будем только офицеров, стражников, — он угрожающе повысил голос, — и спекулянтов народного достояния.

Опять человек в непромокаемом плаще выдвинулся вперед, поправляя пенсне.

— Виноват, могу дать честное слово, что среди нас нет вышеуказанных вами категорий… Здесь только мирные обыватели… Моя фамилия Обручев, учитель физики…

— Учитель, учитель, — укоризненно проговорил крепкий в шапке, — а связываешься со всякой сволочью. Отойди в сторону. Хлопцы, этого не трогать, это учитель…

Из вагона принесли свечу. Началась проверка документов. Действительно, ни офицеров, ни стражников не оказалось. Бритый человек в шевиоте суетился тут же, ближе всех к свечке… Но был он уже не в шевиоте, а в потрепанной крестьянской свитке и в солдатском картузе. Было непонятно, где он все это раздобыл, — должно

быть, возил с собой в чемодане. Он дружески похлопывал по плечам суровых разбойничков.

— Я певец, очень рад с вами познакомиться, друзья. Артистам нужно изучать жизнь, я артист…

Он кашлял, прочищая горло, покуда кто-то не сказал ему загадочно:

— Там разберут — какой ты артист, рано не радуйся…

Подъехали тачанки — небольшие тележки на железном ходу. Махновцы покидали на них чемоданы, корзины, узлы, вскочили сверху на вещи, ямщики засвистели по-степному, сытые тройки рванули вскачь, — и со свистом и топотом обоз исчез в степи.

Ускакал и конный отряд. Несколько махновцев еще ходили около вагона. Тогда пассажиры простым поднятием рук выбрали делегацию, чтобы просить у разбойничков разрешения ехать дальше. Подошел светловолосый парень, увешанный бомбами. Вихор из-под козырька фуражки закрывал ему глаз. Другой, синий, глаз глядел ясно и нагло.

— Что такое? — спросил он, оглядывая от головы до ног каждого делегата. — Куда ехать? На чем? Ах, дурные… А когда же машинист стрекнул

с паровоза в степь, теперь верст за десять чешет. Я вас здесь не могу бросить в ночное время, мало ли тут кто по степи бродит неорганизованный… Граждане, слушай команду… (Он сошел с откоса, поправил тяжелый пояс. К нему спустились остальные махновцы, перекидывая за спины винтовки.) Граждане, стройся по четверо в колонну… С вещами в степь…

Проходя мимо Кати, он нагнулся, тронул ее за плечо:

— Ай, девка… Не горюй, не обидим… Бери узелок, шагай рядом со мной вне строя.

С узелком в руке, опустив платочек до бровей, Катя шла по ровной степи. Парень с вихром шагал по левую сторону от нее, поглядывая через плечо на молчаливую кучу уныло бредущих пленных. Он тихо посвистывал сквозь зубы.

— Вы кто ж такая, откуда? — спросил он Катю. Она не ответила, отвернулась. Теперь у нее не было ни страха, ни волнения, только безразличие, — все казалось ей как в полусне.

Парень опять спросил про то же.

— Значит, не желаете себя унижать, разговаривать с бандитом. Очень жаль, дамочка. Только барскую спесь надо бы сбавить, — не те времена…

Обернувшись, вдруг он сорвал с плеча винтовку, зло крикнул какой-то неясной фигуре, ковылявшей в стороне от пленных:

— Эй, сволочь, — отстаешь… Стрелять буду!

Фигура поспешно кинулась в толпу. Он удовлетворенно усмехнулся.

— А куда ему бежать, дураку?.. По видимости — оправиться хотел. Вот какие дела, дамочка… Не желаете говорить, а молчать-то — страшнее… Не бойтесь, я не пьяный. Я пьяный — молчалив… Нехорош… Познакомимся, — он подкинул два пальца к козырьку, — Мишка Соломин. Дезертир Красной Армии… Скорее всего — бандит по своей природе, надо понимать. Злодей. Тут вы не ошиблись…

— Куда мы идем? — спросила Катя.

— В село, в штаб полка. Проверят вас, опросят, кое-кого носом в землю, некоторых отпустят. Вам, как молодой женщине, бояться нечего… Кроме того, я с вами.

— Вас-то, я вижу, и надо больше всех бояться, — сказала Катя, мельком покосившись на своего спутника. Она не ждала, что эти слова так обожгут его. Он весь вытянулся, вздохнул порывисто через ноздри, — длинное лицо его сморщилось, бледное от света звезд. «Сука», — прошептал он.

Шли молча. Мишка на ходу свернул собачью ногу, закурил.

— Хоть и будете отпираться, я знаю, кто вы. Из офицерского сословия.

— Да, — сказала Катя.

— Муж, конечно, в белых бандах.

— Да… Мой муж убит…

— Не поручусь, что не моя пуля его хлопнула…

Он показал зубы. Катя быстро взглянула, споткнулась. Мишка поддержал ее под локоть. Она освободила руку, покачала головой.

— Я же с Кавказского фронта… Здесь только четыре недели, все время с белобандитами воевал. Из этой винтовки не одну пулю вогнал в голубые косточки…

Катя опять затрясла головой. Он некоторое время шел молча, потом засмеялся:

— Ну, и влипли же мы в переплет под станцией Уманьской. От нашего Варнавского полка пух остался. Комиссара Соколовского убили, командир полка Сапожков ушел прямо с горстью бойцов, все израненные… А я дернул через германский фронт к батьке. Здесь веселей. Над душой никто не стоит, — народная армия. Партизане мы, дамочка, а не бандиты. Командиров выбираем сами… Скидываем сами: взял наган и

хлопнул… Один и есть над нами, — батько… Вы думаете, поезд ограбили, так это все в шинках пропьем? Ничего подобного. Все добро — в штаб. Оттуда — распределение. Одно — крестьянам, одно — армии. Поезда — это наше интендантство. А мы, — народная армия, значит, сам народ, — в состоянии войны с Германией. Вот как вопрос поставлен. Помещиков вырезаем. Стражники, гетманские офицеры — лучше нам не попадайся, уничтожаем холодным оружием. Мелкие отряды австрийцев и германцев оттесняем к Екатеринославу. Вот какие мы бандиты.

Звездам в степи, казалось, не было конца. В одном краю, там, куда шли, небо чуть начало зеленеть. Катя все чаще спотыкалась, сдержанно вздыхала. А Мишке хоть бы что, как с гуся вода, — шел бы и шел с винтовкой за плечами тысячу верст. Катина забота теперь была об одном: не показать, что ослабела, чтобы этот свистун и хвастун не начал ее жалеть…

— Все вы хороши! — Она остановилась, поправила платок, чтобы передохнуть, и опять пошла по полыни, по сусликовым норам. — Роди вам сыновей, чтобы их убивали. Нельзя убивать, вот и весь сказ.

— Эту песню мы слыхали. Эта песня бабья,

старинная, — сказал Мишка, ни минуты не думая. — Наш комиссар, бывало, так на это: «Глядите с классовой точки зрения…» Ты прикладываешься из винтовки, и перед тобой — не человек, а классовый факт. Понятно? Жалость тут ни при чем и даже — чистая контрреволюция. Есть другой вопрос, голубка…

Странно вдруг изменился голос у него — глуховатый, будто он сам слушал свои слова.

— Не вечно мне крутиться с винтовкой по фронтам. Говорят, Мишка пропитая душа, алкоголик, туда ему к черту дорога, — в овраг. Верно, да не совсем… Умирать скоро не собираюсь, и даже очень не хочу… Эта пуля, которая меня убьет, еще не отлита.

Он отмахнул вихор со лба:

— Что такое теперь человек — шинель да винтовка? Нет, это не так… Я бы черт знает чего хотел! Да вот — сам не знаю чего… Станешь думать: ну, воз денег? Нет. Во мне человек страдает… Тем более такое время — революция, гражданская война. Сбиваю ноги, от стужи, от ран страдаю — для своего класса, сознательно… В марте месяце пришлось в сторожевом охранении лежать полдня в проруби под пулеметным огнем… Выходит, я герой перед фронтом? А перед собой

— втихомолку — кто ты? Налился алкоголем и, в безрассудочном гневе на себя, вытаскиваешь нож из-за голенища…

Мишка снова весь вытянулся, вдыхая ночную свежесть. Лицо его казалось печальным, почти женственным. Руки он глубоко засунул в карманы шинели и говорил уже не Кате, а будто какой-то тени, летевшей перед ним:

— Знаю, слышал, — просвещение… У меня ум дикий. Мои дети будут просвещенные. А я сейчас какой есть — злодей… Это моя смерть… Про интеллигентных пишут романы. Ах, как много интересных слов. А почему про меня не написать роман? Вы думаете, только интеллигентные с ума сходят? Я во сне крик слышу… Просыпаюсь, — и во второй бы раз убил…

Из темноты наскакали всадники, крича еще издалека: «Стой, стой…» Мишка сорвал винтовку. «Стой, так твою мать! Своих не узнаешь!..» Оставив Катю, он пошел к всадникам и долго о чем-то совещался.

Пленные стояли, тревожно перешептывались. Катя села на землю, опустила лицо в колени. С востока, где яснее зеленел рассвет, тянуло сыростью, дымком кизяка, домовитым запахом деревни.

Звезды этой нескончаемой ночи начали блекнуть, исчезать. Снова пришлось подняться и идти. Скоро забрехали собаки, показались ометы, журавли колодцев, крыши села. Проступили на лугу комьями снега спящие гуси. Коралловая заря отразилась в плоском озерце. Мишка подошел, нахмурясь:

— С другими вы не ходите, вас я устрою отдельно.

— Хорошо, — ответила Катя, слыша словно издалека.

Все равно куда было идти, только — лечь, заснуть…

Сквозь слипающиеся веки она увидела большие подсолнечники и за ними зеленые ставни, разрисованные цветами и птицами. Мишка постучал ногтями в пузырчатое окошечко. В белой стене хаты медленно раскрылась дверь, высунулась всклокоченная голова мужика. Усы его поползли вверх, зубастый рот зевнул. «Ну, ладно, — сказал он, — идемте, что ли…»

Пошатываясь, Катя пошла в хату, где зазвенели потревоженные мухи. Мужик вынес из-за перегородки тулуп и подушку: «Спите», — и ушел. Катя очутилась за перегородкой на постели. Кажется, Мишка наклонялся над ней, поправляя под

головой подушку. Было блаженно провалиться в небытие…

…Тревожил стук колес. Они катились, гремели. Катилось множество экипажей. И солнце отсвечивало позади них от окон высоких-высоких домов. Полукруглые графитовые крыши. Париж. Мимо мчатся экипажи с нарядными женщинами. Все что-то кричат, оборачиваются, указывают… Женщины размахивают кружевными зонтиками… Все больше мчится экипажей. Боже мой! Это погоня… В Париже-то, на бульварах! Вот они. Огромные тени на косматых конях в зеленоватом рассвете. Ни двинуться, ни убежать! Какой топот! Какие крики! Захватило дух!..

…Катя села на постели. Гремели колеса, ржали кони за окном. Сквозь незанавешенную дверь перегородки она увидела входящих и выходящих людей, увешанных оружием. В хате гудели голоса, топали сапожищи. Многие теснились у стола, что-то на нем рассматривали. Отпускали ядреные словечки. Был уже белый день, и несколько дымных лучей било в сизый махорочный дым хаты сквозь маленькие окна.

На Катю никто не обращал внимания. Она поправила платье и волосы, но осталась сидеть на постели. Очевидно, в село вошли новые войска.

По тревожному гулу толпившихся в хате людей было понятно, что готовилось что-то серьезное. Резкий голос, с запинкой, с бабьим оттенком крикнул повелительно:

— Чтоб его черти взяли! Позвать его, подлеца!

И полетели голоса, крики из хаты на двор, на улицу, туда, где стояли запряженные тройками тележки, оседланные кони, кучки солдат, матросов, вооруженных мужиков.

— Петриченко… Где Петриченко?.. Беги за ним…

— Сам беги, кабан гладкий… Эй, браток, покличь полковника… Да где он, черт его душу знает?.. Здесь он, на возу спит, пьяный… Из ведра его, дьявола, окатить… Слышь, там, с ведром, добеги до колодца, — полковника не добудимся… Эй, братва, водой его не отлить, мажь ему рыло дегтем… Проснулся, проснулся… Скажи ему, — батько гневается… Идет… идет…

В хату вошел давешний рослый человек в высокой шапке. Он до того, видимо, крепко спал, что на усатом багровом лице его с трудом можно было разобрать заплывшие глаза… Ворча, он протолкался к столу и сел.

— Ты что же, негодяй, — армию продаешь! Купили тебя! — взвился с запинкою высокий

скрежещущий голос.

— А что? Ну — заснул, ну, и все тут, — прогудел полковник так густо, будто говорил это, сидя под бочкой.

— А то. А то, тебе говорю… А то! — Голос захлебнулся. — А то, что проспал немцев…

— Как я немцев проспал? Я ничего не проспал…

— Где твои заставы? Мы шли всю ночь, — ни одной заставы… Почему армия в мешке?

— Да ты что кричишь? Кто ж их знает, откуда немцы взялись… Степь велика…

— Ты виноват, мерзавец!

— Но, но…

— Виноват!

— Не хватай!

Сразу в хате стало тихо. Отхлынули стоявшие от стола. Кто-то, тяжело дыша, боролся. Взлетела рука с револьвером. В нее вцепилось несколько рук. Раздался выстрел. Катя зажала уши, быстро прилегла на подушку. С потолка посыпалась штукатурка. И снова, уже весело, загудели голоса. Полковник Петриченко поднялся, доставая бараньей шапкой чуть не до потолка, и с толпой молодцов важно вышел на улицу.

За окном началось движение. Повстанцы са-

дились на коней, вскакивали в тачанки. Вот захлопали бичи, затрещали оси, поднялась неимоверная ругань. Хата опустела, и тогда Катя поняла, почему до сих пор не могла увидеть того, кто так повелительно кричал бабьим голосом. Это был маленький человек. Он сидел у стола, спиной к Кате, положив локти на карту.

Прямые, каштанового цвета длинные волосы падали ему на узкие, как у подростка, плечи. Черный суконный пиджак был перекрещен ремнями снаряжения, за кожаным поясом — два револьвера и шашка, ноги — в щегольских сапогах со шпорами — скрещены под стулом. Покачивая головой, отчего жирные волосы его ползли по плечам, он торопливо писал, перо брызгало и рвало бумагу.

Осторожно со двора вошел давешний мужик, уступивший Кате постель.

Лицо у него было розовое, умильное. В волосах — сено. Придурковато моргая, он сел на лавку, напротив пишущего человека, подсунул под себя обе руки и зачесал босой ногой ногу.

— Все в заботах, все в заботах, Нестор Иванович, а я чаял — обедать останешься. Вчера телку резали, будто бы я так и знал, что ты заедешь…

— Некогда… Не мешай…

— Ага… (Мужик помолчал, перестал мигать. Глаза его стали умными, тяжелыми. Некоторое время он следил за рукой пишущего.) Значит, как же, Нестор Иванович, бой принимать не собираетесь у нас в селе?

— Как придется…

— Ну да, само собой, дело военное… А я к тому, если бой будете принимать, — надо бы насчет скотины… На хутора, что ли, ее угнать?

Длинноволосый человек бросил перо и запустил маленькую руку в волосы, перечитывая написанное. У мужика зачесалось в бороде, зачесалось под мышками. Поскребся. И будто сейчас только вспомнил:

— Нестор Иванович, а как же нам с мануфактурой? Сукно ты пожертвовал — доброе сукно. Интендантское, в глаза кидается… Ведь шесть возов.

— Мало вам? Не сыты? Мало?

— Ну, что ты, — какой мало… И за это не знаем как благодарить… Сам знаешь — сорок бойцов от села к тебе послали… Сынишка мой пошел. «Я, говорит, батько, должен кровь пролить за крестьянское дело…» Мало будет — мы пойдем, старики возьмутся… Ты только воюй, поддержим… А вот с мануфактурой в случае чего, — ну,

не дай боже, нагрянут германцы, стражники… сам знаешь, какая у них расправа, — вот как же нам: сомневаться или не сомневаться насчет боя?

Спина у длинноволосого вытянулась. Он выдернул руку из волос, схватился за край стола. Слышно было — задышал. Голова его закидывалась. Мужик осторожно стал отъезжать от него по лавке, выпростал из-под себя руки и бочком-бочком вышел из хаты.

Стул закачался, длинноволосый отшвырнул его ногой. Катя с содроганием увидела наконец лицо этого маленького человека в черном полувоенном костюме. Он казался переодетым монашком. Из-под сильных надбровий, из впадин глядели на Катю карие, бешеные, пристальные глаза. Лицо было рябоватое, с желтизной, чисто выбритое — бабье, и что-то в нем казалось недозрелым и свирепым, как у подростка. Все, кроме глаз, старых и умных.

Еще сильнее содрогнулась бы Катя, знай, что перед ней стоит сам батько Махно. Он рассматривал сидевшую на кровати молодую женщину, в пыльных башмаках, в помятом, еще изящном шелковом платье, в темном платочке, повязанном по-крестьянски, и, видимо, не мог угадать

— что это за птица залетела в избу. Длинную верхнюю губу его перекосило усмешкой, открывшей редко посаженные зубы. Спросил коротко, резко:

— Чья?

Катя не поняла, затрясла головой. Усмешка сползла с его лица, и оно стало таким, что у Кати затряслись губы.

— Ты кто? Проститутка? Если сифилис — расстреляю. Ну? По-русски говорить умеешь? Больна? Здорова?

— Я пленная, — едва слышно проговорила Катя.

— Что умеешь? Маникюр знаешь? Инструменты дадим…

— Хорошо, — еще тише ответила она.

— Но разврата не заводить в армии… Поняла? Оставайся. Вернусь вечером после боя, — почистишь мне ногти.

Много россказней ходило в народе про батьку Махно. Говорили, что, будучи на каторге в Акатуйской тюрьме, он много раз пытался бежать и убежал, но был накрыт в дровяном сарае и топором бился с солдатами. Ему переломали прикладами все кости, посадили на цепь; и три года он сидел на цепи, молчал, как хорек, только день и ночь стаскивал и не мог стащить с себя желез-

ные наручники. Там, на каторге, он подружился с анархистом Аршиновым-Мариным и стал его учеником.

Родом Нестор Махно был из Екатеринославщины, из села Гуляй-Поле, сын столяра. Бить его начали с малых лет, когда он служил в мелочной лавке, и тогда же прозвали хорьком за злость и карие глаза. Когда после порки он ошпарил кипятком старшего приказчика, — мальчишку выгнали. Он подобрал себе шайку, — лазили на бахчи, в сады, хулиганили, жили вольно, покуда отец не отдал его в типографское дело. Там будто бы его увидел анархист Волин, ставший через восемнадцать лет начальником штаба и ученой головой всего дела у Махно. Мальчик будто бы так понравился Волину, что тот стал учить его грамоте и анархизму, отдал в школу, и Махно сделался учителем. Но это неверно. Махно учителем никогда не был, и вернее полагать, что и Волина он узнал лишь впоследствии, а с анархизмом познакомился через Аршинова, на каторге.

С 1903 года Махно опять начинает пошаливать в Гуляй-Поле, но уже не на бахчах и огородах, а по барским поместьям, по амбарам лавочников: то уведет коней, то очистит погреб, то напишет записку лавочнику, чтобы положил деньги под

камень. С полицией у него в то время велась странная и пьяная дружба.

Махно стали серьезно побаиваться, но мужики его не выдавали, потому что чем ближе подходило время к революции 1905 года, тем решительнее Махно досаждал помещикам. И когда, наконец, запылали усадьбы, когда крестьянство выехало распахивать барскую землю, — Махно кинулся в города на большую работу. В начале 1906 года он напал с молодцами в Бердянске на казначейство, застрелил трех чиновников, захватил кассу, но был выдан товарищем и попал в Акатуй на каторгу…

Через двенадцать лет, освобожденный февральской революцией, он снова появился в Гуляй-Поле, где крестьяне, не слушая двусмысленных распоряжений Временного правительства, выгнали помещиков и поделили землю. Махно помянул о старых заслугах и был выбран товарищем председателя в волостное земство. Он сразу взял крутую линию на «вольный крестьянский строй», на заседании местной управы объявил земцев буржуями и кадетами; разгорячась в споре, застрелил тут же, на заседании, члена управы и сам назначил себя председателем и районным комиссаром.

Временное правительство ничего с ним поделать не могло. Через год пришли немцы. Махно пришлось бежать. Некоторое время он колесил по России, покуда, летом восемнадцатого года, не попал в Москву, кишевшую в то время анархистами. Здесь были и старый Аршинов, меланхолически созерцающий события революции, которыми, по непонятной ему игре судьбы, руководили большевики, и никогда в жизни не чесавший бороды и волос, могучий теоретик и столп анархии — «матери порядка» — Волин, и нетерпеливый честолюбец Барон, и Артен, и Тепер, и Яков Алый, и Краснокутский, и Глазон, и Цинципер, и Черняк, и много других великих людей, которые никак не могли вцепиться в революцию, сидели в Москве без денег, с единственной повесткой ежедневных заседаний: «Постановка организации и финансовые дела»... Одни из них впоследствии стали вождями махновской анархии, другие — участниками взрыва Московского комитета большевиков в Леонтьевском переулке.

Несомненно, что приезд Махно произвел впечатление на тосковавших в московских кофейнях анархистов. Махно был человек дела, и притом решительный. Было надумано — ехать Нестору

Ивановичу в Киев и перестрелять гетмана Скоропадского и его генералов.

Вдвоем с подручным анархистом Махно перешел в Беленихине украинскую границу, обманув бдительность сидевшего там на путях страшного комиссара Саенко. Переоделся офицером, но в Киев ехать раздумал: в нос ему ударил вольный ветер степей, и не по вкусу показалась конспиративная работа. Он махнул прямо в Гуляй-Поле.

В родном селе он собрал пятерку надежных ребят. С топорами, ножами и обрезами засел в овраге близ экономии помещика Резникова, ночью пробрался в дом и вырезал без особого шума помещика с тремя братьями, служившими в державной варте. Дом поджег. На этом деле он добыл семь винтовок, револьвер, лошадей, седла и несколько полицейских мундиров.

Не теряя теперь времени, хорошо вооруженный и на конях, он врывается со своей пятеркой на хутора, зажигает их с четырех концов. Он пополняет отряд. С бешеной страстью кидается из одного конца уезда в другой и очищает его от помещиков. Наконец он решается на одно дело, которое широко прославило его.

Было это на троицу. Степной магнат, помещик Миргородский, выдавал дочь за гетманского

полковника. Ко дню свадьбы прибыли кое-кто из соседей, не испугавшихся в такое лихое время промчаться по степному шляху. Приехали гости и из губернии, и из Киева.

Усадьба Миргородских крепко охранялась стражниками. На чердаке барского дома был поставлен пулемет, да и сам жених прибыл с однополчанами — рослыми молодцами в широких синих шароварах с мотней, которая, по старинному обычаю, должна мести по земле, в свитках из алого сукна, в смушковых шапках с золотой кистью без малого не до пояса. У всех висели сбоку кривые сабли, бившие на ходу по козловым сапогам с загнутыми носками.

Невеста не так давно приехала из Англии, где кончала образование в закрытом пансионе, и уже неплохо говорила по-украински, носила вышитые рукава, бусы, ленты и красные сапожки. Пану-отцу прислали из Киева по особому заказу бархатный жупан, отороченный мехом, точь-в-точь как на известном портрете гетмана Мазепы. Свадьбу хотели справить по-стародавнему, и хотя столетние меды трудно было достать на пылающей Украине, но для широкого пира всего наготовили вдоволь.

После обедни невесту повели через парк в но-

вую каменную церковь. Подружки, что шли с невестой и пели песни, были чудо хороши, а она — совсем как из казацкой думки. «Эге, — сказали дружки жениха, поджидавшие у ограды, — эге, видно, вернулись на Украину добрые времена…» После венца молодых осыпали на паперти овсом. Пан-отец, в мазепинском жупане, благословил их древней иконой из Межигорья. Выпили шампанского, крикнули: «Хай живе», разбили бокалы, молодые на автомобиле уехали на поезд, а гости остались пировать.

Сошла ночь на широкий двор усадьбы, где слуги и стражники выделывали ногами замысловатые кренделя. Все окна в доме весело сияли. Привезенный из Александровска еврейский оркестр пилил и дудел что было силы. Уже пан-отец отхватил чертовского гопака и пил содовую. Уже девицы и дамы искали прохлады в раскрытых окнах, а жениховы дружки — все куренные батьки, хорунжие и подполковники — вернулись к столам с закуской и, гремя саблями, грозились идти бить проклятых москалей, дойти до самой Москвы.

В это время среди пирующих появился маленького роста офицер в мундире гетманской варты. Ничего в том не было странного, что на усадь-

бу в такой день завернула полиция. Вошел он скромно, молча поклонился, молча покосился на музыкантов. Лишь кое-кто заметил, что мундир ему был как будто велик, да одна дама с тревогой вдруг сказала другой: «Кто этот? Какой страшный!..» Хотя неизвестный офицер и старался держать глаза опущенными, но, помимо воли, они у него горели, как у дьявола… Но мало ли какая ерунда может причудиться спьяна…

Музыканты после мазурок и вальсов заиграли танго. Два-три красных жупана, еще твердо стоявшие на ногах, подхватили дам. Кто-то велел потушить верхний свет. В полуосвещении, под расслабленные звуки, долетавшие, казалось, из глубины навек отжитых лет, пары пошли изламываться, изнемогать, изображая сладострастие смерти.

И тогда раздались выстрелы. Толпа гостей окаменела. Музыка оборвалась. Махно, одетый в форму вартового офицера, стоял позади закусочного стола у полуоткрытой двери и стрелял из двух револьверов по красным жупанам. Рослый багровый подполковник, друг жениха, раскинув руки, тяжело повалился на стол и опрокинул его. Пронзительно закричали женщины. Другой вытаскивал саблю и, так и не вытащив, ткнулся

лицом в ковер… Еще трое с саблями кинулись на Махно, — двое сейчас же упали, третий выскочил в окно и там закричал, как заяц. В противоположных дверях появились двое, свирепых и чубастых, тоже в мундирах варты, и открыли стрельбу по гостям. Женщины метались. Падали. Пан-отец не мог подняться с кресла, и Махно, подойдя, вогнал ему пулю в рот. Раздавалась стрельба и на дворе, и в парке, где бегали выскочившие в окна гости. Немногим удалось спрятаться в кустах, в осоке на пруду. Перебиты были дворовая челядь и стражники. Махновские молодцы запрягли телеги и до рассвета грузили их добром и оружием. Солнце встало над пылающей усадьбой.

На Гуляй-Поле этот смелый налет произвел сильное впечатление. К тому времени крестьяне совсем уже приуныли под немцами, под саженными помещиками, под скорой на расправу державной вартой. Не доверяя мужикам, помещики отказывались сдавать землю в аренду и требовали не только урожая нынешнего лета, но и возвращения зерном убытков прошлого года. Оставалось выть по-волчьи. Явился Махно и объявил террор. По деревням и селам полетел слух, что нашелся батько.

Мужики спохватились. Запылали усадьбы.

Запылали в степях скирды пшеницы. Партизанские отряды дерзко нападали на пароходы и баржи с хлебом, вывозимым в Германию. Волнения перекидывались на правый берег Днепра. Австрийским и германским войскам отдан был приказ пресечь беспорядки. Сотни карательных отрядов рассыпались по стране. И тогда Махно первый, с небольшим, хорошо вооруженным отрядом, стал нападать на австрийские войска.

В то время армия батьки Махно была еще не велика. Постоянное — не разбегавшееся — ядро ее состояло из двух-трех сотен отчаянных голов. Здесь были и черноморские матросы, и фронтовики, кому по разным обстоятельствам нельзя было показаться на родной деревне, и мелкие батьки, со своими отрядами влившиеся к Махно, и люди без роду и племени, воевавшие ради удали и веселой жизни.

Тогда же к армии начали прибиваться и анархисты-одиночки, так называемые «боевики», прослышавшие про новую гайдаматчину, вольно гулявшую на конях. Приходя пешком в махновский стан, рваные и голодные, с бомбой в одном кармане и с томом Кропоткина в другом, анархисты говорили батьке:

— Слышали мы, будто ты гениальная личность.

Гм! Посмотрим.

— Посмотрите, — отвечал батько.

— Что ж, — говорили они, — если ты действительно таков, попадешь ведь на страницы мировой истории. Черт тебя знает, а вдруг тебе суждено стать вторым Кропоткиным.

— Возможно, — отвечал батько.

Анархисты стали ездить за батькой в обозе, пить с батькой спирт, говорить ему удивительные слова, до которых он был страшный охотник, — про историю и про славу. И понемногу кое-кто из них начал проходить на ответственные и командные места. И уже за каждым потащилась тачанка с добычей, взятой в боях: ящик коньяку, бочонок с золотом, мешок с одеждой. Такими одиночками были — Чалдон, Скоропионов, Юголобов, Чередняк, Энгарец, Француз и много других. На длительных стоянках они раздобывали целыми публичными домами веселых девиц и устраивали афинские ночи, уверяя батьку, что такой подход к половому вопросу раскрепощает быт, что же касается сифилиса — то это мелочь и вздор, когда осуществляется абсолютная свобода. Махно называл своих анархистов ползучими гадами, не раз грозил их перестрелять, но все же терпел как людей книжных и хорошо понимаю-

щих, что такое мировая слава.

У армии не было постоянной ставки. По мере надобности она перебрасывалась из конца в конец губернии на конях и тачанках. Когда задумывался налет или предстоял бой, Махно слал гонцов по деревням и сам в людном месте говорил зажигательную речь, после чего его подручные кидали с тачанок в толпу штуки сукна и ситца. В один день ядро его армии обрастало мужиками-партизанами. Кончался бой, и добровольцы так же быстро разбредались по селам, прятали оружие и, — будто они не они, — стоя у ворот, лениво почесывались, когда мимо громыхала германская артиллерия в поисках врага. Австрийцы и германские отряды, преследуя Махно, всегда ударяли в пустоту, и всегда в тылу у них оказывался этот вездесущий дьявол. Партизаны, как древние кочевники, не принимали решительного боя, рассыпались с воем, свистом и пальбой на конях и тачанках и, собравшись снова там, где их не ждали, нападали невзначай.

Село опустело. Уехал вслед армии и Махно на тройке, в тележке, покрытой ковром. Был уже полдень. Толстая заплаканная девка, в высоко подогнутой юбке, мела хату полынным веником. Хозяин сидел у открытого окошечка и, погляды-

вая на холмы, куда ушли пешие и конные и где сейчас мирно вертелись две мельницы, тяжело вздыхал: видимо, его не успокоила давешняя беседа с Махно.

Катя ходила к колодцу, помылась, привела себя в порядок. Хозяин позвал ее завтракать, — она скушала две галушки, выпила молока. И теперь, окончательно не зная, что делать, чего ждать, — сидела у другого окна. Было знойно. На улице много кур бродило по свежему навозу. В палисадниках никли золотые шляпки подсолнухов, наливалась вишня. Плавали ястреба над селом. Хозяин кряхтел, вздыхал.

— Ты юбку еще на голову задери, бесстыдница, — сказал он заплаканной девке. — Эка штука — залапали… Не тебя первую.

Девка всхлипнула, бросила веник и опустила юбку на толстые белые икры. Хозяин некоторое время смотрел на веник.

— Кто именно? Ты скажи, не бойся, Александра…

— Да я ж его, проклятого, и не знаю, как звать… Не наш… В очках…

— Видишь ты, — быстро сказал хозяин, точно обрадовался. — В очках… Это кто-нибудь из них — анархист. — Он повернулся к Кате: — Пле-

мянница Александра… Послал ее на гумно за соломой… А гумно знаете где? Вернулась поутру вся ободранная. Тьфу!..

— Он пьяный. Револьвером грозил. Что же я могла? — Александра тихо завыла. Хозяин топнул на нее босой ногой:

— Уходи отсюда. Тут сам не знаешь, как жив останешься.

Девка выбежала. Он опять принялся кряхтеть, поглядывая на холмы.

— Ну, что ты сделаешь? Рады мы, что ли, этих разбойников кормить? Скажем, наряд — лошадей под тачанки. И ведь они скачут, дьяволы, по восемьдесят верст… Лошадь не машина, с ней надо любовно… У нас теперь весь скот калеченый… Эх, война!..

Задребезжал пузырь в лампе, висевшей над столом, тихо зазвенели оконные стекла. Горячий воздух будто вздохнул. По земле прокатился отдаленный гром. Хозяин живо высунулся в окно до половины туловища и долго глядел на холмы, где около мельниц маячил одинокий верховой. Затем, отчетливо прикладывая персты, перекрестился в угол на картинку.

— Германская артиллерия, по нашим кроют, — сказал он, и опять зачесалось у него под линялой

рубашкой. — Эх, времечко! — Он поднял веник, бросил его в угол и пошел на двор, поджимая пальцы на босых ногах. Снова прокатился далекий грохот над селом. Катя не могла больше сидеть в избе и вышла на знойный, пахнувший навозом солнцепек.

По улице в это время шли встревоженной кучкой вчерашние пассажиры. Впереди шагал, глядя поверх пенсне, учитель физики Обручев; он был в резиновом плаще и калошах и казался предводителем, — в него верили.

— Присоединяйтесь к нам! — крикнул он Кате. Она подошла. У пассажиров был помятый вид, лица похудевшие; у двух пожилых женщин — потеки от слез. Переодетого спекулянта не было видно. — Один из нашей партии бесследно исчез — очевидно, расстрелян, — сказал Обручев бодрым голосом. — Нас всех ожидает его участь, господа, если мы не найдем в себе достаточного прилива энергии… Мы немедленно должны решить вопрос: ждать ли исхода сражения, или воспользоваться тем, что нас никто, видимо, не охраняет, и постараться пешком дойти до железной дороги… Оратора ограничиваю одной минутой.

Тогда заговорили все сразу. Одни указывали на

то, что если разбойники нагонят их в открытой степи, то, безусловно, всех уничтожат. Другие — что в побеге есть все-таки доля спасения. Третьи, уверенные в победе немцев, настаивали — ждать конца сражения. Когда опять загрохотало за холмами, все примолкли и, мучительно морщась, глядели туда, где ничего не было видно, только лениво вертелись крылья мельниц. Обручев произнес четкую речь, в которой сгруппировал все противоречия. Обе дамы смотрели ему в рот как проповеднику. Ничего не решив, пассажиры продолжали стоять среди кур и воробьев на пустынной улице, где ни одна душа не задумается пожалеть своего же, русского… Какое там! Вон простоволосая баба выглянула в окошко, зевнула, отвернулась. Вышел из-за угла хаты сердитый мужик распояской, поглядел мимо, поднял кусок глины, изо всей силы бросил в чужого кабана. И так же равнодушно плавающие над селом коршуны поглядывали на ограбленных, никому здесь не нужных горожан.

За холмом поднялось облачко пыли. От мельниц поскакал и скрылся верховой. Кое-кто из пассажиров предложил вернуться назад в волостное управление, где все провели эту ночь. Обе дамы ушли первыми. Когда из-за холмов

появились мчавшие во весь дух тройки, — ушли и остальные. На улице остались Катя и учитель физики, мужественно скрестивший руки под плащом.

Троек было всего четыре или пять. Они обогнули озеро и появились в селе. Везли раненых. Передняя остановилась у окон хаты. Правивший конями рослый партизан в расстегнутом кожухе крикнул:

— Надежда, твоего привезли.

Из хаты выбежала баба, срывая с себя фартук, заголосила низким голосом, припала к тачанке. С нее слез до зелени бледный парень, обхватил бабу за шею, уронив голову, сгибаясь поплелся в хату. Тройка подъехала к другому двору, откуда выскочили три пестро разодетые девки.

— Берите, лебеди, своего — легко раненный, — весело крикнул им возница. После этого он повернул тройку шагом, посматривая, куда бы завезти последнего раненого. В тачанке сидел с зажмуренными глазами Мишка Соломин, голова его была обвязана окровавленными лохмотьями рубашки, зубы стиснуты.

Вдруг возница остановил коней:

— Тпру… Батюшки, никак вы! Екатерина Дмитриевна?..

Этого Катя никак уж здесь не ждала. Задохнулась от волнения, побежала к тачанке. В ней стоял, — широко раздвинув ноги, уперев одну руку в бок, в другой держа ременные вожжи, — Алексей Красильников. На щеках его кудрявилась борода, светлые глаза глядели весело. На поясе — гранаты, пулеметная лента поверх кожуха, за плечами кавалерийская винтовка.

— Екатерина Дмитриевна… Как же вы к нам попали? Вы в чьей хате? Энтой? У Митрофана? — мой троюродный брат, тоже Красильников. Вот, глядите: Мишку жалко, — полголовы шрапнелью разворотило…

Катя шла рядом с тачанкой. Алексей был весь еще горячий, пьяный после боя. Блестел глазами, зубами, улыбкой.

— Германцев вчистую искрошили… Вот дурни… Три раза напарывались на наши пулеметы. Лежат, голубчики, по всему полю… Батьке теперь есть во что армию одеть… Тпр-рру… Митрофан! Вылезай из берлоги… Принимай раненого героя… А вы вот что, Екатерина Дмитриевна, от этого дома не отбивайтесь. У нас здесь нехорошо…

На колокольне ударил малиновый звон. Захлопали калитки по селу, раскрылись ставни, на улицу побежали женщины, вышли осторожные

мужики, взялось непонятно откуда великое множество народа; с песнями и говором пошли на шлях — встречать победоносную махновскую армию.

Алексей Красильников вместе с Катей отнес полумертвого Мишку на Митрофанов двор, положил его в холодке, в летней клети, на кровать Александры. Катя занялась перевязкой, с трудом отодрала от волос заскорузлое от крови тряпье. Мишка только хрустел зубами. Когда начали промывать страшную рану с правой стороны черепа, Александра, державшая таз, ахнула и зашаталась. Алексей, схватив таз, отпихнул ее.

— Торчит, видите, сбоку востренькая косточка, — сказал он Кате. — Сашка, принеси сахарные щипцы…

— Ой, нету, сломались.

Катя ногтями схватила осколок косточки, торчавший в ране. Потянула. Мишка зарычал. Это был, несомненно, осколок. Ногти ее скользили, она перехватила глубже. Вытащила.

Алексей шумно вздохнул, засмеялся:

— Вот как воюем — по-мужицки!..

Чистым полотном забинтовали Мишкину голову.

Весь мокрый, дрожа мелкой дрожью, он лег под

тулуп и открыл глаза. Алексей нагнулся к нему:

— Ну, как, жив будешь?

— Вчера ей хвастал, вот и нахвастал, — помертвело улыбаясь, проговорил Мишка. Он смотрел на Катю.

Она вытирала руки и тоже подошла и наклонилась к нему. Он пошевелил губами:

— Алеша, побереги ее.

— Знаю, знаю.

— Я дурное над ней задумал… В город ее надо отправить.

Он опять уставился на Катю почти исступленным взором. Он преодолевал боль и жар лихорадки как пустяк, ерунду, досаду. Прикосновение смерти разметало в нем все вихри страстей и противоречий. Он почувствовал в эту минуту, что не пьяница он и злодей, а взметнувшаяся, как птица в бурю, российская душа и что для геройских дел он пригоден не хуже другого, — по плечу ему и высокие дела…

Алексей сказал тихо:

— Теперь пускай спит. Ничего, — парень горячий, отлежится.

Катя вышла с Алексеем во двор. Продолжалось все то же странное состояние сна наяву под необъятным небом в этой горячей степи, где пахло

древним дымом кизяка, где снова после вековой стоянки рыскал на коне человек, широко скаля зубы вольному ветру, где страсти утолялись, как жажда, полной чашей.

Ей не было страшно. Свое горе свернулось комочком, никому, да и ей самой, здесь не нужное. Позови ее сейчас на жертву, на подвиг, она бы пошла с тою же легкостью, не думая. Скажи ей: надо умереть, — ну что же, — только вздохнула бы, подняв к небу ясные глаза.

— Вадим Петрович убит, — сказала она. — Я в Москву не вернусь, там у меня — никого… Ничего нет… Что с сестрой — не знаю… Думала куда-нибудь деться — в Екатеринославе, может быть…

Расставив ноги, Алексей глядел в землю. Покачал головой:

— Зря пропал Вадим Петрович, хороший был человек…

— Да, да, — сказала Катя, и слезы наполнили ее глаза. — Он был очень хорошим человеком.

— Не послушались вы меня тогда. Конечно, мы — за свое, и вы — за свое. Тут обижаться не на что. Но куда же воевать против народа! Разве мы сдадимся!.. Видели сегодня мужиков? А справедливый был человек…

Катя сказала, глядя на свесившуюся из-за плет-

ня тяжелую ветвь черешни:

— Алексей Иванович, посоветуйте мне, что делать? Жить ведь нужно… — Сказала и испугалась, — слова улетели в пустоту. Алексей ответил не сразу:

— Что делать? Ну, вопрос самый господский. Это как же так? Образованная женщина, умеете на разных иностранных языках, красавица, и спрашиваете у мужика — что делать?

Лицо у него стало презрительным. Он тихо побрякивал гранатами, висевшими у пояса. Катя поджалась. Он сказал:

— В городе дела для вас найдутся. Можно в кабак — петь, танцевать, можно — кокоткой, можно и в канцелярию — на машинке. Не пропадете.

Катя опустила голову, — чувствовала, что он смотрит на нее, и от этого взгляда не могла поднять головы. И, как и тогда с Мишкой, она внезапно поняла, почему взгляд Алексея так зло уперся ей в темя. Не такое теперь было время, чтобы прощать, миловать. Не свой, — значило — враг. Спросила, как ей жить. Спросила у бойца, еще горячего от скачки, от свиста пуль, от хмеля победы… Как жить? И Кате диким показался этот вопрос. Спросить — с каким другом, за какую волю лететь по степи в тачанке? — вот тут бы

добром сверкнули его глаза…

Катя поняла и пустилась на хитрость, как маленький зверек. За эти сутки в первый раз попыталась защищаться:

— Плохо вы меня поняли, Алексей Иванович. Не моя вина, что меня гоняет, как сухой лист по земле. Что мне любить? Чем мне дорожить? Не научили меня, так и не спрашивайте. Научите сначала. (Он перестал постукивать гранатами, значит — насторожился, прислушался.) Вадим Петрович против моей воли ушел в белую армию. Я не хотела этого. И он мне бросил упрек, что у меня нет ненависти… Я все вижу, все понимаю, Алексей Иванович, но я — в сторонке… Это ужасно. В этом вся моя мука… Вот почему я вас спросила, что мне делать, как жить…

Она помолчала и потом открыто, ясно взглянула в глаза Алексею Ивановичу. Он моргнул. Лицо стало простоватым, растерянным, точно его здорово провели. Рука полезла в затылок, заскребла.

— Это — драма, это вы правильно, — сказал он, морща нос. — У нас — просто. Брат убил у меня во дворе германца, хату подожгли и — ушли. Куда? К атаману. А вы, интеллигенция… Действительно…

Катина хитрость удалась. Алексей Иванович,

видимо, намеревался тут же разрешить проклятый вопрос: за какую правду бороться таким, как Катя, — безземельным и безлошадным.

Это было бесплодное занятие у плетня под черешней, на которую глядела Катя. Ей захотелось сорвать две, висевшие сережкой, черные ягоды, но она продолжала тихо стоять перед Красильниковым, только в больших глазах ее, озаренных небом, мелькали искорки юмора.

— Если мы, мужики, вас, городских, кормим, — значит, вам нужно стоять за нас, — сказал Алексей Иванович, усиливая впечатление решительным жестом. — Мы, крестьянство, против немцев, против белых, против коммунистов, но за сельские вольные Советы. Понятно?

Она кивнула. Он продолжал говорить. Тогда она поднялась на цыпочки и левой рукой, так как на правой было разорвано под мышкой, сорвала две ягоды: одну положила в рот, другую стала крутить за хвостик.

— Быть бы мне деревенской — все бы стало ясно, — сказала она и выплюнула косточку. — Сколько раз слышала: родина, Россия, народ, а что это такое, — вот вижу в первый раз. — Она съела вторую ягоду, оглядывая Алексея Ивановича, его золотистую на свету бородку, раскинутый на гру-

ди кожух, крепкие ноги, страшное вооружение.

— Народ, народ, — проговорил он, все больше смущаясь, — невидаль, конечно, небольшая… Но своего не отдадим. — Он крепко схватился за кол, торчавший из плетня, пробовал — прочен ли. — Жестоко будем воевать хоть со всем светом… Вам, Екатерина Дмитриевна, не меня — наших бы анархистов послушать, они мастера говорить… Только уж… (Брови его шевельнулись, глаза пытливо скользнули по Кате.) Беда с ними — ерники неудержимые, алкоголики… Пожалуй, что вас не стоит им и показывать…

— Пустяки, — сказала Катя.

— То есть как пустяки?

— Так я не маленькая, с этим ко мне не сунешься.

— Это вы хорошо говорите…

У Кати дрогнул подбородок, улыбаясь потянулась опять к черешневой ветке. Чувствовала, как все тело пронизывает, ласкает солнечный зной. И это был сон наяву.

— Все-таки, — сказала она, — что же я могла бы у вас делать, как вы думаете, Алексей Иванович?

— По просветительной части… У батьки заводится политотдел… Говорят, газету свою хочет завести.

— Ну, а вы?

— Я-то?.. (Он опять взялся за кол, тряхнул плетень.) Я простой боец, возничий на пулеметной тачанке, мое место — в бою… Вы, Екатерина Дмитриевна, сначала пообсмотритесь, сразу, конечно, не решайте. Я вас сведу с невесткой, братаниной женой Матреной. Мы вас, что ли, в семью примем…

— А батько Махно приказал мне прийти вечером ногти ему чистить.

— Что?! — Алексей сразу схватился обеими руками за пояс под кожаном, даже нос у него заострился. — Ногти?.. А вы что ему ответили?

— Ответила, что я — пленная, — спокойно сказала Катя.

— Ладно. Пошлет за вами — идите. Но только я там буду…

С крыльца в эту минуту, трепля фартуком, сбежала толстая Александра.

— Едут, едут! — закричала она, кидаясь отворять ворота. Издалека были слышны крики «ура», отдельные выстрелы, топот коней. Возвращался батько с армией. Катя и Алексей вышли на улицу. Туча пыли поднималась над шляхом. На буграх, мимо мельниц, мчались всадники, тройки.

Головная часть армии входила в село. Кругом

крутились мальчишки, бежали девки. Мокрые, вспененные лошади раздували боками. Махновцы стояли на телегах, в пыли, в поту, с заломленными шапками.

В тачанке с развевающимися краями персидского ковра ехал Махно. Он, подбоченясь и держа у бедра баранью шапку, сидел на снарядном ящике. Бледное лицо его застыло в напряжении, запекшиеся губы были сжаты.

За ним во второй телеге ехали шесть человек, городского вида — в пиджаках, в мягких шляпах, в соломенных фуражечках, все с длинными волосами, с бородками, в очках: анархисты из штаба и политотдела.

8

Пять месяцев Даша Телегина прожила одна в опустевших комнатах. Иван Ильич, уезжая на фронт, оставил ей тысячу рублей, но этих денег хватило ненадолго. По счастью, в квартиру ниже этажом, откуда еще в январе бежал с семьей важный петербургский сановник, вселился бойкий иностранец Матте, скупавший картины, мебель и всякую всячину.

Даша продала ему двуспальную постель, несколько гравюр, фарфоровые безделушки. Она равнодушно расставалась с вещами, хранившими в себе, как старый запах, отболевшие воспоминания. С прошлым все, все было покончено.

На деньги, вырученные от продажи, она прожила весну и лето. Город пустел. В часе езды от Петербурга, за Сестрой-рекой, начинался фронт. Правительство переехало в Москву. Дворцы глядели в Неву расстрелянными, пустынными окнами. Улицы не освещались. Милиционерам не было большой охоты охранять покой все равно уже обреченных буржуев. По вечерам появлялись

на улицах страшные люди, каких раньше никто и не видывал. Они заглядывали в окна, бродили по темным лестницам, пробуя ручки дверей. Не дай бог, если кто не уберегся, не заложился на десять крючков и цепочек. Слышался подозрительный шорох, и в квартиру проникали неизвестные. «Руки вверх!» — бросались на обитателей, вязали электрическими проводами и затем не спеша выносили узлы с добром.

В городе была холера. Когда поспели ягоды, стало совсем страшно: люди падали в корчах на улицах и на рынках. Повсюду шептались. Ждали неслыханной беды. Говорили, что красноармейцы сажают на картуз пятиконечную звезду кверху ногами, — и это есть антихристова печать, и будто в запертой часовне на мосту лейтенанта Шмидта стал появляться «белый муж», — и это к тому, что беды ждать надо от великих вод. С мостов указывали на погасшие заводские трубы, — в багровом закате они торчали, как «чертовы пальцы».

Фабрики закрывались. Рабочие уходили в продовольственные отряды, иные — по деревням. На улицах между булыжниками зазеленела травка.

Даша выходила из дому не каждый день и то только по утрам — на рынок, где бессовестные

чухонки заламывали за пуд картошки две пары брюк. Все чаще на рынках появлялись красногвардейцы и стрельбой в воздух разгоняли пережитки буржуазного строя — чухонок с картошкой и дамочек со штанами и занавесками. С каждым днем труднее становилось добывать провизию. Иногда выручал тот же Матте, выменивая старинные вещицы на консервы и сахар.

Даша старалась меньше есть, чтобы меньше было хлопот. Вставала рано. Что-нибудь шила, если бывали нитки, или брала книжку, помеченную тринадцатым, четырнадцатым годом, читала — только чтобы не думать; но больше всего думала, сидя у окна: вернее, мысли ее блуждали вокруг темной точки. Недавнее душевное потрясение, отчаяние, тоска — все словно сжалось теперь в этот посторонний комочек в мозгу: остаток болезни. Она так похудела, что стала похожа на шестнадцатилетнюю девочку. Да и всю себя чувствовала снова по-девичьи, но уже без девичьей игры.

Проходило лето. Кончались белые ночи, и мрачнее разливались закаты за Кронштадтом. В открытое окно с пятого этажа далеко было видно: пустеющие улицы, куда опускался ночной сумрак, темные окна домов. Огни не зажигались.

Редко слышались шаги прохожего.

Даша думала: что же будет дальше? Когда кончится это оцепенение? Скоро осень, дожди, снова завоет студеный ветер над крышей. Нет дров. Шуба продана. Может быть, вернется Иван Ильич… Но будет снова — тоска, краснеющие угольки в лампочках, ненужная жизнь.

Найти силы, стряхнуть оцепенение, уйти из этого дома, где она заживо похоронена, уехать из этого умирающего города!.. Тогда должно же случиться что-то новое в жизни. Первый раз за этот год Даша подумала о «новом». Она поймала себя на этой мысли, взволновалась, изумилась, будто снова сквозь завесу безнадежного уныния почудились отблески сияющего простора — того, что пригрезился ей однажды на волжском пароходе.

Тогда настали дни грусти об Иване Ильиче: она жалела его по-новому, по-сестриному, с жалостью вспоминала его терпеливые заботы, его, в конце концов, никому не мешающее добродушие.

Даша отыскала в книжном шкафу три белых томика стихов Бессонова — совсем истлевшее воспоминание. Прочла их перед вечером, в тишине, когда мимо окна летали ласточки, как черные стрелки. В стихах она нашла слова о своей грусти, об одиночестве, о темном ветре,

который будет посвистывать над ее могилой… Даша помечтала, поплакала. Наутро достала из сундука, из нафталина, платье, сшитое к свадьбе, и начала его переделывать. Как и вчера, летали ласточки, светило бледное солнце. В тишине далеко раздавались редкие удары, иногда — треск, тяжело что-то падало на мостовую: должно быть, в переулке ломали деревянный дом.

Даша не торопясь шила. Наперсток все соскальзывал у нее с похудевшего пальца, один раз чуть не упал за окно. Вспомнилось, как с этим наперстком она сидела на сундуке в прихожей у сестры, ела мармелад с хлебом. Это было в четырнадцатом году. Катя поссорилась с мужем и уезжала в Париж. На ней была маленькая шапочка с трогательно-независимым перышком. Уже в дверях она обернулась, увидела Дашу на сундуке, спохватилась. «Данюша, едем со мной…» Даша не поехала. А теперь… Перенестись в Париж… Даша знала его по Катиным письмам: голубой, шелковый, пахнущий, как коробочка из-под духов… Она шила и вздыхала от волнения. Уехать!.. Говорят, поездов нет, за границу не выпускают… Пробраться бы пешком, идти с котомкой через леса, горы, поля, синие реки, из страны в страну, в дивный, изящный город…

У нее закапали слезы. Какие глупости, ах, какие глупости! Повсюду война. Немцы стреляют в Париж из огромной пушки. Размечталась! Разве справедливо — не давать человеку жить спокойно и радостно… «Что я сделала им?..» Наперсток закатился под кресло, солнце расплылось сквозь слезы, с пустынным свистом носились ласточки: этим-то хоть бы что, — были бы мухи и комары… «А я уйду все-таки, уйду!» — плакала Даша…

Затем в прихожей послышалось несколько редких и настойчивых ударов в дверь. Даша положила иголку и ножницы на подоконник, вытерла глаза скомканным шитьем, бросила его в кресло и пошла спросить — кто стучит…

— Здесь живет Дарья Дмитриевна Телегина?..

Даша вместо ответа нагнулась к замочной скважине. С той стороны тоже нагнулись, и в скважину осторожный голос проговорил:

— Ей письмо из Ростова…

Даша сейчас же открыла дверь. Вошел неизвестный в измятой солдатской шинели, в драном картузишке. Даша струсила, отступила, протянув руки. Он поспешно сказал:

— Ради бога, ради бога… Дарья Дмитриевна, вы меня не узнаете?..

— Нет, нет…

— Куличек, Никанор Юрьевич… помощник присяжного поверенного. Помните Сестрорецк?

Даша опустила руки, вглядываясь в остроносое, давно не бритое, худое лицо. Морщинки у глаз, внимательных и быстрых, говорили о привычной осторожности, неправильный рот — о решительности и жестокости. Он был похож на зверька, высматривающего опасность.

— Неужели забыли, Дарья Дмитриевна… Был тогда помощником у Николая Ивановича Смоковникова, покойного мужа вашей сестры… Был в вас влюблен, вы меня тогда еще здорово отшили… Вспоминаете? — Он вдруг улыбнулся как-то по-позабытому, по-«довоенному», простодушно, и Даша все вспомнила: плоский песчаный берег, солнечную мглу над теплым и ленивым заливом, себя — «недотрогу», девичий бант на платье, влюбленного Куличка, которого она от всей своей высокомерной девственности презирала… Запах высоких сосен, день и ночь важно шумящих на песчаных дюнах…

— Вы очень изменились, — задрожавшим голосом сказала Даша и протянула ему руку. Куличек ловко подхватил ее, поцеловал. Несмотря на шинелишку, сразу было видно, что эти годы служил в кавалерии.

— Разрешите передать письмо. Разрешите пройти куда-нибудь снять сапог… Оно, разрешите, у меня в портянке. — Он многозначительно взглянул и прошел за Дашей в пустую комнату, где сел на пол и, морщась, принялся стаскивать грязный сапог.

Письмо было от Кати, то самое, которое она передала в Ростове подполковнику Тетькину.

С первых же строк Даша вскрикнула, схватилась за горло… Вадим убит!.. Не поспевая глазами, пролетела по письму. Жадно перечла еще раз. В изнеможении села на ручку кресла. Куличек скромно стоял в отдалении.

— Никанор Юрьевич, вы видели мою сестру?

— Никак нет. Письмо мне было передано десять дней назад одним лицом; оно сообщило, что Екатерина Дмитриевна уже больше месяца как покинула Ростов…

— Боже мой! Где же она? Что с ней?

— К сожалению, не было возможности расспросить.

— Вы знали ее мужа? Вадим Рощин!.. Убит… Катя пишет, — ах, как это ужасно!

Куличек удивленно поднял брови. Письмо так дрожало у Даши в худенькой руке, что он взял его, пробежал те строки, где говорилось о Валерьяне

Оноли, рассказавшем о смерти мужа… Угол рта у Куличка недобро пополз кверху.

— Я всегда думал, что Оноли способен на подлость… По его сообщению выходит, что Рощин убит в мае. Так? Очень странно… Сдается мне — я видел его несколько позже.

— Когда? Где?

Но тут Куличек вытянул хищный носик, колюче уставился на Дашу. Впрочем, продолжалось это лишь секунду, Дашины пылающие волнением глаза, цепляющиеся холодные пальчики яснее ясного говорили, что тут дело верное: хотя и жена красного офицера, но не предаст. Куличек спросил, придвигаясь к Дашиным глазам:

— Мы одни в квартире? (Даша поспешно закивала: да, да.) Послушайте, Дарья Дмитриевна, то, что я скажу, ставит мою жизнь в зависимость от…

— Вы деникинский офицер?

— Да.

Даша хрустнула пальцами, взглянула с тоской в окно — в эту недостижимую синеву.

— У меня вам нечего опасаться…

— В этом я был уверен… И хочу просить у вас ночлега на несколько дней.

Он проговорил это твердо, почти угрожающе.

Даша нагнула голову.

— Хорошо…

— Но, если вы боитесь… (Он отскочил.) Нет? Не боитесь? (Придвинулся.) Я понимаю, понимаю… Но вам бояться нечего… Я очень осторожен… Буду выходить только по ночам… Ни одна душа не знает, что я в Питере… (Он вытащил из-за подкладки картуза солдатский документ.) Вот… Иван Свищев. Красноармеец. Подлинник. Своими руками снял… Так вы хотели знать о Вадиме Петровиче? По-моему, тут какая-то путаница…

Куличек схватил Дашины руки, сжал:

— Так вы, стало быть, с нами, Дарья Дмитриевна? Ну, спасибо. Вся интеллигенция, все оскорбленное, замученное офицерство собираются под священные знамена Добрармии. Это армия героев… И вы увидите, — Россия будет спасена, и спасут ее белые руки. А эти хамские лапищи — прочь от России! Довольно сентиментальностей. Трудовой народ! Сейчас проехал полторы тысячи верст на крыше вагона. Видел трудовой народ! Вот зверье! Я утверждаю: только мы, ничтожная кучка героев, несем в своем сердце истинную Россию, и мы штыком приколем наш закон на портале Таврического дворца…

Дашу оглушил поток слов… Куличек пронзал

черным ногтем пространство, летела пена с углов его рта. Должно быть, ему слишком долго пришлось помалкивать на крыше вагона.

— Дарья Дмитриевна, не буду скрывать от вас… Я послан сюда, на север, для разведки и вербовки. Многие еще не представляют себе наших сил… В ваших газетах мы — просто белогвардейские банды, жалкая кучка, которую они послезавтра окончательно сотрут с лица земли… Немудрено, что офицерство боится ехать… А вы знаете, что на самом деле происходит на Дону и Кубани? Армия донского атамана растет, как снежный ком. Воронежская губерния уже очищена от красных. Ставрополь под ударом… Со дня на день мы ждем, что атаман Краснов выйдет на Волгу, захватит Царицын… Правда, он снюхивается с немцами, но это — временно… Мы, деникинцы, идем, как на параде, на юг Кубани. Торговая, Тихорецкая и Великокняжеская нами взяты. Сорокин разбит вдребезги. Все станицы восторженно приветствуют Добрармию. Под Белой Глиной мы устроили мамаево побоище, мы наступали по таким горам трупов, что ваш покорный слуга по пояс вымок в крови.

Даша побледнела, глядя ему в глаза. Куличек высокомерно усмехнулся:

— Думаете, это — все? Это только начало расправы. Пожар перекидывается на всю страну. Самарская, Оренбургская, Уфимская губернии, весь Урал — в огне. Лучшая часть крестьянства сама организует белые армии. Вся средняя Волга в руках чехов. От Самары до Владивостока — сплошное восстание. Если бы не проклятые немцы, вся Малороссия встала бы как один человек. Города Верхнего Поволжья — это динамитные погреба, куда остается только сунуть фитиль… Большевикам я не даю и месяца жизни, не ставлю за них и ломаного гроша.

Куличек дрожал от возбуждения. Теперь он уже не казался зверьком. Даша глядела в его востроносое лицо, обожженное ветром степей, закаленное в огне боев. Это была горячая жизнь, ворвавшаяся в ее прозрачное одиночество. У Даши остро ломило виски, билось сердце. Когда он, показывая мелкие зубы, стал свертывать махорку, Даша спросила:

— Вы победите. Но не будет же война вечно…Что будет потом?

— Что потом? — Затягиваясь, он прищурился. — Потом — война с немцами до окончательной победы, мирный конгресс, куда мы входим величайшими героями, и потом — общими силами

союзников, всей Европы, восстановление России — порядка, законности, парламентаризма, свободы… Это в будущем… Но на ближайшие дни…

Он вдруг схватился за правую сторону груди. Ощупал что-то под шинелью. Осторожно вынул сломанную пополам картонку, — крышку от папиросной коробки, — повертел в пальцах. Опять уколол Дашу зрачками.

— Я не могу рисковать… Видите ли, в чем дело… У вас тут обыски на улицах… Я вам передам одну вещь. — Он осторожно разложил картоночку и вынул небольшой треугольник, вырезанный из визитной карточки. На треугольнике были написаны от руки две буквы: О и К… — Спрячьте это, Дарья Дмитриевна, храните, как святыню… Я вас научу, как этим пользоваться… Простите… Вы не боитесь?

— Нет.

— Молодчина, молодчина!

Сама того не зная, просто подхваченная стремительной волей, Даша попала в самую гущу заговора так называемого «Союза защиты родины и свободы», охватившего столицы и целый ряд городов Великороссии.

Поведение Куличка — эмиссара деникинской ставки– было легкомысленным, почти неверо-

ятным: с первых же слов серьезно довериться малознакомой женщине, жене красного офицера. Но он когда-то был влюблен в Дашу и теперь, глядя в ее серые глаза, не мог не верить, если глаза сказали: «доверьтесь».

В то время вдохновение, а не спокойное раздумье двигало человеческой волей. Ревел ураган событий, бушевало человеческое море, каждый чувствовал себя спасителем гибнущего корабля и, размахивая револьвером на пляшущем мостике, командовал — направо или налево руля. И все лишь *казалось* тогда, все было призрачным. Вокруг необъятной России бродили белогвардейские миражи. Глаза помутились от ненависти. То, что хотелось, — возникало в мгновенных декорациях миража.

Так, близкая гибель большевиков казалась несомненной; казалось, войска интервентов уже плыли с четырех сторон света на помощь белым армиям; казалось, сто миллионов русских мужиков готовы были молиться на Учредительное собрание; города единой и неделимой империи только и ждали, казалось, знака, чтобы, разогнав совдепы, на следующий день восстановить порядок и парламентарную законность.

Обманывали себя, грезили миражами все: от

петербургской барыни, удравшей с одной переменой белья на юг, до премудрого профессора Милюкова, с высокомерной улыбкой ожидающего конца событий, им самим установленных в исторической перспективе.

Одним из верующих в утешительные миражи был так называемый «Союз защиты родины и свободы». Основан он был в начале весны восемнадцатого года Борисом Савинковым, после самоубийства наказного атамана Каледина и ухода из Ростова корниловской армии. Союз был как бы нелегальной организацией Добрармии.

Во главе его стоял неуловимый и законспирированный Савинков. Он расхаживал с крашеными усами по Москве, носил английский френч, желтые гетры и защитное пальто. Союз организовался по-военному: штаб, дивизии, бригады, полки, контрразведка и всевозможные службы. В учреждениях штаба сидел полковник Перхуров.

Вербовка в члены союза происходила в строгой конспирации. Один человек мог знать только четырех. В случае провала могла быть арестована пятерка, дальше концов не шло. Пребывание штаба и имена вождей для всех оставались тайной. К желающим вступить в союз являлся на квартиру начальник полка или части, опрашивал, выда-

вал денежный аванс и заносил шифрованный адрес к себе на карточку. Эти карточки с кружками, обозначающими количество членов, и адресами еженедельно поступали в штаб. Смотр силам устраивался на бульварах, около памятников, причем члены организации должны были приходить или в шинелях, особенным образом распахнутых, или с ленточкой в условном месте на шинели. Служащим по связи выдавался треугольник из визитной карточки с двумя буквами, обозначающими: первая — пароль, вторая — город. По представлении треугольник прикладывался к кусочку картона, к тому месту, откуда был вырезан. Союз располагал значительными силами разведки. В апреле на подпольной конференции было постановлено прекратить саботаж и идти работать в советские учреждения. Таким образом, члены союза проникли к центру государственного аппарата. Часть их устроилась в московской милиции. В Кремле был посажен осведомитель. Они просочились в военный контроль и даже в Высший военный совет. Кремль, казалось, был крепко опутан их сетями.

В то время представлялось неминуемым взятие Москвы немецкими войсками фельдмаршала Эйхгорна. И хотя среди членов союза было

сильное германофильское течение — вера в одни только немецкие штыки на свете, — общая ориентация была на союзников. В штабе союза назначили даже день вступления в Москву немцев — пятнадцатое июня. Поэтому было решено, отказавшись от захвата Кремля и Москвы, вывести войсковые части союза в Казань, взорвать все подмосковные мосты и водокачки, в Казани, Нижнем, Костроме, Рыбинске, Муроме поднять восстание, соединиться с чехами и образовать восточный фронт, опираясь на Урал и богатое Заволжье.

Даша поверила всему, до последнего слова, о чем говорил Куличек: русские патриоты — или, как он назвал их, рыцари духа — сражались за то, чтобы исчезли навсегда наглые чухонки с картошкой, чтобы улицы в Петербурге ярко осветились, и пошла бы по ним веселая, нарядная толпа, чтобы можно было в минуту уныния надеть шапочку с перышком, уехать в Париж… Чтобы на поле у Летнего сада не прыгали «попрыгунчики». Чтобы осенний ветер не посвистывал над могилой Дашиного сына.

Все это ей обещал Куличек в разговоре за чаем. Он был голоден, как собака, уничтожил половину запаса консервов, ел даже муку с солью. В сумер-

ки он незаметно исчез, захватив ключ от двери.

Даша ушла спать. Занавесила окно, легла, и, — как это бывает в утомительные часы бессонницы, — мысли, образы, воспоминания, внезапные догадки, горячие угрызения понеслись, сбивая, перегоняя друг друга… Даша ворочалась, совала руки под подушку, ложилась на спину, на живот… Одеяло жгло, пружины дивана впивались в бок, простыни скользили на пол…

Скверная была ночь, — долгая, как жизнь. Темное пятнышко в Дашином мозгу ожило, пустило ядовитые корешки во все тайные извилины. Но зачем были все эти угрызения, чувство ужасной неправоты, виновности? Если бы понять!

И вот, попозже, когда посинела занавеска на окне, Даша устала крутиться в фантастическом хороводе мыслей, ослабела и, затихнув, взяла и просто и честно осудила себя с начала до конца, — зачеркнула себя всю.

Села на постели, собрала волосы в узел, сколола их, опустила голые худые руки в колени и задумалась… «Одиночка, мечтательница, холодная, никого не любившая женщина — прощай, черт с тобой, не жалко… И хорошо, что тебя напугали „попрыгунчики“ у Летнего сада: мало, страшнее бы надо напугать… Теперь — исчезнуть… Теперь,

подхваченная ветром, лети, лети, душа моя, куда велят, делай, что велят… Твоей воли нет… Ты одна из миллиона миллионов… Какой покой, какое освобождение!..»

Куличек пропадал двое суток. Без него приходило несколько человек, все рослые, в потертых пиджаках, несколько растерянные, но крайне воспитанные люди. Нагибаясь к замочной скважине, они говорили пароль. Даша впускала их. Узнав, что «Ивана Свищева» дома нет, они уходили не сразу: один вдруг принимался рассказывать о своих семейных бедствиях, другой, попросив разрешения курить, осторожно, как холеную, вытаскивал из портсигара с монограммами советскую вонючку и, грассируя, ругательски ругал «рачьих и собачьих депутатов». Третий пускался в откровенность: и моторный катер у него приготовлен на Крестовском, у дворца Белосельских-Белозерских, и драгоценности им удалось выцарапать из сейфа, но вот дети сваливаются в коклюше… Адски не везет!..

Видимо, всем было приятно поболтать с худенькой, большеглазой, милейшей молодой женщиной. Уходя, ей целовали руку. Дашу удивляло только: уж очень простоваты были эти заговорщики, совсем как из какой-нибудь глу-

пой комедии… Почти все они справлялись в осторожных выражениях — не привез ли «Иван Свищев» подъемных сумм? В конце концов, они были больше чем уверены, что «глупейшая история с большевиками» очень скоро кончится. «Немцам занять Петроград, ну, право же, не стоит усилий».

Наконец появился Куличек — опять голодный, грязный и весьма озабоченный. Он справился — кто приходил без него. Даша подробно передала. Он оскалился:

— Подлецы! За авансами приходили… Гвардия! Дворянскую задницу лень отодрать от кресла, желают, чтобы немцы их пришли освободить: пожалуйте, ваши сиятельства, только что повесили большевиков, все в порядке… Возмутительно, возмутительно… Из двухсоттысячного офицерского корпуса нашлось истинных героев духа — три тысячи у Дроздовского, тысяч восемь у Деникина и у нас, в «Союзе защиты родины», пять тысяч. И это все… А где остальные? Продали душу и совесть Красной Армии… Другие варят гуталин, торгуют папиросами… Почти весь главный штаб у большевиков… Позор!..

Он наелся муки с солью, выпил кипятку и ушел спать. Рано поутру он разбудил Дашу. Когда,

наскоро одевшись, она пришла в столовую, Куличек, гримасничая, бегал около стола.

— Ну, вот вы? — нетерпеливо крикнул он Даше. — Вы могли бы рискнуть, пожертвовать многим, испытать тысячи неудобств?..

— Да, — сказала Даша.

— Здесь я никому не доверяю… Получены тревожные вести… Нужно ехать в Москву. Поедете?

Даша только заморгала, подняла брови… Куличек подскочил, усадил ее у стола, сел вплотную, касаясь ее коленками, и стал объяснять, кого нужно повидать в Москве и что на словах передать о петроградской организации. Говоря все это с медленной яростью, он вдалбливал Даше в память слова. Заставил ее повторить. Она покорно повторила.

— Великолепно! Умница! Нам именно таких и надо. — Он вскочил, шибко потирая руки. — Теперь, как быть с вашей квартирой? Вы скажете в домовом комитете, что на неделю уезжаете в Лугу. Я здесь останусь еще несколько дней и затем ключ передам председателю… Хорошо?

Ото всей этой стремительности у Даши кружилась голова. С изумлением чувствовала, что, не сопротивляясь, поедет куда угодно и сделает все, что велят… Когда Куличек помянул о квартире,

Даша оглянулась на буфет птичьего глаза: «Безобразный, унылый буфет, как гроб...» Вспомнились ласточки, заманивавшие в синий простор. И ей представилось: счастье улететь в дикую, широкую жизнь из этой пыльной клетки...

— Что квартира? — сказала она. — Может быть, я и не вернусь. Делайте, как хотите.

Один из тех, кто приходил в отсутствие Куличка, — длинный, с длинным лицом и висячими усами, любезный человек, — усадил Дашу в жесткий вагон, где были выбиты все стекла. Нагнувшись, пробасил в ухо: «Ваша услуга не будет забыта», — и исчез в толпе. Перед отходом мимо поезда побежали какие-то люди, с узлами в зубах полезли в окна. В вагоне стало совсем тесно. Залезали на места для чемоданов, заползали под койки и там чиркали спичками, с полным удовольствием дымили махоркой.

Поезд медленно тащился мимо туманных болот с погасшими трубами заводов, мимо заплесневелых прудов. Проплыла за солнечным светом вдали Пулковская высота, где, забытые всеми на свете, премудрые астрономы и сам семидесятилетний Глазенап продолжали исчислять количество звезд во Вселенной. Побежали сосновые поросли, сосны, дачи. На остановках

никого больше не пускали в вагон, — выставили вооруженную охрану. Теперь было хоть и шумно, но мирно.

Даша сидела, тесно сжатая между двумя фронтовиками. Сверху, с полки, свешивалась веселая голова, поминутно ввязываясь в разговор.

— Ну, и что же? — спрашивали на полке, давясь со смеха. — Ну, и как же вы?

Напротив Даши, между озабоченных и молчаливых женщин, сидел одноглазый, худой, с висячими усами и щетинистым подбородком крестьянин в соломенной шляпе. Рубашка его, сшитая из мешка, была завязана на шее тесемочкой. На поясе висели расческа и огрызок чернильного карандаша, за пазухой лежали какие-то бумаги.

Даша не следила в первое время за разговором. Но то, что рассказывал одноглазый, было, видимо, очень занимательно. Понемногу со всех лавок повернулись к нему головы, в вагоне стало тише. Фронтовик с винтовкой сказал уверенно:

— Ну да, я вас понял, вы, словом, — партизане, махновцы.

Одноглазый несколько помолчал, хитро улыбаясь в усы:

— Слыхали вы, братишечки, да не тот звон. —

Проведя ребром заскорузлой руки под усами, он согнал усмешку и сказал с некоторой даже торжественностью: — Это организация кулацкая, Махно… Оперирует он в Екатеринославщине. Там что ни двор, — то полсотни десятин. А мы — другая статья. Мы красные партизане…

— Ну, и что же вы? — спросила веселая голова.

— Район наших действий Черниговщина, по-русскому — Черниговская губерния, и северные волости Нежинщины. Понятно? И мы — коммунисты. Для нас что немец, что пан помещик, что гетманские гайдамаки, что свой деревенский кулак — одна каша… Выходит, поэтому — мешать нас с махновцами нельзя. Понятно?

— Ну да, поняли, не дураки, ты дальше-то рассказывай.

— А дальше рассказывать так… После этого сражения с немцами мы пали духом. Отступили в Кошелевские леса, забрались в такие заросли, где одни волки водились. Отдохнули немного. Стали к нам сбегаться людишки из соседних деревень. Жить, говорят, нельзя. Немцы серьезно взялись очищать округу от партизан. А в подмогу немцам — гайдамаки: что ни день, влетают в село, и по доносам кулаков — порка. От этих рассказов наших ребят такая злоба разбирала

— дышать нечем. А к этому времени подошел еще один отряд. Собралась в лесу целая армия, человек триста пятьдесят. Выбрали начальника группы — веркиевского партизана прапорщика Голту. Стали думать, в каком направлении развить дальнейшие операции, и решили взять под наблюдение Десну, а по Десне перевозилось к немцам военное снаряжение. Пошли. Выбрали местечки, где пароходы проходили у самого берега. Засели…

— Ух ты, ну и как же? — спросила голова с полки.

— А вот так же. Подходит пароход. «Стой!» — раздается в передней цепи. Капитан не исполнил приказания, — залп. Пароход, натурально, — к берегу. Мы сейчас же на палубу; поставили часовых, — и проверка документов.

— Как полагается, — сказал фронтовик.

— На пароходе груз — седла и сбруя. Везут их два полковника, один — совсем ветхий, другой — бравый, молодой. Кроме того, груз медикаментов. А это нам и нужно. Стою на палубе, проверяю документы; смотрю, подходят коммунисты Петр и Иван Петровские, из Бородянщины. Я сразу догадался, не подал виду, что с ними знаком. Обошелся официально, строго: «Ваши документы…»

Петровский подает мне паспорт и с ним записку на папиросной бумаге: «Товарищ Пьявка, я уезжаю с братом из Чернигова, еду в Россию и прошу вас, — ведите себя по отношению к нам беспощадно, чтобы не обратить внимания окружающих, потому что вокруг — шпики...» Хорошо... Проверив документы, разгрузили сбрую, седла, аптеку, а также пятнадцать ящиков вина для подкрепления наших раненых. Надо отдать справедливость пароходному врачу: вел себя геройски. «Не могу, кричит, отдать аптеки, это противоречит всем законам и, между прочим, международному трактату». Наш ответ был короткий: «У нас у самих раненые, — значит, не международные, а человеческие трактаты требуют: давай аптеку!..» Арестовали десять человек офицеров, сняли их на берег, а пароход отпустили. Тут же на берегу старый полковник стал плакать, проситься, чтобы не убивали, припомнил свои военные заслуги. Ну, мы подумали: «Куда его трогать, он и так сам скоро помрет». Отпустили под давлением великодушия. Он и мотанул в лес...

Голова на полке залилась радостным хохотом. Кривой подождал, когда отсмеются.

— Другой, чиновник воинского начальника, произвел на нас хорошее впечатление, бойко

отвечал на все вопросы, вел себя непринужденно, мы его тоже отпустили… Остальных увели в лес… Там расстреляли за то, что никто из них ничего не хотел говорить…

Даша глядела, не дыша, на кривого. Лицо его было спокойное, горько-морщинистое. Единственный глаз, видавший виды, сизый, с мелким зрачком, задумчиво следил за бегущими соснами. Спустя некоторое время кривой продолжал рассказ:

— Недолго пришлось посидеть на Десне — немцы нас обошли, и мы отступили на Дроздовские леса. Трофеи роздали крестьянам; вина, правда, пропустили по кружке, но остальное отдали в больницу. Левее нас в это время орудовал Крапивянский с крупным отрядом, правее — Маруня. Нашей соединенной задачей было — подобраться к Чернигову, захватить его с налета. Была бы у нас хорошая связь между отрядами… Связи настоящей не было, — и мы опоздали. Немцы что ни день гонят войска, артиллерию, кавалерию. Очень им досадило наше существование. Только они уйдут, скажем, из села, — в селе сейчас же организуется ревком, — и парочку кулаков — на осину… Тут меня послали в отряд Маруни за деньгами, — нужны были до зарезу… За продукты мы

уплачивали населению наличностью, мародерство у нас запрещалось под страхом смертной казни. Сел я на дрожки, поехал в Кошелевские леса. Здесь мы с Маруней поговорили о своих делах, получил я от него тысячу рублей керенками, еду обратно… Около деревни Жуковки, — только я в лощину спустился, — налетают на меня двое верховых, дозорные жуковского ревкома. «Куда ты — немцы!..» — «Где?» — «Да уж к Жуковке подходят». Я — назад… Лошадь — в кусты, слез с дрожек… Стали мы обсуждать — что делать? О массовом сопротивлении немцам не могло быть и речи. Их — целая колонна двигалась при артиллерии…

— Втроем против колонны — тяжело, — сказал фронтовик.

— То-то, что тяжело. И решили мы попугать только немцев. Поползли под прикрытием ржи. Видим: так вот — Жуковка, а отсюда, из лесочка, выходит колонна, человек двести, две пушки и обоз, и ближе к нам — конный разъезд. Видно, слава про партизан хорошо прогремела, что даже артиллерию на нас послали. Залегли мы в огородах. Настроение превосходное, — заранее смеемся. Вот уже разъезд в пятидесяти шагах. Я командую: «Батальон — пли!» Залп, другой…

Одна лошадь кувырком, немец ползет в крапиву. А мы — пли! Затворами стучим, шум, грохот…

У головы на полке даже глаза запрыгали — зажал рукой рот, чтобы не заржать, не пропустить слова. Фронтовик довольно усмехался.

— Разъезд ускакал к колонне, немцы сейчас же развернулись, выслали цепи, пошли в наступление по всей форме. Орудия — долой с передков, да как ахнут из трехдюймовок по огородам, а там бабы перекапывали картошку… Взрыв, земля кверху… Бабы наши… (Кривой ногтем сдвинул шляпу на ухо, не мог — усмехнулся. Голова на полке прыснула.) Бабы наши с огородов — как куры, кто куда… А немцы беглым шагом подходят к селу… Тут я говорю: «Ребята, пошутили, давай тягу». Поползли мы опять через рожь — в овраг, я сел на дрожки и без приключений уехал в Дроздовский лес. Жуковцы потом рассказывали: «Подошли, говорят, немцы к огородам, к самым плетням, да как крикнут: „Ура“… А за плетнями — нет никого… Те, кто это видел, со смеху, говорят, легли… Немцы Жуковку заняли, ни ревкомцев, ни партизан там не нашли, объявили село на военном положении. Дня через два к нам в Дроздовский лес поступило донесение, что в Жуковку вошел большой германский обоз с огневым снаряжением.

А нам патроны дороже всего… Стали мы судить, рядить, у ребят разгорелись аппетиты, решили наступить на Жуковку и огневое снаряжение отбить. Нас собралось человек сто. Из них тридцать бойцов послали на шлях, чтобы в случае удачи преградить немцам отступление на Чернигов. Остальные — колонной — пошли на Жуковку. В сумерки подползли, залегли в жите около села и выслали семь человек в разведку, чтобы они высмотрели все расположение, сообщили нам, и ночью мы сделаем неожиданный налет. Лежали мы безо всякого шума, курить запрещено. Моросил дождь, спать хочется, сыро… Ждем-ждем, стало светать… Никакого движения. Что такое? Смотрим, уж бабы начали выгонять скот в поле. И тут эти голубчики, наши разведчики, ползут — семеро… Оказывается, они, проклятые, дойдя до мельницы, прилегли отдохнуть да так и проспали всю ночь, покуда бабы не набрели на них со скотом. Наступление, конечно, сорвано… Нас взяла такая обида, что прямо-таки места себе не находили. Нужно было творить суд и расправу над разведчиками. Единогласно решили их расстрелять. Но тут они начали плакать, просить пощады и вполне сознали свою вину. Хлопцы были молодые, упущение в первый раз… И мы

решили их простить. Но предложили искупить вину в первом бою.

— Когда и простить ведь нужно, — сказал фронтовик.

— Да… Стали совещаться. Что же: не взяли Жуковку ночью, — возьмем ее днем… Операция серьезная, ребята понимали, на что идут. Рассыпались реденько, ждем — вот-вот застучат пулеметы, не ползем, а прямо чешем на карачках…

— Гыы! — сверху, с лавки.

— А навстречу нам, вместо немцев, — бабы с лукошками: пошли по ягоду, день был праздничный. И подняли нас на смех: опоздали, говорят, германский обоз часа два как ушел по куликовскому шляху. Тут мы единодушно решили догнать немцев, — хоть всем лечь в бою. Захватили с собой для самоокапывания лопаты; бабы нам блинов, пирогов нанесли. Выступили. И увязалась за нами такая масса народа, — больше, конечно, из любопытства, — целая армия. Вот что мы сделали: роздали мужикам, бабам колья и построились двумя цепями, поставили человека от человека шагов на двадцать с таким расчетом, чтобы один был вооруженный, другой с палкой, с колом, — для видимого устрашения. Растянулись

верст на пять. Я отобрал пятнадцать бойцов, между ними этих наших горе-разведчиков, и взял двух нами же мобилизованных офицеров, явных контрреволюционеров, но их предупредил, чтобы оправдали доверие и тем спасли свою жизнь. Забежали мы этой группой вперед германского обоза на шлях… И завязалось, братцы мои, сражение не на один день и не на два… (Он нехотя махнул рукой.)

— Как же так? — спросил фронтовик.

— А так… Я с группой пропустил колонну и налетел на хвост, на обоз. Отбили телег двадцать со снаряжением. Живо пополнили сумки патронами, роздали мужикам, — кому успели, — винтовки и продолжаем наступать на колонну. Мы думаем, что мы ее окружили, а оказалось, немцы нас окружили: по трем шляхам двигались к этому месту все части оружия… Разбились мы на мелкие группы, забрались в канавы. Наше счастье, что немцы развивали операцию по всем правилам большого сражения, а то бы никто не ушел… Из партизан вот я да, пожалуй, человек десять и остались живые. Дрались, покуда были патроны. И тут решили, что нам тут не дышать, надо пробираться за Десну, в нейтральную зону, в Россию. Я спрятал винтовку и под видом воен-

нопленного направился в Новгород-Северский…

— Куда же ты сейчас-то едешь?

— В Москву за директивами.

Пьявка много еще рассказывал про партизанство и про деревенское житье-бытье. «Из одной беды да в другую — вот как живем. И довели мужика до волчьего состояния: одно остается — горло грызть». Сам он был из-под Нежина, работал на свеклосахарных заводах. Глаз потерял при Керенском, во время несчастного июньского наступления. Он так и говорил: «Керенский мне вышиб этот глаз». Тогда же, в окопах, он познакомился с коммунистами. Был членом Нежинского совдепа, членом ревкома, работал в подполье по организации повстанческого движения.

Его рассказ потряс Дашу. В его рассказе была правда. Это понимали и все пассажиры, глядевшие в рот рассказчику.

Остаток дня и ночь были утомительны. Даша сидела, поджав ноги, закрыв глаза, и думала до головной боли, до отчаяния. Были две правды: одна — кривого, этих фронтовиков, этих похрапывающих женщин с простыми, усталыми лицами; другая — та, о которой кричал Куличек. Но двух правд нет. Одна из них — ошибка страш-

ная, роковая…

В Москву приехали в середине дня. Старенький извозчик ветхой трусцой повез Дашу по грязной и облупленной Мясницкой, где окна пустых магазинов были забрызганы грязью. Дашу поразила пустынность города, — она помнила его в те дни, когда тысячные толпы с флагами и песнями шатались по обледенелым улицам, поздравляя друг друга с бескровной революцией.

На Лубянской площади ветер крутил пыль. Брели двое солдат в распоясанных рубашках, с подвернутыми воротами. Какой-то щуплый, длиннолицый человек в бархатной куртке оглянулся на Дашу, что-то ей крикнул, даже побежал за извозчиком, но пылью ему запорошило глаза, он отстал. Гостиница «Метрополь» была исковырена артиллерийскими снарядами, и тут, на площади, вертелась пыль, и было удивительно увидеть в замусоренном сквере клумбу ярких цветов, непонятно кем и зачем посаженных.

На Тверской было живее. Кое-где доторговывали лавчонки. Напротив совдепа, на месте памятника Скобелеву, стоял огромный деревянный куб, обитый кумачом. Даше он показался страшным. Старичок извозчик показал на него кнутовищем:

— Героя стащили. Сколько лет в Москве езжу, и все он тут стоял. А нынче, видишь, не понравился правительству. Как жить? Прямо — ложись помирай. Сено двести рублей пуд. Господа разбежались, — одни товарищи, да и те норовят больше пешком… Эх, государство!.. — Он задергал вожжами. — Хошь бы короля какого нам…

Не доезжая Страстной, налево, под вывеской «Кафе Бом», за двумя зеркальными окнами сидели на диванах праздные молодые люди и вялые девицы, курили, пили какую-то жидкость. В открытой на улицу двери стоял, прислонясь плечом, длинноволосый, нечесаный, бритый человек с трубкой. Он как будто изумился, вглядываясь в Дашу, и вынул трубку изо рта, но Даша проехала. Вот розовая башня Страстного, вот и Пушкин. Из-под локтя у него все еще торчала на палке выцветшая тряпочка, повешенная во времена бурных митингов. Худенькие дети бегали по гранитному пьедесталу, на скамье сидела дама в пенсне и в шапочке, совсем такой, как у Пушкина за спиной.

Над Тверским бульваром плыли редкие облачка. Прогромыхал грузовик, полный солдат. Извозчик сказал, мигнув на него:

— Грабить поехали. Овсянникова, Василия Ва-

сильевича, знаете? Первый в Москве миллионер. Вчера приехали к нему вот так же, на грузовиках, и весь особняк дочиста вывезли. Василь Васильевич только покрутил головой, да и по-ошел куда глаза глядят. Бога забыли, вот как старики-то рассуждают…

В конце бульвара показались развалины гагаринского дома. Какой-то одинокий человек в жилетке, стоя наверху, на стене, выламывал киркой кирпичи, бросал их вниз. Налево громада обгоревшего дома глядела в бледноватое небо пустыми окнами. Кругом все дома, как решето, были избиты пулями. Полтора года тому назад по этому тротуару бежали в накинутых на голову пуховых платочках Даша и Катя. Под ногами хрустел ледок, в замерзших лужах отражались звезды. Сестры бежали в адвокатский клуб на экстренный доклад по поводу слухов о начавшейся будто бы в Петербурге революции. Опьяняющим, как счастье, был весенний морозный воздух…

Даша тряхнула головой: «Не хочу… Погребено…»

Извозчик выехал на Арбат и свернул налево в переулок. У Даши так забилось сердце, что потемнел свет… Вот двухэтажный белый домик с мезонином. Здесь с пятнадцатого года она жила

с Катей и покойным Николаем Ивановичем. Сюда из германского плена прибежал Телегин. Здесь Катя встретила Рощина. Из этой облупленной двери Даша вышла в день свадьбы, Телегин подсадил ее на серого лихача, — помчались в весенних сумерках, среди еще бледных огней, навстречу счастью… Окна в мезонине были выбиты. Даша узнала обои в бывшей своей комнате, они висели клочками. Из окна вылетела галка. Извозчик спросил:

— Направо, налево — как вам?

Даша справилась по бумажке. Остановились у многоэтажного дома. Парадная дверь изнутри была забита досками. Так как спрашивать ничего было нельзя, Даша долго разыскивала на черных лестницах квартиру 112-а. Кое-где при звуке Дашиных шагов приотворялись двери на цепочках. Казалось, за каждой дверью стоял человек, предупреждая обитателей об опасности.

На пятом этаже Даша постучала — три раза и еще раз, — как ее учили. Послышались осторожные шаги, кто-то, дыша в скважину, рассматривал Дашу. Дверь отворила пожилая высокая дама с ярко-синими, страшными, выпуклыми глазами. Даша молча протянула ей картонный треугольник. Дама сказала:

— Ах, из Петербурга… Пожалуйста, войдите.

Через кухню, где, видимо, давно уже не готовили, Даша прошла в большие занавешенные комнаты. В полутемноте виднелись очертания прекрасной мебели, поблескивала бронза, но и здесь было что-то нежилое. Дама попросила Дашу на диван, сама села рядом, рассматривая гостью страшными, расширенными глазами.

— Рассказывайте, — сурово-повелительно приказала она.

Даша честно сосредоточилась, честно начала передавать те неутешительные сведения, о которых ей велел рассказать Куличек. Дама стиснула красивые, в кольцах, руки на сжатых коленях, хрустнула пальцами…

— Итак, вам еще ничего не известно в Петрограде? — перебила она. Низкий голос ее трепетал в горле. — Вам неизвестно, что вчера ночью был обыск у полковника Сидорова… Найден план эвакуации и некоторые мобилизационные списки… Вам неизвестно, что сегодня на рассвете арестован Виленкин… — Выпрямив судорожно грудь, она поднялась с дивана, отогнула портьеру, висевшую на двери, обернулась к Даше: — Идите сюда. С вами будут говорить…

— Пароль, — повелительно сказал человек,

стоявший спиной к окну. Даша протянула ему картонный треугольник. — Кто вам передал это? (Даша начала объяснять.) Короче!

Он держал левой рукой у рта шелковый носовой платок, закрывавший его смуглое или, быть может, загримированное лицо. Неопределенные, с желтоватым ободком глаза нетерпеливо всматривались в Дашу. Он опять прервал ее:

— Вам известно: вступая в организацию, вы рискуете жизнью?

— Я одинока и свободна, — сказала Даша. — Я почти ничего не знаю об организации. Никанор Юрьевич дал мне поручение… Я не могу больше сидеть сложа руки. Уверяю вас, я не боюсь ни работы, ни…

— Вы совсем ребенок. — Он сказал это так же отрывисто, но Даша настороженно подняла брови.

— Мне двадцать четыре года.

— Вы — женщина? (Она не ответила.) В данном случае это важно. (Она утвердительно наклонила голову.) О себе можете не рассказывать, я вас всю вижу. Я вам доверяю. Вы удивлены?

Даша только моргнула. Отрывистые, уверенные фразы, повелительный голос, холодные глаза быстро связали ее неокрепшую волю. Она почувствовала то облегчение, когда у постели

садится доктор, блестя премудрыми очками: «Ну-с, ангел мой, с нынешнего дня мы будем вести себя так…»

Теперь она внимательно оглянула этого человека с платком у лица. Он был невысок ростом, в мягкой шляпе, в защитном, хорошо сшитом пальто, в кожаных крагах. И одеждой и точными движениями он походил на иностранца, говорил с петербургским акцентом, неопределенным и глуховатым голосом.

— Вы где остановились?

— Нигде, я сюда прямо с вокзала.

— Очень хорошо. Сейчас вы пойдете на Тверскую, в кафе «Бом». Там поедите. К вам подойдет один человек, вы узнаете его по галстучной булавке — в виде черепа. Он скажет пароль: «С богом, в добрый путь». Тогда вы покажете ему вот это. (Он разорвал картонный треугольник и одну половину отдал Даше.) Покажите так, чтобы никто не видел. Он даст вам дальнейшие инструкции. Повиновение ему — беспрекословное. У вас есть деньги?

Он вынул из бумажника две думские ассигнации по тысяче рублей.

— За вас будут платить. Эти деньги старайтесь сберечь на случай неожиданного провала,

подкупа, бегства. С вами может случиться все. Ступайте… Подождите… Вы хорошо поняли меня?

— Да, — с запинкой ответила Даша, складывая тысячные бумажки все мельче и мельче в квадратик.

— Ни слова о свидании со мной. Ни слова никому о том, что вы были здесь. Ступайте.

Даша пошла на Тверскую. Она была голодна и устала. Деревья Тверского бульвара, мрачные и редкие прохожие — плыли, как сквозь туман. Все же ей было покойно оттого, что кончилась мучительная неподвижность, и непонятные ей события подхватили ее чертовым колесом, понесли в дикую жизнь.

Навстречу, точно кинотени, прошли две женщины в лаптях. Оглянулись на Дашу, сказали тихо:

— Бесстыдница, на ногах не стоит.

Дальше проплыла высокая дама с полуседыми, собранными в воронье гнездо волосами, с трагически жалкими морщинами у припухлого рта. На лице, когда-то, должно быть, красивом, застыло величайшее недоумение. Длинная черная юбка заплатана, будто нарочно, другой материей. Под шалью, тащившейся концом по земле, она держа-

ла связку книг и вполголоса обратилась к Даше:

— Есть Розанов, запрещенное, полный Владимир Соловьев…

Дальше стояли несколько старичков, — наклонившись к садовой скамейке, они что-то делали; проходя, Даша увидела на скамье двух, плечо к плечу, крепко спавших красногвардейцев, с открытыми ртами, с винтовками между колен; старички шепотом ругали их нехорошими словами.

За деревьями сухой ветер гнал пыль. Прозвонил редкий трамвай, громыхая по булыжнику сломанной подножкой. Серые гроздь солдат висели на поручнях и сзади на тормозе. У бронзового Пушкина на голове попрыгивали воробьи, равнодушные к революциям.

Даша свернула на Тверскую: со спины на нее налетело пыльное облако, закутало бумажками, донесло до кафе «Бом» — последнего оплота старой беспечной жизни.

Здесь собирались поэты всех школ, бывшие журналисты, литературные спекулянты, бойкие юноши, легко и ловко приспособляющиеся к смутному времени, девицы, отравленные скукой и кокаином, мелкие анархисты — в поисках острых развлечений, обыватели, прельстившиеся

пирожными.

Едва Даша заняла в глубине кафе место под бюстом знаменитого писателя, как кто-то взмахнул руками, кинулся сквозь табачные туманности и шлепнулся рядом с Дашей, хихикая влажной, гнилозубой улыбкой. Это был давнишний знакомый, поэт Александр Жиров.

— Я за вами гнался по Лубянке… Уверен был, что это вы, Дарья Дмитриевна. Какими судьбами, откуда? Вы одна? С мужем? Вы помните меня? Был когда-то влюблен — вы знали это, правда?

Глаза его маслились. Ни на один вопрос он, очевидно, не ждал ответа. Он был все тот же — с ознобцем возбуждения, лишь одряблела нездоровая кожа; на тощем, длинном лице значительным казался кривоватый, широкий внизу нос.

— А я столько пережил за эти годы… Фантастика… В Москве недавно… Я в группе имажинистов: Сережка Есенин, Бурлюк, Крученых. Ломаем… Вы проходили мимо Страстного? Видели на стене аршинные буквы? Это мировая дерзость… Даже большевики растерялись… Мы с Есениным всю ночь работали… Богородицу и Иисуса Христа разделали под орех… Такая, знаете, космическая похабщина, — на рассвете две старушонки прочли — и из обеих сразу дух вон… Дарья Дмит-

риевна, я, кроме того, в анархической группе «Черный коршун»… Мы вас привлечем… Нет, нет, и разговору не может быть… У нас шефом — знаете кто? Знаменитый Мамонт Дальский… Гений… Кин… Великий дерзатель… Еще какие-то две недели — и вся Москва в наших руках… Вот начнется эпоха! Москва под черным знаменем. Победу мы задумали отпраздновать — знаете как? Объявим всеобщий карнавал… Винные склады — на улицу, на площадях — военные оркестры… Полтора миллиона ряженых. Никакого сомнения, — половина явятся голые… И вместо фейерверка — взорвем на Лосином острове артиллерийские склады. В мировой истории не было ничего подобного…

За эти дни это была уже третья политическая система, с которой знакомилась Даша. Сейчас она просто испугалась. Даже забыла про голод. Довольный произведенным впечатлением, Жиров пустился в подробности:

— Разве вас не рвет кровью при виде пошлости современного города? Мой друг, Валет, гениальный художник, — да вы помните его, — составил план полного изменения лица города… Сломать и заново построить — мы не успеем к карнавалу… Кое-что решено взорвать, — конечно,

Исторический музей, Кремль, Сухареву башню, дом Перцова… Вдоль улицы ставим, во всю вышину домов, дощатые щиты и расписываем их архитектурными сюжетами новейшего, небывалого стиля… Деревья, — натуральная листва недопустима, — деревья мы окрашиваем при помощи пульверизаторов в различные цвета… Представляете — черные липы Пречистенского бульвара, жутко-лиловый Тверской бульвар… Жуть!.. Решено также всенародное кощунство над Пушкиным… Дарья Дмитриевна, а вспоминаете «великолепные кощунства» и «борьбу с бытом» на квартире Телегина? Ведь над нами тогда издевались.

Мелко, будто зябко, посмеиваясь, он вспомнил прошлое, ближе подсунулся к Даше и уже несколько раз, жестикулируя, задел ее едва выпуклую грудь…

— А вы помните Елизавету Киевну — с бараньими глазами? Еще до одури была влюблена в вашего жениха и сошлась с Бессоновым. Ее муж — виднейший анархист-боевик, Жадов… Он да Мамонт Дальский — главные наши козыри. Слушайте, и Антошка Арнольдов здесь! При Временном правительстве ворочал всей прессой, два собственных автомобиля… Жил с аристократ-

ками… Одна у него была, — венгерка из «Вилла Родэ», — такой чудовищной красоты, он даже спал с револьвером около нее. Ездил в Париж в прошлом июле, — чуть-чуть его не назначили послом… Осел!.. Не успел перевести валюту за границу, теперь голодает, как сукин сын. Да, Дарья Дмитриевна, нужно идти в ногу с новой эпохой… Антошка Арнольдов погиб потому, что завел шикарную квартиру на Кирочной, золоченую мебель, кофейники, сто пар ботинок. Жечь, ломать, рвать в клочки все предрассудки… Абсолютная, звериная, девственная свобода — вот! Другого такого времени не случится… И мы осуществим великий опыт. Все, кто тянется к мещанскому благополучию, — погибнут… Мы их раздавим… Человек — это ничем не ограниченное желание… (Он понизил голос, придвинувшись к Дашиному уху.) Большевики — дерьмо… Они только неделю были хороши, в Октябре… И сразу потянули на государственность. Россия всегда была анархической страной, русский мужик — природный анархист… Большевики хотят превратить Россию в фабрику — чушь. Не удастся. У нас — Махно… Перед ним Петр Великий — щенок… Махно на юге, Мамонт Дальский и Жадов в Москве… С двух концов зажжем. Сегодня ночью я вас сведу кое-

куда, сами увидите — какой размах… Согласны? Идем?

Вот уже несколько минут, как за соседний столик сел бледный молодой человек с острой бородкой. Через пенсне пристально, из-за газеты, он глядел на Дашу. Оглушенная фантазией Жирова, она не пыталась протестовать: в табачных облаках, казалось ей, рождались, как молния, эти сверхъестественные замыслы, плавали странные лица с закушенными папиросками и расширенными зрачками… Что она могла возразить? Пропищала бы жалобно о том, что ее сердчишко трепещет перед этими опытами, — и, конечно, в грохоте дьявольского хохота, улюлюканья, гоготанья потонул бы ее писк.

Глаза человека с острой бородкой все настойчивее ощупывали ее. Она увидела в его пунцовом галстуке маленький металлический череп — булавку, — догадалась, что это тот, с кем ей нужно встретиться, приподнялась было, но он коротко мотнул головой, приказывая сидеть на месте. Даша наморщилась, соображая. Он показал глазами на Жирова. Она поняла и попросила Жирова принести ей поесть. Тогда человек с бородкой подошел к ее столу и сказал, не разжимая губ:

— С богом, в добрый путь.

Даша раскрыла сумочку и показала половину треугольника. Он приложил ее к другой половине, разорвал их в мелкие клочки.

— Откуда вы знаете Жирова? — спросил он быстро.

— Давно, по Петербургу.

— Это нас устраивает. Нужно, чтобы вас считали из их компании. Соглашайтесь на все, что он предложит. А завтра, — запомните, — в это самое время вы придете к памятнику Гоголя на Пречистенский бульвар. Где вы ночуете?

— Не знаю.

— Эту ночь проводите где угодно… Ступайте с Жировым…

— Я ужасно устала. — У Даши глаза наполнились слезами, задрожали руки, но, взглянув ему в недоброе лицо, на булавочку с черепом, она покорно потупилась.

— Помните — абсолютная конспирация. Если проговоритесь, хотя бы нечаянно, — время боевое — вас придется убрать…

Он подчеркнул это слово. У Даши поджались пальцы на ногах. К столу проталкивался Жиров с двумя тарелками. Человек с булавочкой подошел к нему, кривя улыбкой тонкий рот, и Даша услышала, как он сказал:

— Хорошенькая девочка. Кто такая?

— Ну, это ты, впрочем, оставь, Юрка, не для тебя приготовлена. — Улыбаясь, не то грозясь, Жиров показал ему вдогонку осколки зубов и поставил перед Дашей черный хлеб, сосиски и стакан с коричневой бурдой. — Так как же, сегодня вечером вы свободны?

— Все равно, — ответила Даша, с мучительным наслаждением откусывая сосиску.

Жиров предложил пойти к нему, в номер гостиницы «Люкс», наискосок через улицу.

— Поспите, помоетесь, а часов в десять я за вами приду.

Он суетился и хлопотал, все еще по старым воспоминаниям несколько робея Даши. Постель у него в комнате, — с парчовыми занавесами и розовым ковром, — была настолько подозрительная, что он и сам это понял, — предложил Даше устроиться на диване; убрав газеты, рукописи, книги, постелил простыню, черный ильковый мех, выпоротый из чьей-то дорогой шубы, хихикнул и ушел. Даша разулась. Поясницу, ноги, все тело ломило. Легла и сейчас же уснула, пригретая глубоким мехом, слабо пахнущим духами, зверем и нафталином. Она не слышала, как входил Жиров и, наклонившись, разглядывал ее, как в

дверях пробасил рослый бритый человек, похожий на римлянина: «Ну, что же, своди ее туда, я дам записку».

Был уже глубокий вечер, когда она, вздохнув, проснулась. Желтоватый месяц над крышей дома ломался в неровном стекле окна. Под дверью лежала полоска электрического света. Даша вспомнила наконец, где она, быстро натянула чулки, поправила волосы и платье и пошла к умывальнику. Полотенце было такое грязное, что Даша подумала, растопырив пальцы, с которых капала вода, и вытерлась подолом юбки с изнанки.

Ее охватила острая тоска от всего этого бездолья, отвращением стиснуло горло: убежать отсюда домой, к чистому окну с ласточками… Повернула голову, взглянула на месяц, — мертвый, изломанный, страшный серп над Москвой. Нет, нет… Возврата нет, — умирать в одиночестве в кресле у окна, над пустынным Каменноостровским, слушать, как заколачивают дома… Нет… Пусть будет что будет…

В дверь постучались, на цыпочках вошел Жиров.

— Достал ордер, Дарья Дмитриевна, идемте.

Даша не спросила — какой ордер и куда нужно

идти, надвинула самодельную шапочку, прижала к боку сумочку с двумя тысячами. Вышли. Одна сторона Тверской была в лунном свету. Фонари не горели. По пустой улице медленно прошел патруль, — молча и мрачно пробухали сапогами.

Жиров свернул на Страстной бульвар. Здесь лежали лунные пятна на неровной земле. В непроглядную темноту под липы страшно было смотреть. Впереди в эту тень как будто шарахнулся человек. Жиров остановился, в руке у него был револьвер.

Постояв, он негромко свистнул. Оттуда ответили. «Полундра», — сказал он громче. «Проходи, товарищ», — ответил лениво отчетливый голос.

Они свернули на Малую Дмитровку. Здесь, навстречу им, быстро перешли улицу двое в кожаных куртках. Оглянув, молча пропустили. У подъезда Купеческого клуба, — где со второго этажа над входом свешивалось черное знамя, — выступили из-за колонн четверо, направили револьверы. Даша споткнулась. Жиров сказал сердито:

— Ну вас к черту, в самом деле, товарищи! Чего зря пугаете. У меня ордер от Мамонта…

— Покажи.

При лунном свете четверо боевиков, спрятав-

ших безбородые щеки в поднятые воротники и глаза — под козырьки кепок, осмотрели ордер. Лицо Жирова, как неживое, застыло, растянутое улыбкой. Один из четверых спросил грубо:

— А для кого же?

— Вот, для товарища, — Жиров схватил Дашину руку, — она артистка из Петрограда… Необходимо одеть… Вступает в нашу группу…

— Ладно. Заходи…

Даша и Жиров вошли в тускло освещенный вестибюль с пулеметом на лестнице… Появился комендант — низенький, с надутыми щеками студент в форменной куртке и феске. Он долго вертел и читал ордер, ворчливо спросил Дашу:

— Что из вещей нужно?

Ответил Жиров:

— Мамонт приказал — с ног до головы, самое лучшее.

— То есть как — приказал Мамонт… Пора бы знать, товарищ: здесь не приказывают… Здесь не лавочка… (У коменданта в это время зачесалось на ляжке, он ужасно сморщился, почесал.) Ладно, идемте.

Он вынул ключ и пошел впереди в бывшую гардеробную, где сейчас находились кладовые Дома анархии.

— Дарья Дмитриевна, выбирайте, не стесняйтесь, это все принадлежит народу…

Жиров широким размахом указал на вешалки, где рядами висели собольи, горностаевые, чернобурые палантины, шиншилловые, обезьяньи, котиковые шубки. Они лежали на столах и просто кучками на полу. В раскрытых чемоданах навалены платье, белье, коробки с обувью. Казалось, сюда были вывезены целые склады роскоши. Комендант, равнодушный к этому изобилию, только зевал, присев на ящик.

— Дарья Дмитриевна, берите все, что понравится, я захвачу; пройдем наверх, там переоденетесь.

Что ни говори о Дашиных сложных переживаниях, — прежде всего она была женщиной. У нее порозовели щеки. Неделю тому назад, когда она увядала, как ландыш, у окна и казалось, что жизнь кончена и ждать нечего, — ее не прельстили бы, пожалуй, никакие сокровища. Теперь все вокруг раздвинулось, — то, что она считала в себе оконченным и неподвижным, пришло в движение. Наступило то удивительное состояние, когда желания, проснувшиеся надежды устремляются в тревожный туман завтрашнего дня, а настоящее — все в развалинах, как покинутый дом.

Она не узнавала своего голоса, изумлялась своим ответам, поступкам, спокойствию, с каким принимала закрутившуюся вокруг фантастику. Каким-то до сих пор дремавшим инстинктом самосохранения почувствовала, что сейчас нужно, распустив паруса, лететь с выброшенным за борт грузом.

Она протянула руку к седому собольему палантину:

— Пожалуйста, вот этот.

Жиров взглянул на коменданта, тот тряхнул щеками. Жиров снял палантин, перекинул через плечо. Даша наклонилась над раскрытым кофром, — на секунду стало противно это чужое, — запустила по локоть руку под стопочку белья.

— Дарья Дмитриевна, а туфельки? Берите уж и башмаки для дождя. Вечерние туалеты — в том гардеробе. Товарищ комендант, дай ключик... Для артистки, понимаешь, туалет — орудие производства.

— Наплевать, берите чего хотите, — сказал комендант.

Даша и за ней Жиров с вещами поднялись во второй этаж, в небольшую комнату, где было зеркало, пробитое пулей. Среди паутины трещин в

туманном стекле Даша увидела какую-то другую женщину, медленно натягивающую шелковые чулки. Вот она опустила на себя тончайшую рубашку, надела белье в кружевах. Переступая туфельками, отбросила в сторону штопаное. Накинула на голые худые плечи мех… Ты кто же, душа моя? Кокоточка? Налетчица? Воровка?.. Но до чего хороша… Так, значит, — все впереди? Ну, что ж, — потом как-нибудь разберемся…

Большой зал ресторана в «Метрополе», поврежденный октябрьской бомбардировкой, уже не работал, но в кабинетах еще подавали еду и вино, так как часть гостиницы была занята иностранцами, большею частью немцами и теми из отчаянных дельцов, кто сумел добыть себе иностранный — литовский, польский, персидский — паспорт. В кабинетах кутили, как во Флоренции во время чумы. По знакомству, с черного хода, пускали туда и коренных москвичей, — преимущественно актеров, уверенных, что московские театры не дотянут и до конца сезона: и театрам и актерам — беспросветная гибель. Актеры пили, не щадя живота.

Душой этих ночных кутежей был Мамонт Дальский, драматический актер, трагик, чье имя в недавнем прошлом гремело не менее звучно, чем

Росси. Это был человек дикого темперамента, красавец, игрок, расчетливый безумец, опасный, величественный и хитрый. За последние годы он выступал редко, только в гастролях. Его встречали в игорных домах в столицах, на юге, в Сибири. Рассказывали о его чудовищных проигрышах. Он начинал стареть. Говорил, что бросает сцену. Во время войны участвовал в темных комбинациях с поставками. Когда началась революция, он появился в Москве. Он почувствовал гигантскую трагическую сцену и захотел сыграть на ней главную роль в новых «Братьях-разбойниках».

Со всей убедительностью гениального актера он заговорил о священной анархии и абсолютной свободе, об условности моральных принципов и праве каждого на все. Он сеял по Москве возбуждение в умах. Когда отдельные группы молодежи, усиленные уголовными личностями, начали реквизировать особняки, — он объединил эти разрозненные группы анархистов, силой захватил Купеческий клуб и объявил его Домом анархии. Советскую власть он поставил перед совершившимся фактом. Он еще не объявлял войны советской власти, но, несомненно, его фантазия устремлялась дальше кладовых Купеческого клуба и ночных кутежей, когда во дворе

Дома, стоя в окне, он говорил перед народом, и, вслед за его античным жестом, вниз, во двор, в толпу, летели штаны, сапоги, куски материи, бутылки с коньяком.

Этого человека, — мрачное, точно вылитое из бронзы, лицо, на котором страсти и шумно прожитая жизнь, как великий скульптор, отчеканили складки, морщины, решительные линии рта, подбородка и шеи, схваченной мягким грязным воротничком, — Даша увидала первого, когда вошла вместе с Жировым в кабинет «Метрополя».

Крышка рояля была поднята. Щуплый, бритый человечек в бархатной куртке, закинув голову, закусив папиросу, занавесив ресницами масленые глаза, брал погребальные аккорды. За столом, среди множества пустых бутылок, сидело несколько мировых знаменитостей. Один из них, курносый, подперев ладонью характерный подбородок, отчего мягкое лицо его сплющилось, пел тенорком за священника. Остальные — резонер, с кувшинным лицом; мрачный, с отвисшей губой, комик; герой, не бритый третьи сутки и с обострившимся носом; любовник, пьяный до мучения; великий премьер, с пламенным челом, глубоко перерезанным морщинами, и на вид совершенно

трезвый, — вступали, когда нужно, хором.

Архидьякон от «Христа-спасителя», седеющий красавец в золотых, полтора фунта весом, очках, поднесенных ему московским купечеством, похаживал по ковру, помахивая рукавом подрясника, и подавал возгласы. От зверино-бархатного баса его дребезжал хрусталь на столе. Кабинет был затянут темно-красным шелком, с парчовыми портьерами и трехстворчатыми ширмочками у входной двери.

Облокотясь об эти ширмы, стоял Мамонт Дальский. В руке он держал колоду карт. На нем был полувоенный костюм — английский френч, клетчатые, с кожей на заду галифе и черные сапоги. Когда Даша вошла, он злобно усмехнулся, слушая панихиду.

— С ума сойти — какой красоты женщина! — проговорил человек у рояля.

Даша заробела. Остановилась. Все поглядели на нее, кроме Дальского. Архидьякон сказал:

— Чисто русская красота.

— Девушка, идите к нам, — бархатно проговорил премьер.

Жиров зашептал:

— Садитесь же, садитесь.

Даша села к столу. У нее стали целовать руки, с

подходами и торжественными поклонами, как у Марии Стюарт, после чего пение продолжалось. Жиров подкладывал икорки, закусочек, заставил выпить чего-то сладкого, обжигающего. Было душно, дымно. После тягучего напитка Даша сбросила мех, положила голые руки на стол. Ее волновали эти мрачные аккорды, древние слова пения. Она не отрываясь глядела на Мамонта. Только что, по дороге, Жиров рассказывал о нем. Он продолжал стоять в стороне у ширмы и был не то взбешен, не то пьян до потери сознания.

— Так что же, господа, — сказал он басом, наполнившим комнату. — Никто не хочет?

— Никто, никто не хочет с тобой играть, и так нам весело, и отстань, успокойся, — скороговоркой, тенорком проговорил тот, у кого было сплющенное лицо. — Ну-ка, Яшенька, подмахни глас седьмый.

Яша у рояля, совсем закинув голову, зажмурясь, положил пальцы на клавиши. Мамонт сказал:

— Не на деньги… Плевал я на ваши деньги…

— Все равно не хотим, не подыгрывайся, Мамонт.

— Я хочу играть на выстрел…

После этого с минуту все молчали. Герой с обострившимся носом провел ладонью по лбу и

волосам, поднялся, стал застегивать жилетку.

— Я играю на выстрел.

Комик молча схватил его, навалился восемью пудами, усадил на место.

— Я ставлю мою жизнь, — закричал герой, — у подлеца Мамонта крапленые карты… Наплевать, пусть мечет. Пустите меня…

Но он уж обессилел. Резонер с расширяющимся книзу лицом сказал мягко:

— Ну вот, и вина нет ни капли. Мамонт, это же свинство, голубчик…

Тогда Мамонт Дальский бросил на телефонный столик колоду карт и большой автоматический пистолет. Чеканно-крупное лицо его побледнело от бешенства.

— Отсюда никто не уйдет, — произнес он по буквам. — Мы будем играть, как я хочу… Эти карты не крапленые.

Он сильно потянул воздух широкими ноздрями, нижняя губа его выпятилась. Все поняли, что настала опасная минута. Он оглянул лица сидящих за столом. Яша у рояля одним пальцем заиграл «чижика». Вдруг черные брови у Мамонта поднялись, в непроглядных глазах мелькнуло изумление. Он увидал Дашу. У нее поспешно стало холодеть сердце под этим взглядом. Не ша-

таясь, он подошел к ней, взял кончики ее пальцев и поднес к запекшимся губам, но не поцеловал, только коснулся.

— Говорите — нет вина… Вино будет…

Он позвонил, продолжая глядеть на Дашу. Вошел татарин-лакей. Развел руками: ни одной бутылки, все выпито, погреб заперт, управляющий ушел. Тогда Мамонт сказал:

— Ступай. — И пошел, как под взглядом тысячи зрителей, к телефону.

Вызвал номер. «Да… Я… Дальский… Послать наряд. „Метрополь“… Я здесь… Экстренно… Да… Четырех довольно…»

Он медленно положил трубку, прислонился во весь рост к стене и сложил на груди руки. Прошло не больше пятнадцати минут. Яша у рояля тихо наигрывал Скрябина. Закружилась голова от этих знакомых звуков, летевших из прошлого. Время исчезло. Серебряная парча на груди Даши поднималась и опускалась, кровь приливала к ушам. Жиров что-то шептал, она не слушала.

Она была взволнована, чувствовала счастье освобождения, легкость юности. Казалось ей — она летела, как оторвавшийся от детской колясочки воздушный шар, — все выше, все головокружительней…

Премьер погладил ее голую руку, пробархатил отечески:

— Не смотрите так нежно на него, моя голубка, ослепнут глазки… В Мамонте несомненно что-то сатанинское…

Тогда неожиданно раскинулись половинки входной двери, и за ширмами появились четыре головы в кепках, четыре в кожаных рукавах руки, сжимавшие ручные гранаты. Четыре анархиста крикнули угрожающе:

— Ни с места! Руки вверх!

— Отставить, все в порядке, — спокойно пробасил Дальский. — Спасибо, товарищи. — Он подошел к ним и, перегнувшись через ширмы, что-то стал объяснять вполголоса. Они кивнули кепками и ушли. Через минуту послышались отдельные голоса, заглушенный крик. Глухой удар взрыва слегка потряс стены… Мамонт сказал:

— Щенки не могут без эффектов. — Он позвонил. Мгновенно вскочил в кабинет бледный лакей, зубы у него стучали. — Убери все, поставить чистое для вина! — приказал Мамонт. — Яшка, перестань мучить мои нервы, играй бравурное.

Действительно, не успели накрыть чистую скатерть, как анархисты снова появились со множеством бутылок. Положив на ковер коньяки,

виски, ликеры, шампанское, они так же молча скрылись. За столом раздались восклицания изумления и восторга. Мамонт объяснил:

— Я приказал произвести в номерах выемку только пятидесяти процентов спиртного. Половина оставлена владельцам. Ваша совесть может быть покойна, все в порядке.

Яша у рояля грянул туш. Полетели шампанские пробки. Мамонт сел рядом с Дашей. Освещенное настольной лампой, его лицо казалось еще более скульптурно-значительным. Он спросил:

— Сегодня в «Люксе» я вас видел, вы спали… Кто вы такая?

Смеясь от головокружения, она ответила:

— Никто… Воздушный шарик…

Он положил ей большую горячую руку на голое плечо, стал глядеть в глаза. Даше было хоть бы что, — только тепло прохладному плечу под тяжестью руки. Она подняла за тоненькую ножку бокал с шампанским и выпила до дна.

— Ничья? — спросил он.

— Ничья.

Тогда Мамонт с трагическим напевом заговорил над Дашиным ухом:

— Живи, дитя мое, живи всеми силами души… Твое счастье, что ты встретила меня… Не бойся,

я не обезображу любовью твою юность… Свободные не любят и не требуют любви… Отелло — это средневековый костер, инквизиция, дьявольская гримаса… Ромео и Юлия… О, я знаю, — ты тайно вздыхаешь по ним… Это старый хлам… Мы ломаем сверху донизу все… Мы сожжем все книги, разрушим музеи… Нужно, чтобы человек забыл тысячелетия… Свобода в одном: священная анархия… Великий фейерверк страстей… Нет! Любви, покоя не жди, красавица… Я освобожу тебя… Я разорву на тебе цепи невинности… Я дам тебе все, что ты придумаешь между двумя объятиями… Проси… Сейчас проси… Быть может, завтра будет поздно.

Сквозь этот бред слов Даша всей кожей чувствовала рядом с собой тяжелую закипающую страсть. Ее охватил ужас, как во сне, когда не в силах пошевелиться, а из тьмы сновидения надвигаются раскаленные глаза чудовища. Опрокинет, сомнет, растопчет… Еще страшнее было то, что в ней самой навстречу поднимались незнакомые, жгучие, душащие желания… Ощущала всю себя женщиной… Должно быть, она была так взволнована и хороша в эту минуту, что премьер потянулся к ней, чокаясь, и проговорил с завистью:

— Мамонт, ты мучаешь ребенка…

Как от выстрела в упор, Дальский вскочил, ударил по столу, — подпрыгнули, повалились бокалы.

— Застрелю! Коснись этой женщины!

Он устремился к телефонному столику, где лежал револьвер. Роняя стулья, вскочили все сидевшие за столом. Яша кинулся под рояль. Тогда, сама не понимая как, Даша повисла у Мамонта на руке, сжимавшей револьвер. Она молила глазами. Он схватил ниже лопаток ее хрупкую спину, приподнял и прижался ко рту, касаясь зубами зубов. Даша застонала. В это время зазвонил телефон. Мамонт опустил Дашу в кресло (она закрыла глаза рукой), сорвал телефонную трубку:

— Да… Что нужно? Я занят… Ага… Где? На Мясницкой. Бриллианты? Стоящие? Через десять минут я буду…

Он сунул револьвер в задний карман, подошел к Даше, взял в руки ее лицо, несколько раз жадно поцеловал и вышел, сделав прощальный жест рукой, как римлянин.

Остаток ночи Даша провела в «Люксе». Заснула как мертвая, не сняв платья из серебряной парчи. (Жиров из страха перед Мамонтом спал в ванной.) Затем до середины дня сидела у окна

пригорюнясь. С Жировым не разговаривала, на вопросы не отвечала. Около четырех часов ушла и до пяти ждала на Пречистенском бульваре на площадке, где под носатым Гоголем тихо возились худенькие дети — делали из пыли и песка пирожки и калачики.

На Даше снова было старенькое платье и домодельная шапочка. Солнце грело в спину, солнце стояло над бедной жизнью. У детей были маленькие, от голода старенькие личики. Кругом — тишина и пустота. Ни стука колес, ни громких голосов. Все колеса укатились на войну, а прохожие помалкивали. Гоголь в гранитном кресле сутулился под тяжестью шинели, загаженной воробьями. Не замечая Даши, прошли двое с бородами: один глядел в землю, другой на деревья. Долетел обрывок разговора:

— Полный разгром… Ужасно… Что теперь делать?

— Однако Самара взята, Уфа взята…

— Ничему теперь не верю… Этой зимы не переживем…

— Однако Деникин расправляется на Дону…

— Не верю, ничто не спасет… Погиб Вавилон, погиб Рим, и мы погибнем…

— Однако Савинков не арестован. Чернов не

арестован…

— Ерунда все это… Да, была Россия, да вся вышла…

Та же, что и вчера, прошла седая дама, робко показала из-под шали собрание сочинений Розанова. Даша отвернулась. К ее скамейке бочком подходил молодой человек с булавкой-черепом. Осмотревшись, поправил пенсне, подсел к Даше:

— Ночь провели в «Метрополе»?

Даша опустила голову, одними губами ответила: да.

— Отлично. Я вам устроил комнату. Вечером переедете. Жирову ни полслова. Теперь — о деле: вы знаете в лицо Ленина?

— Нет.

Он вынул несколько фотографических карточек и сунул их в Дашину сумочку. Посидел, захватывая и покусывая волоски бородки. Взял Дашины руки, безжизненно лежавшие на коленях, встряхнул.

— Дело обстоит так… Большевизм — это Ленин. Вы понимаете? Мы можем разгромить Красную Армию, но, покуда в Кремле сидит Ленин, — победы нет. Понятно? Этот теоретик, эта волевая сила — величайшая опасность для всего мира, не только для нас… Подумайте и ответьте мне

твердо: согласны вы или нет…

— Убить? — глядя на голопузого, перевалива-ющегося на кривых ножках ребенка, спросила Даша. Молодой человек передернулся, поглядел направо, прищурился на детей и опять укусил волоски бородки.

— Никто об этом не говорит… Если вы думаете, то — не кричите вслух… Вы взяты нами в орга-низацию… Разве вы не поняли, о чем говорил Савинков?

— Он со мной не говорил… (Молодой человек усмехнулся.) Ах, значит, тот, с платком, и был…

— Тише… С вами говорил Борис Викторович… Вам оказано страшное доверие… Нам нужны све-жие люди. Были большие аресты. Вам известно, конечно: план мобилизации в Казани провален… Работа центра переносится в другое место… Но здесь мы оставляем организацию… Ваша задача — следить за выступлениями Ленина, посещать митинги, бывать на заводах… Работать вы будете не одна… Вас будут извещать о его поездках из Кремля и предполагаемых выступлениях… Если завяжете знакомства с коммунистами, проситесь в партию — это будет самое лучшее. Следите за газетами и читайте литературу… Дальнейшие инструкции получите завтра утром, здесь же…

Затем он дал ей адрес явки, пароль и передал ключ от комнаты. Он ушел в направлении Арбатских ворот. Даша вынула из сумки фотографию и долго рассматривала ее. Когда, вместо этого лица, она стала видеть другое, выплывавшее из-за малиновых портьер минувшей ночи, — она резко захлопнула сумочку и тоже ушла, нахмуренная, с поджатыми губами. Маленький мальчик на кривых ножках засеменил было за ней, но шлепнулся на песок дряблым тельцем и горько заплакал.

Дашина комната оказалась на Сивцевом Вражке, в ветхом особнячке, во дворе. Видимо, дом был покинут. Даша едва достучалась на черном ходу: ее встретила грязная низенькая старуха с вывороченными веками, с виду — прижившаяся при доме нянька. Она долго ничего не понимала. Впустив наконец и проводив Дашу до ее комнаты, принялась непонятно рассказывать:

— Разлетелись ясны соколы — и Юрий Юрич, и Михаил Юрич, и Василий Юрич, а Васеньке на Фоминой только шестнадцатый годок пошел… Уж стала их за упокой души поминать…

Даша отказалась от чая, разделась, влезла под ватное одеяло и в темноте заплакала в три ручья, зажимая рот подушкой.

Наутро, у памятника Гоголя, она получила

инструкции и приказ — завтра быть на заводе. Думала вернуться домой, но передумала — пошла в кафе «Бом». Там затоптался около нее Жиров, спрашивая, куда она исчезла, почему ушла без вещей. «Жду от Мамонта телефонограммы, что ему ответить про вас?» Даша отвернулась, чтобы он не увидел запылавших щек… Сама, чувствуя, что лжет, подумала: «В конце концов — инструкция такова, что нужно продолжать с ними знакомство…»

— За вещами зайду, — сказала она сердито, — а там увидим.

С пакетом, где лежали драгоценный палантин, белье и вчерашнее платье, она вернулась домой. Когда развернула вещи, бросила на кровать, взглянула, — ее охватила такая дрожь, зуб не попадал на зуб, плечи снова почувствовали тяжесть его руки, и зубы — холод его зубов… Даша опустилась перед кроватью и спрятала лицо в пахучий мех. «Что же это такое, что же это такое?» — бессмысленно повторяла она…

Наутро она оделась, как велели, в темное ситцевое платьишко, повязала платок по-пролетарски (она должна была выдавать себя за бывшую горничную из богатого дома, изнасилованную барином; платьишко ей привез человек с була-

вочкой) и на трамвае поехала на завод.

У нее не было пропуска. Старик сторож у ворот подмигнул ей: «Что, девка, на митинг? Ступай в главный корпус». По гнилым доскам она пошла мимо свалок ржавого железа и шлака, мимо выщербленных огромных окон. Всюду было пусто, в безоблачном небе тихо дымили трубы.

Ей указали на замызганную дверцу в стене. Даша вошла в длинный кирпичный зал. Мрачный свет проникал сюда сквозь закопченную стеклянную крышу. Все было голо и обнажено. С мостов свешивались цепи подъемных кранов. Ниже тянулись валы трансмиссий, неподвижно на их шкивах висели приводные ремни. Непривычный глаз изумляли черные станины, то приземистые, то вытянутые, то раскоряченные очертания строгальных, токарных, фрезерных, долбежных станков, чугунные диски фрикционов. За широкой аркой, в полутьме, вырисовывалась подбоченненная громада тысячепудового молота.

Здесь строили машины и механизмы, которые там, за мрачными стенами завода, наполняли жизнь светом, теплом, движением, разумностью, роскошью. Здесь пахло железными стружками, машинным маслом, землей и махоркой. Множество людей стояло перед дощатой трибуной,

многие сидели на станинах станков, на высоких подоконниках.

Даша пробралась поближе к трибуне. Рослый парень, оглянувшись, открыл широкой улыбкой зубы — белые на замазанном лице, кивнул на верстак, протянул руку. Даша стала на верстаке под окном. Кругом — несколько тысяч голов, — лица нахмурены, лбы наморщены, рты сжаты. Каждый день на улицах, в трамваях она видела эти лица — обыкновенные, русские, утомленные, с не пускающим в себя взглядом. Однажды, — это было еще до войны, — во время воскресной прогулки по островам, два помощника присяжных поверенных, сопровождавших Дашу, завели разговор именно об этих лицах. «Возьмите парижскую толпу, Дарья Дмитриевна, — она весела, она добродушна, пенится радостью… А у нас — каждый смотрит волком. Вон идут двое рабочих. Хотите, подойду, скажу шутку… Обидятся, не поймут… Нелепый, тяжелый русский народ…» Теперь эти не любящие шуток стояли взволнованные, мрачные, сосредоточенно-решительные. Это — те же лица, но потемневшие от голода, те же глаза, но взгляд — зажженный, нетерпеливый.

Даша забыла, зачем пришла. Впечатления жизни, куда она кинулась из пустынного окна

на улице Красных Зорь, захватывали ее, как птицу буря. Она с нетронутой искренностью вся отдалась этим новым впечатлениям. Она совсем не была глупенькой женщиной, но — так же как многие — предоставлена самой себе, одному своему крошечному опыту. В ней была жажда правды, личной правды, женской правды, человеческой правды.

Докладчик говорил о положении на фронтах. Утешительного было мало. Хлебная блокада усиливалась: чехословаки отрезывали сибирский хлеб, атаман Краснов — донской. Немцы беспощадно расправлялись с украинскими партизанами. Флот интервентов грозил Кронштадту и Архангельску. «Но все же революция должна победить!» — докладчик бросил лозунги, вколотил их кулаком в пространство и, захватив портфель, сбежал с трибуны. Ему похлопали, но вяло, — дела оборачивались так, что не захлопаешь. Понурились головы, прикрылись бровями глаза.

Зубастый парень, — Даша встретилась с ним глазами, — опять весело ей оскалился:

— Вот, девка, беда-то, — как мышей, хотят заморить… Что ты будешь делать?..

— А ты испугался? — сказала Даша.

— Это я-то? Ужас до чего испугался. (На него сердито зашикали: «Тише ты, дьявол!») А тебя как зовут-то?

Даша посмотрела на него, — на мускулистой груди раскрыта черная рубаха, бычья шея, веселая голова, улыбка, потные кудри, лютые до баб круглые глаза, весь чумазый….

— Хо-орош! — сказала Даша. — Чего ты скалишься?

— Мамка с лавки уронила. А ты вот что, — послезавтра поедем с нами на фронт. Ладно? Все равно тебе здесь пропадать, в Москве… С гармоньей поедем, девка…

Слова его заглушил шум аплодисментов. На трибуне стоял новый оратор, — небольшого роста человек в сером пиджаке, в измятом поперечными складками жилете. Нагнув лысый бугристый череп, он разбирал бумажки. Он сказал слегка картавящим голосом: «Товарищи!» — И Даша увидела его озабоченное лицо с прищурившимися, как на солнце, глазами. Руки его опирались о стол, о листки записок. Когда он сказал, что темой сегодня будет величайший кризис, обрушившийся на все страны Европы и всего тяжелее — на Россию, темой будет — голод, — три тысячи человек под закопченной крышей затаили дыхание.

Он начал с общих соображений, говорил ровным голосом, нащупывая связь со слушателями. Несколько раз отходил от стола и возвращался к нему. Он говорил о мировой войне, которую не могут и не хотят окончить две группы хищников, вцепившихся друг другу в горло, о бешеной спекуляции на голоде, о том, что войну может кончить только пролетарская революция…

Он заговорил о двух системах борьбы с голодом: о свободной торговле, бешено обогащающей спекулянтов, и о государственной монополии. Он отступил шага на три вбок от стола и, наклонившись к аудитории, заложил большие пальцы с боков за жилет. Сразу выступили вперед лобастая голова и большие руки, — указательный палец был запачкан чернилами.

— …Мы стояли и будем стоять рука об руку с тем классом, с которым мы выступили против войны, вместе с которым свергли буржуазию и вместе с которым переживаем всю тяжесть настоящего кризиса. Мы должны стоять за хлебную монополию до конца… (Зубастый парень даже крякнул при этом.) Перед нами задачей стоит необходимость победить голод или по крайней мере уменьшить тяжесть до нового урожая, отстоять хлебную монополию, отстоять право советского

государства, отстоять право пролетарского государства. Все излишки хлеба мы должны собрать и добиться того, чтобы все запасы были свезены в те места, где нуждаются, — правильно их распределить… Это основная задача — сохранение человеческого общества, и в то же время неимоверный труд, который решается лишь одним путем: общим, усиленным повышением труда…

В бездыханной тишине кто-то вдруг глухо охнул, чья-то измученная душа споткнулась на этом ледяном подъеме, куда вел человек в сером пиджаке.

Лоб его нависал над слушателями, из-под выпуклостей глядели глаза — пристальные, неумолимые.

— …Мы столкнулись лицом к лицу с осуществлением задачи революционно-социалистической, здесь встали перед нами необычайные трудности. Это целая эпоха ожесточеннейшей гражданской войны… Только разбивая наголову контрреволюцию, только продолжая политику социалистическую в вопросе о голоде, в борьбе с голодом, мы победим и голод и контрреволюционеров, пользующихся этим голодом…

Рука его вылетела из-за жилета, уничтожила кого-то в воздухе и повисла над залом.

— …Когда рабочие, сбитые с толку спекулянтскими лозунгами, говорят о свободной продаже хлеба, о ввозе грузового транспорта, мы отвечаем, что это значит — пойти на выручку кулакам… На этот путь мы не станем… Мы будем опираться на трудовой элемент, с которым мы одержали октябрьскую победу, будем добиваться своего решения только введением пролетарской дисциплины среди слоев трудового народа. Перед нами историческая задача, мы решим ее… Самый коренной вопрос жизни — о хлебе — поставили последние декреты. Они все имеют три руководящие идеи. Первая — идея централизации, или объединения всех вместе в одну общую работу под руководством центра… Да, нам указывают, как на каждом шагу рушится хлебная монополия посредством мешочничества и спекуляции. Все чаще приходится слышать от интеллигенции: но ведь мешочники оказывают им услугу, и они все ими кормятся… Да… Но мешочники кормят *по-кулацки,* они действуют именно так, как нужно действовать, чтобы укрепить, установить, *увековечит*ь власть кулаков…

Рука его зачеркнула то, что более никогда уже не будет.

— …Наш второй лозунг — объединение ра-

бочих. Они выведут Россию из отчаянного и гигантски трудного положения. Организация рабочих отрядов, организация голодных из неземледельческих голодных уездов, — их мы зовем на помощь, к ним обращается наш комиссариат продовольствия, им мы говорим: *«В крестовый поход за хлебом».*

С тяжелой яростью обрушились аплодисменты. Даша видела, как он отступил, засунув руки в карманы, поднял плечи. На скулах его горели пятна, веки дрожали, лоб был влажен.

— …Мы строим диктатуру… Мы строим насилие по отношению к эксплуататорам…

И эти слова потонули в аплодисментах. Он махнул рукой: перестаньте же… И — в тишине:

— …«Объединяйтесь, представители бедноты» — вот наш третий лозунг. Перед нами историческая задача: нам нужно дать самосознание новому историческому классу… Во всем мире отряды рабочих городских, рабочих промышленных объединились поголовно. Но почти нигде в мире не было еще систематических беззаветных и самоотверженных попыток объединить тех, кто по деревням, в мелком земледельческом производстве, в глуши и темноте отуплен всеми условиями жизни. Тут стоит перед нами задача,

которая сливает в одну цель не только борьбу с голодом, а борьбу и за весь глубокий и важный строй социализма. Здесь перед нами такой бой, на который стоит отдать все силы и поставить все на карту, потому что это бой за социализм, потому что это бой за последний строй трудящихся и эксплуатируемых.

Он быстро ладонью вытер лоб.

— ...И недалеко от Москвы, и в губерниях, лежащих рядом, — в Курской, Орловской, Тамбовской, — мы имеем, по расчету осторожных специалистов, еще теперь до десяти миллионов пудов избытка хлеба. Давайте, товарищи, браться за дело с общими усилиями. Только общие усилия, только объединение всех, кто больше всего страдает в голодных городах и уездах, нам помогут, и это — тот путь, на который вас зовет советская власть: объединение рабочих, объединение бедноты, их передовых отрядов, для агитации на местах, для войны за хлеб против кулаков...

Он чаще проводил ладонью по лбу, голос его тускнел, — он сказал уже все, что хотел. Он взял со стола листок, взглянул, собрал остальные листки.

— Итак, товарищи, если мы все это усвоим, все

это сделаем, тогда победим наверняка.

И вдруг улыбка, добродушная и ясная, осветила его лицо. И все поняли: свой, свой! Закричали, захлопали, затопали. Он побежал с трибуны, втягивая голову в плечи. Зубастый парень около Даши ревел бычьей глоткой:

— Да здравствует Ильич!

Даша могла только сказать: видела и слышала «другое»... Вернувшись с митинга, она сидела на кровати, расширенными глазами глядела на завиток обоев. На подушке лежала записка от Жирова: «Мамонт ждет в одиннадцать, в „Метрополе“. На полу у двери валялась другая записка: „Будьте сегодня в 6 у Гоголя...“

Во-первых, это другое было сурово моральное, значит — высшее... Говорилось о хлебе. Раньше она знала, что хлеб можно купить или выменять — цена ему известна: пуд муки — пара штанов без заплаток. Но оказалось, что этот хлеб революция гневно отталкивает от себя. Хлеб этот нечистый. Лучше умереть, но этот хлеб не есть. Три тысячи голодных людей отреклись сегодня от нечистого хлеба.

Отреклись во имя... (Но тут в Дашиной бедной голове снова все спуталось.) Во имя униженных и угнетенных... Ведь так он сказал? Отдать все

силы, все поставить на карту, жизнь — за трудящихся и эксплуатируемых… Вот почему у них эта трагическая суровость…

Куличек рассказывал, что со всех сторон света готовы протянуться руки помощи, руки с хлебом… Только — уничтожить советский строй… Уничтожить — и будет хлеб… Во имя чего? Во имя спасения России. Спасения от кого же? От самих себя… Но они не хотят «так» спасаться — она сама видела… Бедная, бедная Дашина голова! Поздно ты, Дашенька, занялась политикой… «Постой… — сказала она, — постой». Заложила руки за спину и прошлась по комнате, глядя под ноги.

«Что может быть выше, чем отдать жизнь за униженных и угнетенных?.. А Куличек говорит, что от большевиков погибает Россия, и все это говорят…» Даша закрыла глаза, силясь представить Россию как нечто такое, что она должна любить больше самой себя. Вспомнилась картина Серова: две лошади на косогоре, полотнище тучи на закате и растрепанная соломенная крыша… «Нет, это у Серова…» И в закрытые глаза ей весело и дико оскалился давешний зубастый парень. Даша опять прошлась… «Какая же такая Россия? Почему ее рвут в разные стороны? Ну, я — дура, ну, я ничего не понимаю…Ах, боже мой!» Даша

стала щепоткой пальцев стучать себя в грудь. Но и это не помогло… «К Ленину побежать спросить? Ах, черт, ведь я же в другом лагере…»

Все эти ужасные противоречия и смятение души привели к тому, что к шести часам Даша нахлобучила на глаза шапчонку и пошла к памятнику Гоголя. Человек с булавочкой сейчас же отделился от дерева:

— Опоздали на три минуты… Ну? Были? Слышали Ленина? Расскажите самую суть… Как он приехал, кто его сопровождал, охрана была на трибуне?

Даша помолчала, собираясь с мыслями.

— Скажите, во имя чего его хотят убить?

— Ага! С чего вы взяли? Никто не собирается… Так, так, так… Значит — на вас подействовало? Ну, еще бы… Вот поэтому-то он так и опасен.

— Но он говорит справедливые вещи.

Вытянув шею, с улыбочкой — тоненькой и влажной, под самые Дашины глаза, — он спросил вкрадчиво:

— Так что же, не отказаться ли вам, а?

Даша отодвинулась. А у него шея вытягивалась, как резиновая, в самые Дашины зрачки блеснули зайчики его пенсне. Она прошептала:

— Я ничего не знаю… Я ничего больше не пони-

маю… Я должна быть убеждена, я должна быть убеждена…

— Ленин — агент германского генерального штаба, — просвистал человек с булавочкой. Затем он потратил около получаса на то, чтобы растолковать Даше про адский план немцев: они посылают нанятых за огромные деньги большевиков в пломбированном вагоне, большевики разрушают армию, дурачат рабочих, уничтожают отечественную промышленность и сельское хозяйство… Через какой-нибудь месяц немцы возьмут Россию голыми руками. — Сейчас большевики раздувают гражданскую войну, кричат о хлебной блокаде и вместе с тем расстреливают мешочников — наших спасителей… Они сознательно организуют голод… Вы видели, как сегодня несколько тысяч дураков смотрели в рот Ленину… Хочется кусать себе руки от боли… Он обманывает массы, миллионы, весь народ… В одном плане, физическом, он — «великий провокатор»… В другом… (он качнулся к Дашиному уху и шепнул одним дуновением) антихрист! Помните предсказания? Сроки сбываются. Север идет войной на юг. Появляются железные всадники смерти, — это танки… В источники вод падает звезда Полынь, — это пятиконечная звезда боль-

шевиков… И он говорит народу, как Христос, но только все шиворот-навыворот… Сегодня он и вас пытался соблазнить, но мы вас не отдадим… Я переведу вас на другую работу.

Невыясненным остался третий вопрос. (Даша опять вернулась домой, легла на кровать, прикрыв локтем глаза.) Ей вдруг осточертело думать… «Да что мне, в самом деле, — сто лет? Дурна я, как смертный грех? Возьму и дам себе волю… Хочешь идти в „Метрополь“ — иди… Для кого прятать все это, что не хочет быть спрятано, душить в груди крик счастья? Для кого с такой мукой сжимать колени? Для чьих ласк? Дура, дура, трусиха… Да разожмись, кинься… Все равно — к черту любовь, к черту себя…»

Она уже знала, что пойдет в «Метрополь». И если раздумывала, то только оттого, что не настало еще время идти, — были сумерки — самый ядовитый час для раздумья. В доме медленно, по-башенному, часы пробили девять. Даша стремительно соскочила с постели… «Унизительно так волноваться, не хочу!..»

Она поспешно разделась и в одной рубашке побежала в ванную, где были свалены дрова, сундуки, рухлядь. Стала под душ. Ледяной дождь упал на спину, Даша почти задохнулась. Мокрая,

вернулась к себе, стащила с кровати простыню, вытерлась, постукивая зубами.

И даже и в эту минуту не пришло решение: она глядела то на старое платьишко, сброшенное прямо на пол, то на вечернее, перекинутое через спинку кресла… И опять поняла, что это — трусость, только отсрочка. Тогда она стала одеваться. Зеркала не было, и слава богу! Накинула соболий палантин и, как воровка, вышла на улицу. Были уже глубокие сумерки. Она шла по бульварам. Мужчины с изумлением провожали ее глазами, вдогонку летели замечания, не слишком успокаивающие. Из-под дерева шатнулись двое в солдатских шинелях, окликнули: «Паразит, погоди, куда бежишь?»

На Никитской площади Даша остановилась, — едва дышала, кололо сердце. Отчаянно звоня, проходил освещенный трамвай с прицепом. На ступеньках висели люди. Один, ухватившись правой рукой за медную штангу, а в другой держа плоский крокодиловый чемоданчик, пролетел мимо и обернул к Даше бритое сильное лицо. Это был Мамонт. Даша ахнула и побежала за трамваем. Он увидел ее, чемоданчик в его руке судорожно взлетел. Он оторвал от поручня другую руку, соскочил на всем ходу, пошатнулся

навзничь, тщетно хватаясь за воздух, задрав одну огромную подошву, и сейчас же его туловище скрылось под трамвайным прицепом, чемоданчик упал к ногам Даши. Она видела, как поднялись судорогой его колени, послышался хруст костей, сапоги забили по булыжнику. Взвизгнули тормоза, с трамвая посыпались люди.

Графитовый свет поплыл в глазах, мягкой, как пелена, показалась мостовая, — потеряв сознание, Даша упала руками и щекой на крокодиловый чемоданчик.

9

Переход в наступление Добровольческой армии, так называемый «второй кубанский поход», начался с операции против станции Торговой. Овладение этим железнодорожным узлом было чрезвычайно важно, — с его захватом весь Северный Кавказ отрезывался от России. Десятого июня армия в девять тысяч штыков и сабель, под общим командованием Деникина, бросилась четырьмя колоннами на окружение Торговой.

Деникин находился при колонне Дроздовского. Напряжение было огромное. Все понимали, что исход первого боя решает судьбу армии. Под артиллерийским обстрелом противника, занавешенные огнем единственного своего орудия, стрелявшего на картечь, дроздовцы бросились вплавь через речку Егорлык. В передней цепи барахтался в воде, как шар, захлебываясь и ругаясь, командир полка штабс-капитан Туркул. Красные отчаянно защищались, но неумело позволили опытному противнику окружить себя. Заставы были опрокинуты — с юга колонной Боровского, с востока — конницей Эрдели. Перемешавшиеся

части красных и огромные обозы, оставив Торговую, начали отступление на север. Но здесь со стороны Шаблиевки им загородила путь колонна Маркова. Победа добровольцев оказалась полной. Казачьи сотни Эрдели рыскали по степи, рубя бегущих, захватывая пленных и телеги с добром.

Были уже сумерки. Бой затихал. Деникин, заложив полные руки за спину, красный и нахмуренный, ходил по перрону вокзала. Юнкера с шутками и смехом — как шутят после миновавшей смертельной опасности, — носили мешки с песком, укладывали их на открытые платформы, устанавливали пулеметы на самодельном бронепоезде. Изредка, сотрясая воздух, доносился орудийный выстрел, — это на севере за Шаблиевкой били с красного бронепоезда. Последний снаряд оттуда упал около моста через Маныч, там, где на сивой лошадке сидел генерал Марков. Он не спал, ничего не ел и не курил двое суток и был раздражен тем, что занятие Шаблиевки произошло не так, как ему хотелось. Станция оказалась занятой сильным отрядом с артиллерией и броневиками. Вчера, одиннадцатого, и сегодня весь день его обходная колонна дралась упорно и без успеха. Быстрое счастье на этот раз изменило ему. Потери были огромны. И только к вечеру,

видимо, в связи с общей обстановкой, большевики, занимавшие Шаблиевку, отступили.

Слегка перегнувшись с седла, он всматривался в неясные очертания нескольких трупов, лежавших в застывших позах, в каких их застигла смерть. Это были его офицеры, каждый из них в бою стоил целого взвода. Совершенно бессмысленно, из-за какой-то вялости его ума, было убито и ранено несколько сот лучших бойцов.

Он услышал стон, хрипящие вздохи будто пробуждающегося от кошмара человека, какое-то шипенье. Из предмостного окопа поднялся офицер и сейчас же упал животом на бруствер. Закряхтев, оперся, с трудом занес ногу, вылез и уставился на большую ясную звезду в погасающем закате. Покрутил обритой головой, застонал, пошел, спотыкаясь, увидел генерала Маркова. Взял под козырек, оторвал руку.

— Ваше превосходительство, я контужен.

— Вижу.

— Я получил выстрел в спину.

— Напрасно…

— Я контужен со спины в голову из револьвера в упор… Меня пытался убить вольноопределяющийся Валерьян Оноли…

— Ваша фамилия? — резко спросил Марков.

— Подполковник Рощин…

В эту как раз минуту, в последний раз, выстрелило шестидюймовое орудие с уходившего на север красного бронепоезда. Снаряд с воем промчался над темной степью. Сивая лошадка генерала, беспокоясь, запряла ушами, начала садиться. Снаряд шарахнулся с неба и разорвался в пяти шагах от Маркова.

Когда рассеялись пыль и дым, Вадим Петрович Рощин, отброшенный взрывом, увидел на земле сивую лошаденку, лягающую воздух, и около — раскинутое маленькое бездыханное тело. Рощин, приподнимаясь, закричал:

— Санитары! Убит генерал Марков!

Заняв Торговую, Добровольческая армия повернула на север, на Великокняжескую, с двойной целью: чтобы помочь атаману Краснову очистить Сальский округ от большевиков и чтобы прочнее обеспечить свой тыл со стороны Царицына. Великокняжескую взяли без больших потерь, но и успеха не удалось развить, так как в ночном бою конный отряд Буденного опрокинул и растрепал казачьи части Эрдели и не дал им переправиться через Маныч.

Под самой станцией едва не погиб первый добровольческий бронепоезд. С него заметили

бегущий паровоз под белым флагом и, полагая, что это парламентеры, приостановили огонь. Но паровоз летел, не сбавляя хода, непрерывно свистя. Лишь в последнюю минуту с бронепоезда догадались дать по нему несколько выстрелов в упор. Все же столкновение произошло, одна платформа была разбита, и паровоз опрокинулся — он был облит нефтью и обвешан бомбами. На несколько минут все поле битвы заинтересовалось этим кадром из американского фильма.

Передав район донскому командованию, предоставив отрядам станичников самим кончать с местными большевиками, Деникин снова повернул на юг, на овладение важнейшим узлом — станцией Тихорецкой, соединявшей Дон с Кубанью, Черноморье с Каспием. Он шел навстречу большим опасностям. На пути лежали два больших иногородних села — Песчанокопское и Белая Глина — очаги большевизма. Их спешно укрепляли. Армия Калнина лихорадочно окапывалась под Тихорецкой. Армия Сорокина оправилась к этому времени от паники и начинала давить с запада. Перегруппировывались разбитые на Маныче части красных, переходили с тыла в наступление. Из многих станиц высылалось ополчение.

Деникин мог рассчитывать только на одно: несогласованность в действиях противника. Но и это могло измениться каждую минуту. Поэтому он спешил. Местами ему приходилось самому поднимать цепи, лежавшие в полном изнеможении. Пехоту везли на телегах. Впереди армии двигался все тот же доморощенный бронепоезд.

Под Песчанокопским вместе с красноармейцами дралось все население. Такой ярости добровольцы еще не видели. От утра и до ночи дрожала степь от канонады. Полки Боровского и Дроздовского два раза были выбиваемы из села. И только увидев себя окруженными со всех сторон, не зная сил и средств противника, красные покинули село до последнего человека. Теперь все части, все отряды и толпы беженцев сходились в Белую Глину.

Здесь в центре десятитысячного ополчения стояла Стальная дивизия Дмитрия Жлобы. Все возрасты были призваны к оружию. Укреплялись подступы, впервые проявлялись организованность и тактическое понимание. На митингах призывали — победить или умереть.

Ничего не помогло. Противник был ученый — против храбрости, против отчаянности выдвигал науку, учитывал каждую мелочь и двигался,

как по шахматному полю, всегда оказываясь неожиданно в тылу. Правда, начало наступления белых было неудачно. Полковник Жебрак, ведший дроздовцев, напоролся в темноте на хутор — на передовые цепи; встреченный в упор огнем, кинулся в атаку и упал замертво. Дроздовцы отхлынули и залегли. Но уже к девяти часам утра с юга в Белую Глину ворвались Кутепов с корниловцами, конный полк дроздовцев и броневик. Со стороны захваченной станции подходил Боровский. Начался уличный бой. Красные почувствовали, что окружены, и заметались. Броневик врезывался в их толпы. Запылали соломенные крыши. Коровы и лошади носились среди огня, выстрелов, воплей…

Стальная дивизия Жлобы отступила по единственной еще свободной дороге. Там, у железнодорожной будки, стоял на коне Деникин. Он сердито кричал, приставив ладони ко рту, чтобы перерезали дорогу отступающим, — за остатками Стальной дивизии уходили партизаны, все население. В угон бегущим скакала конница Эрдели. Не вытерпели и конвойцы главнокомандующего, выхватили шашки, понеслись рубить. Штабные офицеры завертелись в седлах и, как гончие по зверю, поскакали туда же, рубя по

головам и спинам. Деникин остался один. Сняв фуражку, смахивал ею возбужденное лицо. Эта победа расчищала ему дорогу на Тихорецкую и Екатеринодар.

В сумерки в селе, на дворах, слышались короткие залпы: это дроздовцы мстили за убитого Жебрака — расстреливали пленных красноармейцев. Деникин пил чай в хате, полной мух. Несмотря на духоту ночи, плотная тужурка на нем, с широкими погонами, была застегнута до шеи. После каждого залпа он оборачивался к разбитому окошку и скомканным платочком проводил по лбу и с боков носа.

— Василий Васильевич, голубчик, — сказал он своему адъютанту, — попросите ко мне прийти Дроздовского; так же нельзя все-таки.

Звякнув шпорами, приложив, оторвав руку, адъютант повернулся и вышел. Деникин стал доливать из самовара в чайник. Новый залп раздался совсем близко, так что звякнули стекла. Затем в темноте завыл голос: у-у-у-у. Кипяток перелился вместе с чаинками через край. Антон Иванович закрыл чайник: «Ай, ай, ай!» — прошептал он. Резко раскрылась дверь. Вошел смертельно бледный тридцатилетний человек в измятом френче с мягкими, тоже измятыми,

генеральскими погонами. Свет керосиновой лампы тускло отразился в стеклах его пенсне. Квадратный подбородок с ямочкой щетинился, выпячивался, впавшие щеки подергивались. Он остановился в дверях. Деникин тяжело приподнялся с лавки, протянул навстречу руку:

— Михаил Григорьевич, присаживайтесь. Может быть, чайку?

— Покорно благодарю, нет времени.

Это был Дроздовский, недавно произведенный в генералы. Он знал, зачем позвал его главнокомандующий, и, как всегда, — ожидая замечания, — мучительно сдерживал бешенство. Нагнув голову, глядел вбок.

— Михаил Григорьевич, я хотел насчет этих расстрелов, голубчик…

— У меня нет сил сдержать моих офицеров, — еще более бледнея, заговорил Дроздовский неприятно высоким, срывающимся на истерику голосом. — Известно вашему высокопревосходительству, — полковник Жебрак зверски замучен большевиками… Тридцать пять офицеров… кого я привел из Румынии… замучены и обезображены… Большевики убивают и мучат всех… Да, всех… (Сорвался, задохнулся.) Не могу сдержать… Отказываюсь… Не угоден вам, ради бога — ра-

порт… За счастье почту — быть рядовым…

— Ай, ай, ай, — сказал Деникин. — Михаил Григорьевич, нельзя так нервничать… При чем тут рапорт… Поймите, Михаил Григорьевич: расстреливая пленных, мы тем самым увеличиваем сопротивление противника… Слух о расстрелах пойдет гулять. Зачем же нам самим наносить вред армии? Вы согласны со мной? Не правда ли? (Дроздовский молчал.) Передайте это вашим офицерам, чтобы подобные факты не повторялись.

— Слушаюсь! — Дроздовский повернулся и хлопнул за собой дверью.

Деникин долго еще покачивал головой, думая над стаканом чая. Вдалеке разорвался последний залп, и ночь затихла.

Операция против Тихорецкой задумана была по плану развертывания армии на широком шестидесятиверстном фронте. Предварительно нужно было очистить плацдарм от отдельных отрядов и партизанских частей. Это было поручено молодому генералу Боровскому: он в двое суток с боями проколесил сто верст, заняв ряд станиц. В истории гражданской войны это был первый, как его называли, «рейд» в тылах противника.

Добровольческая армия развернулась на очищенном плацдарме. Тридцатого Деникин отдал

короткий приказ: «Завтра, первого июля, овладеть станцией Тихорецкой, разбив противника, группирующегося в районе Терновской — Тихорецкой...» В ночь колонны двинулись, широким объятием охватывая Тихорецкую. Большевики после короткой перестрелки начали отступать к укрепленным позициям.

Здесь уже не было того отчаянного сопротивления, как неделю тому назад. Падение Белой Глины внесло смущение. Приостановилось наступление Сорокина. Жертвы — тысячи павших в кровавом бою — оказались напрасными. Противник двигался, как машина. Воображение в десять раз преувеличивало силы добровольцев. Рассказывали, что со всей России тучами сходятся к Деникину офицеры, что «кадеты» не дают пощады никому, что, как только они очистят край, вслед придут немцы. Калнин, командующий тихорецкой группой, сидел, как парализованный, в своем поезде на станции Тихорецкой. Когда он увидел, что полчища деникинцев подходят с четырех сторон, он пал духом и приказал отступать.

В девятом часу утра битва затихла, красные войска отошли на укрепленное полукольцо. Калнин заперся в купе и прилег вздремнуть,

уверенный, что боя на сегодня больше не будет. Добровольцы тем временем продолжали глубокий охват противника, двигаясь по полям в густой пшенице. К полудню их крайние фланги сомкнулись и вышли с юга в тыл. Корниловский полк бросился на станцию и без потерь захватил ее. Железнодорожники попрятались. Калнин исчез, — в купе валялись его фуражка и сапоги. Рядом в купе был найден его начальник штаба, генерального штаба полковник Зверев: он лежал на полу с разнесенным черепом. На койке, ничком, закрыв голову шалью, еще дышала его жена с простреленной грудью.

После этого добровольческим колоннам оставалось только сжать в тисках Красную Армию, лишенную командования, отрезанную от базы и дорог. До вечера они громили ее из пушек и пулеметов. Люди метались в полукольце, свинцовый ураган косил в лицо и в спину. Обезумевшие люди поднимались из окопов, бросались в штыковые атаки и всюду находили смерть. Под вечер Кутепов преградил единственный еще свободный путь на север и огнем и холодным оружием уничтожал пробивающиеся к полотну группы красных. В сумерки все перемешалось в густой пшенице — и красные, и белые. Командиры,

бегая, как перепела в хлебе, собирали офицеров и снова и снова бросали в бой. В одном месте из окопов выкинули на штыках платки. Кутепов с офицерами подскакал и был встречен залпом и матюгом последней ярости. Он умчался, пригнувшись к лошадиной шее. Приказ главнокомандующего был — не расстреливать пленных; но никто не приказывал их брать.

Наутро Деникин шагом объезжал поле боя. Куда только видел глаз — пшеница была истоптана и повалена. В роскошной лазури плавали стервятники. Деникин поглядывал на извивающиеся по полям — через древние курганы и балки — линии окопов, из них торчали руки, ноги, мертвые головы, мешками валялись туловища. Он находился в лирическом настроении и, полуобернувшись, чтобы к нему подскакал адъютант, проговорил раздумчиво:

— Ведь это все русские люди. Ужасно. Нет полной радости, Василий Васильевич…

Победа была полной. Тридцатитысячная армия Калнина была разгромлена, перебита и рассеяна. Только семь эшелонов красных успело проскочить в Екатеринодар. Армия Сорокина отрезывалась. Разъединялись окончательно отдельные группы красных войск: восточная, в

районе Армавира, и приморская — Таманская армия. Деникинцам доставалась огромная добыча: три бронированных поезда, броневые автомобили, пятьдесят орудий, аэроплан, вагоны винтовок, пулеметов, снарядов, богатое интендантское имущество.

Впечатление от победы было ошеломляющее. Атаман Краснов в новочеркасском соборе служил молебны и говорил перед войсками речь не хуже своего друга — императора Вильгельма. Хотя за три недели деникинцы потеряли четвертую часть армии, состав ее к первым числам июля удвоился: шел непрерывный поток добровольцев из Украины, Новороссии, Центральной России; впервые начали формироваться военнопленные красноармейцы.

После двухдневного отдыха Деникин разделил армию на три колонны и повел широкое наступление на три фронта: на запад — против Сорокина, на восток — против армавирской группы и на юг — против остатков армии Калнина, прикрывавших Екатеринодар. Задача была — очистить весь тыл перед штурмом Екатеринодара. Все было учтено и разработано по законам высшей военной науки. Деникин не учел одного-единственного и важнейшего обстоятельства:

перед ним находилась не неприятельская армия, силы и средства которой он мог бы оценить и взвесить, а вооруженный народ, непонятные ему силы. Он не учел того, что одновременно с его победами в этой народной армии растут ненависть и единодушие, что время буйным митингам, когда скидывались неугодные командиры и большинством голосов решалось наступление, миновало, сменялось новой, еще дикой, но с каждым днем крепнущей дисциплиной гражданской войны.

Все, казалось, предвещало легкую и скорую победу. Разведка доносила о паническом движении войск Сорокина, уходящих на Екатеринодар, за Кубань. Но это было не совсем верно. Разведка ошиблась. За Кубань бежали дезертиры и мелкие отряды, уходили обозы беженцев. Тридцатитысячная группа Сорокина очищалась от всего небоеспособного, подтягивалась и лютела. Батайский фронт против немцев был оставлен. Красные ждали встречи в открытом поле лицом к лицу с Деникиным. И случилось так, что Добровольческая армия, окрыленная победами, почти у цели, едва не погибла вся без остатка в завязавшемся вскорости десятидневном кровавом сражении с войсками Сорокина.

С бонапартовской надменностью Сорокин ответил на запрос Кубано-Черноморскому ЦИКу: «Агитаторов мне не нужно. Деникинские банды агитируют за меня. Историческая доблесть моих войск опрокинет все преграды контрреволюции». Остановив панику в войсках в первые дни наступления Деникина, Сорокин, казалось, очнулся от пьяного бездействия. Днем и ночью он носился по фронту — в вагоне, на дрезине, верхом. Он устраивал смотры, собственноручно застрелил перед фронтом двух командиров за вялое отношение к текущему моменту, вытягиваясь на стременах, говорил такие слова о врагах народа, так матерился с пеной на искаженных губах, что красноармейцы прерывали его ревом, как буйволы в туче слепней. Он усилил работу военных трибуналов и особых отделов, объявил смертную казнь за неисправность винтовки и издавал по армии приказы, где говорилось: «Бойцы! Трудящиеся всего мира с надеждой смотрят на вас, они принесут вам свою великодушную благодарность, — с открытыми глазами и сильной грудью вы идете навстречу кровавому рассвету истории. Паразиты, ползучие гады, банды Деникина и вся контрреволюционная сволочь должны быть выметены огнем и свинцом. Мир

трудящимся, смерть эксплуататорам, да здравствует всемирная революция!»

Он сам в горячечном возбуждении сочинял эти приказы. Их читали вслух по ротам. Украинские мужики, донские шахтеры, фронтовики Кавказской армии, иногородние и казаки — вся пестрая, оборванная, шумная, ни черта не признающая братва — слушали, как завороженные, эти пышные слова.

Начальник штаба Беляков, умный и опытный военный, разрабатывал план наступления, вернее — предполагался прорыв всей тридцатитысячной группой сквозь окружение и уход за реку Кубань. Так по крайней мере думал начштаба, не питавший никакой надежды на благоприятную встречу с Деникиным. Прорыв назначался в районе станции Кореновской (между Тихорецкой и Екатеринодаром). Заняв Кореновскую, нетрудно было справиться с отрезанными на юге от главных сил колоннами Дроздовского и Казановича, повернуть на Екатеринодар, а там — что черт пошлет, — так размышлял начштаба. Положение его было крайне щекотливое: он всем нутром, во сне и наяву, ненавидел красных, но проклятая судьба связала его с большевиками. Попадись он в руки Деникину, — о котором он думал с тре-

вожным и завистливым восхищением, — смерть! Заподозри его Сорокин в недостатке революционного пыла и ненависти к Деникину — смерть! Единственной надеждой, правда фантастической, — как и все события того времени, — было неистовое честолюбие Сорокина. На этом можно было играть: всеми силами выдвигать Сорокина в диктаторы, а там — что черт пошлет!..

Во всяком случае, к наступлению он готовился деятельно: к станции Тимашевской стягивались запасы огневого снаряжения и фуража, выгружались снаряды, огромные обозы уходили в степь. Армия развертывалась в районе Тимашевской фронтом на юго-восток, с тем чтобы одновременно ударить на Кореновскую и севернее ее, на Выселки.

На рассвете пятнадцатого июля полевые орудия красных открыли ураганный огонь по Кореновской, и через час лава за лавой конные сотни ворвались в поселок и на станцию. Рубили кадетов со свистом, сшибали конями, в плен взяли тех только, кто еще издали бросил винтовку. Пехотные части шли всю ночь и в Кореновской немедленно начали окапываться не полукольцом, как под Белой Глиной, а сплошным овальным окружением.

Белое солнце вставало во мгле пыли и зноя. Вся степь была в движении: мчалась конница, ползли полки, грохотали колесами батареи, слышались ругань, удары, выстрелы, конский визг, хриплые крики команды. До самого горизонта тянулись обозы. День был горячий, как печь. Сорокин на полпути бросил штаб и верхом на белом от мыла жеребце вертелся среди войск. От него, как гончие, порскали с приказами дежурные и вестовые.

Шапку он потерял во время скачки, черкеску сбросил. На нем была шелковая малиновая рубашка с закатанными выше локтей рукавами, синие кавалерийские штаны туго перепоясаны наборным ремнем. Всюду видели его черное от пота и пыли лицо, оскаленные зубы. Он переменил уже третьего коня, осматривал расположение батарей, окопы, где пехотные части по-кротовьи закапывались в чернозем, выскакивал в степь к секретам, уносился к подъезжавшим и разгружавшимся обозам со снарядами, взмахом нагайки подзывал командиров и, перегибаясь к ним с седла, горячий и страшный, с бешеными глазами, выслушивал рапорты. Он, будто дирижер гигантского оркестра, натягивал нити музыки начинающейся битвы. Он бросил у вок-

зала тяжело дышащего коня, вбежал в отделение телеграфа, отпихнул ногой валяющийся у порога труп в погонах, с рассеченным черепом, и, читая бегущую с аппарата ленту, испытал чувство яростного, пьянящего возбуждения: с юга, покинув станцию Динскую, спешно подходили войска Дроздовского и Казановича — принимать бой.

Дроздовцы были двинуты на телегах — весь день в облаках горячей пыли мчались по степи сотни подвод. Марковцы генерала Казановича, погруженные вместе с артиллерией в поезда, опередили их и на рассвете шестнадцатого прямо из вагонов бросились в атаку на Кореновскую.

Генерал Казанович стоял на срубе колодца у железнодорожной будки и спокойно следил за умелыми движениями офицерских цепей, идущих без выстрела. Тонкое, изящное лицо его, с полуседыми длинными усами и подстриженной бородой (как носил государь император), было насмешливо-сосредоточенно, красивые глаза холодно, с женственной страстностью, улыбались. Он был настолько уверен в исходе боя, что ни минуты не захотел ждать дивизии Дроздовского. Он соперничал в поисках славы с Дроздовским, болезненно самолюбивым, осторожным и, часто во вред делу, медлительным. Он любил войну за

ее пышный размах, за музыку боя, за громкую славу побед.

Огромный солнечный шар выкатился из-за далеких курганов, — в нем была июльская ярость; слепящий свет ударил в глаза большевикам. Застучали пулеметы, знойную тишину разорвали залпы. Видно было, как из окопов поднимались густые цепи противника. Марковцы бежали вперед, ни один не кланялся пулям. Навстречу им ползли тысячи фигурок. Казанович поднял к глазам бинокль. Странно!

— Шрапнелью три очереди по товарищам! — приказал он сидевшему у колодца телефонисту.

Две батареи, скрытые за насыпью, открыли огонь. Низко над цепями противника рванулись ватные клубки шрапнели. Фигурки заметались, выправились и продолжали наступать. Теперь все поле грохотало от выстрелов. Заревели наконец батареи большевиков. Казанович, недоумевая, усмехнулся, узкая рука его с биноклем задрожала. Марковцы ложились, торопливо окапывались. Лицо его побледнело под загаром. Он соскочил с колодца, присел над телефонным ящиком и вызвал генерала Тимановского.

— Цепи ложатся, — закричал он в трубку. — Чего бы ни стоило, опрокинь левое крыло… Дорога

секунда…

Сейчас же из-за полотна, скатываясь под откос, побежали марковцы — резервы Тимановского. Пачками, цепь за цепью, решительные и взволнованные, они пропадали в высокой, уже осыпавшейся пшенице. Тимановский — молодой, румяный, всегда смешливый, в сдвинутой папахе, в грязной холщовой рубашке с черными генеральскими погонами, подхватив шашку, — побежал за цепями. Происходило непонятное: большевиков будто подменили, все моменты, когда они неминуемо должны были дрогнуть, миновали. Теперь вся степь полнилась их наступающими фигурками. Бешено стучали добровольческие пулеметы, — новые волны противника сменяли упавших.

Там, где кончалось пшеничное поле, бежали со штыками наперевес роты Тимановского — одна, другая… Казанович вытянулся, как струна, на срубе колодца. В узкое поле бинокля он видел свирепые затылки марковцев. Сколько напряжения! Падают, падают! Он вел биноклем за бегущими — и вдруг увидел разинутые рты, широкие лица, матросские шапочки, голые бронзовые груди… Большевики-матросы… Сейчас же все смешалось, сбилось в клубок, — удар и штыки. Болезненная

усмешка застыла на изящно очерченных губах Казановича… Марковцы не выдержали. Остатки первой роты бежали в пшеницу, легли. Вторая рота отхлынула, легла.

Тогда он соскочил с колодца и легко побежал по полю. Его увидали. Ему удалось поднять цепи, крича: «Господа, господа, стыдно!» Он бросил их в штыки, но огонь был так жесток, люди падали в таком изобилии, что цепи снова легли… Неужели это был проигранный бой?

В девятом часу утра с запада послышались удары пушек Дроздовского. Серой черепахой, переваливаясь, появился в степи броневик. Дроздовцы методично и не спеша повели наступление. В третий раз поднялись цепи Казановича. Добровольцы надвигались теперь широким фронтом-полумесяцем. Этого удара не должны были выдержать большевики.

Между окопами большевиков появился всадник, — он бешено скакал, размахивая блистающим клинком. Взлетел на курган, осадил коня. На всаднике была пунцовая рубашка с засученными рукавами, голова закинута, он кричал и снова махал шашкой. И вот на цепи наступающих дроздовцев вылетели лавы кавалерии. Низенькие злые лошаденки стлались по земле.

Выстрелы прекратились. Далеко был слышен свист клинков, вой, топот. Всадник в пунцовой рубашке сорвался с кургана и, бросив поводья, мчался впереди. Поднималась черная пыльная туча, заволакивая поле сражения. Дроздовцы и марковцы не выдержали удара конницы и побежали. Они остановились и окопались за ручьем Кирпели.

Иван Ильич Телегин, морщась и знобясь от боли, бинтовал себе голову марлей из индивидуального пакета.

Царапина была пустяковая, кости не затронуты, но больно отчаянно, — винтом сворачивало весь череп. Он так ослабел от усилий, что после перевязки долго лежал на спине в пшенице.

Странно было слышать мирный, как ни в чем не бывало, треск кузнечиков. Невидимые в трещинах земли кузнечики и большие звезды южной ночи да несколько усатых колосков, неподвижно висящих между глазами и небом, — вот чем окончилась кровавая возня, вопли и железный грохот битвы. Давеча стонал где-то неподалеку раненый, — и он затих.

Хорошая вещь — тишина. Замирала жгучая боль в голове, — казалось, успокоение наступало от этого торжественного величия ночи. Мельк-

нули было в памяти яркие обрывки дня, всего разметанного в клочья ударами пушек, криками разинутых по-звериному ртов, вспышками ненависти, когда бежишь, бежишь, видя только острие штыка и бледное лицо стреляющего в тебя человека. Но воспоминания вонзились в мозг так болезненно, так своротили вдруг череп, что Иван Ильич замычал: скорее, скорее — о чем-нибудь другом…

О чем же другом мог он думать? Либо эти страшные клочья длительного, не охватываемого воображением события, — революция, война, — либо далекий, запертый под замок сон о счастье — Даша! Он стал думать о ней (в сущности, он никогда не переставал думать о ней), о ее беспризорности: одна, неумелая, беспомощная, фантазерка… Сердитые глаза, а сердце, как у птицы, тревожное, порывистое, — дитя, дитя…

В откинутой руке Иван Ильич сжал комочек теплой земли. Закрыл веки. Рассталась — уверена, что навсегда. Дурочка… И никто твоих сердитых глаз не испугается… И никто вернее меня не будет любить, дурочка… Натерпишься обид, горьких, незабываемых…

Из-под ресниц у Ивана Ильича выступили слезы, — ослаб от ранения. Под самым ухом начал

тыркать, трещать кузнечик. От света звезд кровавое, истоптанное поле казалось серебристым. Все прикрыла ночь… Иван Ильич приподнялся, посидел, обхватив колена. Все было, как во сне, как в детстве. Сердце жалело, плакало… Он встал и пошел, стараясь, чтобы шаги не отдавались в голове.

Кореновская была в версте отсюда. Там кое-где светились костры. Ближе, в лощинке, плясал над землей бездымный язык пламени. Иван Ильич почувствовал жажду и голод и повернул в сторону костра.

Со всего поля брели туда темные фигуры, — кто легко раненный, кто заблудившийся из растрепанной части, кто волок пленного. Перекликались, слышалась хриплая ругань, крепкий хохот… У костра, где пылали шпалы, лежало много народа.

Иван Ильич потянул носом запах хлеба, — все эти покрытые пылью люди жевали. Близ огня стояла телега с хлебом и с бочонком, откуда тощая измученная женщина в белой косынке цедила воду.

Он напился, получил ломоть и прислонился к телеге. Ел, глядя на звезды. Люди у костра казались успокоившимися, многие спали. Но те, кто

подходил с поля, еще кипели злобой. Ругались, грозились в темноту, хотя их никто не слушал. Сестра раздавала ломти и кружки с водой.

Один, чернобородый, голый по пояс, приволок пленного и сбил его с ног у костра.

— Вот, сука, паразит… Допрашивай его, ребята… — Он пхнул упавшего сапогом и отступил, подтягивая штаны. Впалая грудь его раздувалась. Иван Ильич узнал Чертогонова и — отвернулся. Несколько человек кинулись к лежавшему, нагнулись:

— Вольноопределяющийся… (Сорвали с него погоны, бросили в огонь.) Мальчишка, а злой, гадюка!

— За отцовские капиталы пошел воевать… Видно, из богатеньких…

— Глазами блескает, вот сволочь…

— Чего на него глядеть, пусти-ка…

— Постой, может, у него какие бумаги, — в штаб его…

— Волоки в штаб…

— Ни! — закричал Чертогонов, кидаясь. — Он раненый лежит, я подхожу, — видишь сапоги-то, — он в меня два раза стрелил, я его не отдам… — И он закричал пленному еще дичей: — Скидай сапоги!

Иван Ильич опять покосился. Обритая круглая юношеская голова вольноопределяющегося отсвечивала при огне. Зубы были оскалены, зрачки больших глаз метались, маленький нос весь собрался морщинами. Должно быть, он совсем потерял голову… Резким движением вскочил. Левая рука его безжизненно висела в разорванном, окровавленном рукаве. Между зубами раздался тихий свист, он даже шею вытянул… Чертогонов попятился, — так было страшно это живое видение ненависти…

— Эге! — проговорил из толпы чей-то густой голос. — А я же его знаю, у батьки его работал на табачной фабрике, — то ж ростовский фабрикант Оноли…

— Знаем, знаем, — загудели голоса.

Нагнув лоб, Валерьян Оноли закрутил головой, закричал с пронзительной хрипотцой:

— Мерзавцы, хамы, крррразная сволочь! В морду вас, в морду, в морду! Мало вас пороли, вешали, собаки? Мало вам, мало? Всех за члены перевешаем, хамовы сволочи…

И, ничего уже не сознавая, он схватил Чертогонова за косматую бороду, стал бить его сапогом в голый живот…

Иван Ильич сейчас же отошел от телеги. Гроз-

но зашумели голоса, острый крик прорезал их нарастающий гнев. Над толпой поднялось растопыренное, дрыгающее ногами тело Валерьяна Оноли, подлетело и упало… Высоко поднялся над костром столб мелких искр…

В похолодевшей перед утром степи захлопали кнутами еще ленивые выстрелы, торжественно прокатился орудийный гул. Это колонны Дроздовского и Боровского снова пошли в наступление из-за ручья Кирпели, чтобы отчаянным усилием повернуть счастье на свою сторону.

В эту же ночь командарм Сорокин получил из Екатеринодара приказ от непрерывно заседающего ЦИКа быть главнокомандующим всеми красными силами Северного Кавказа.

Сообщил ему об этом начальник штаба Беляков: с телеграфной лентой кинулся в вагон главкома и, сбросив его ноги с койки, прочел приказ, освещая ленту бензиновой зажигалкой. Сорокин, не в силах проснуться, таращил глаза, валился на горячую подушку. Беляков стал трясти его за плечи:

— Да проснись ты, ваше высокопревосходительство, товарищ главнокомандующий… Хозяин Кавказа — понял? Царь и бог — понял?

Тогда Сорокин понял всю огромную важность

известия, всю изумительную судьбу свою, оттиснутую точками и линиями на узкой полоске бумаги, извивающейся в пальцах начштаба. Он быстро оправил штаны, накинул черкеску, пристегнул кобуру, шашку.

— Немедленно объявить приказ по армии… Мне — коня…

На рассвете Иван Ильич Телегин после перевязки, разыскивая штаб своего полка, пробирался между возами. В это время со стороны вокзала по улице пролетела кучка конвойных с развевающимися башлыками, впереди скакал трубач, за ним — двое: Сорокин, рвавший повод у гривастого коня, и казак со значком главнокомандующего на пике. Как ночные духи в закружившейся пыли, всадники умчались в сторону выстрелов.

На телегах, мокрых от росы, поднимались заспанные головы, выставлялись бороды, хрипели голоса. И уже далеко в степи пела труба скачущего горниста, оповещая о том, что главнокомандующий близко, здесь, в бою, под пулями… «Опрокинем врага, та-та-та, — пела труба, — к победе и славе вперед… Для героя нет смерти, но слава навек, та-та-та…»

В мазаной хате с выбитыми окошками Иван Ильич нашел Гымзу. Больше никого из штаба

полка здесь не было. Гымза сутуло сидел на лавке, огромный и мрачный, рука его с деревянной ложкой висела между раздвинутыми коленями. На столе стоял горшок со щами и рядом туго набитый портфель — весь аппарат начальника особого отдела.

Гымза, казалось, дремал. Он не пошевелился, только повернул глаза в сторону Ивана Ильича:

— Ранен?

— Пустяки, царапина…Провалялся полночи в пшенице… Потерял своих, — такая путаница… Где полк?

— Сядь, — сказал Гымза. — Есть хочешь?

Он с трудом поднял руку, отдал ложку. Иван Ильич набросился на горшок с полуостывшими щами, даже застонал. С минуту ел молча.

— Наши дрались вчера, товарищ Гымза, цепи и поднимать не надо: на триста, на четыреста шагов бросались в штыки…

— Поел, будет, — сказал Гымза. Телегин положил ложку. — Ты слышал приказ по армии?

— Нет.

— Сорокин — верховный главнокомандующий. Понятно?

— Ну, что ж, это хорошо… Ты видел его вчера? С брошенными поводьями пер в самый огонь, —

пунцовая рубашка, весь на виду. Бойцы, как завидят его, — ура! Кабы не он вчера, — не знаю… Мы еще подивились вчера: прямо — цезарь.

— То-то — цезарь, — сказал Гымза. — Жалко — расстрелять его не могу.

Телегин опустил ложку:

— Ты… смеешься?

— Нет, не смеюсь. Тебе все равно этих делов не понять. — Тяжелым взглядом, не мигая, он глядел на Ивана Ильича. — Ну, а ты-то не предашь? (Телегин спокойно взглянул ему в глаза.) Ну, что ж… Хочу поручить тебе трудное дело, товарищ Телегин… Думаю я, — пожалуй, ты самый подходящий… На Волгу тебе надо ехать.

— Слушаю.

— Я напишу все мандаты. Я тебе дам письмо к председателю Военного совета. Если ты не сладишь, не передашь, — тогда лучше уходи к белым, назад не являйся. Понял?

— Ладно.

— Живым в руки не давайся. Больше жизни береги письмо. Попадешь в контрразведку, — все сделай, съешь это письмо, что ли… Понял? — Гымза задвигался и опустил на стол кулак, так что горшок подпрыгнул. — Чтобы ты знал, — в письме вот что будет: армия в Сорокина верит.

Сорокин сейчас герой, армия за ним куда угодно пойдет… И я требую расстрела Сорокина… Немедленно, покуда он революцию не оседлал. Запомнил? Эти слова — твоя смерть, Телегин… Понятно?

Он помолчал. По лбу его ползли мухи. Телегин сказал:

— Хорошо, будет сделано.

— Так поезжай, дружок… Не знаю, — через Святой Крест, на Астрахань — далеко… Лучше тебе пробираться Доном на Царицын. Кстати, разведаешь, что у белых в тылах… Захвати офицерские погоны, покрасуйся… Какие тебе — капитанские или подполковничьи?

Он усмехнулся, положил Телегину руку на колено, похлопал, как ребенка:

— Поспи часика два, а я напишу письмо.

10

Трехнедельный отпуск был наконец получен. Вадим Петрович Рощин, разбитый, больной, растерзанный противоречиями, находился в это время в добровольческом гарнизоне на станции Великокняжеской. Крупных боев не было, — все силы красных оттянулись южнее, на борьбу с главными силами Деникина. Здесь же, по станицам на реках Маныче и Сале, вспыхивали кое-где волнения, но казачьи карательные отряды атамана Краснова проворной рукой успокаивали мятущиеся умы: где внушали честью, где шомполами, а где вешали.

Вадим Петрович уклонялся от участия в расправах, ссылаясь на контузию. По возможности не ходил на офицерские попойки, устраиваемые в ознаменование побед Деникина. И странно: здесь, в гарнизоне, так же как и в действующей армии, к Рощину все относились с настороженностью, со скрытой враждебностью.

Кем-то, где-то был пущен слух про его «красные подштанники», — так к нему это и прилипло.

В окопах под Шаблиевкой вольноопределяю-

щийся Оноли стрелял в него. Рощин отчетливо помнил эту секунду: гул снаряда с бронепоезда, крик ротного «ложись!». Разрыв. И — запоздавший револьверный выстрел, удар, как палкой, в затылок и свирепой радостью метнувшиеся восточные глаза Оноли.

Только один человек мог поверить честному слову Рощина — генерал Марков. Но он был убит, и Вадим Петрович размыслил больше не поднимать сомнительного дела против мальчишки.

Его мучило: откуда все же такая ненависть к нему? Разве не было ясно, что он честен, что он бескорыстен, что его поступками руководит только идея величия России? Не за генеральскими погонами он пошел в эти страшные степи…

У Рощина недоставало беспощадно-ясного видения вещей. Ум его окрашивал мир и события в то, что он сам считал лучшим и главным. Неподходящее пропускалось мимо глаз, от назойливого он морщился. И мир представлялся ему законченной системой. Происходило это, по всей вероятности, от врожденного барства, от многих поколений благодушествующих помещиков. Эта исчезнувшая порода превыше всех благ ставила мирное благодушие и навязывала его всему и повсюду. Пороли мужика на конюшне, — ну, что

же: покричит-покричит мужик и после лозы раскается, ему же будет лучше — раскаянному и умиротворенному. Протестуют векселя, имение идет с торгов, — что ж поделаешь? Можно прожить и во флигельке, в лопухах и крыжовнике, без шумных пиров: пожалуй, что так и душе будет покойнее под старость лет… Никакими усилиями судьбе не удавалось сбить с толку благодушествующего помещика. И вырабатывалось у него особое мягкое зрение — видеть во всем лишь прекраснейшее и благороднейшее!

Это отсутствие едкого взгляда на лица и поступки было и у Вадима Петровича. (Правда, события последних лет сильно потрепали его романтизм, вернее — от него остались одни лохмотья.) Ему теперь постоянно приходилось жмуриться. Вот отчего он уклонялся, например, от посещения офицерского собрания.

Эти люди, — горсточка офицеров и юнкеров, — должны были, по его понятию, носить, как крестоносцы, белые одежды: ведь они подняли меч против взбунтовавшейся черни, против черных вождей, антихристовых или германских — черт их там разберет — слуг и приспешников. (С этим зарядом идей Рощин и попал на Дон.)

Но на офицерских попойках было дико слушать

шумное бахвальство под звон стопочек, похвалы братоубийственной лихости. Эти молодые, когда-то изящные лица «крестоносцев» обезображены нетерпением убивать, карать, мстить; вот они, стоя со стопочками девяностопятиградусного спирта, поют мертвый гимн тому, кто был ничтожнейшим из людей, был расстрелян, сожжен, развеян по ветру, как некогда Лжедимитрий, и если бы можно было собрать всю кровь, пролитую по его бессильной воле, то народ, конечно, утопил бы его живого в этом глубоком озере…

Казалось (на это и жмурился Рощин), этот мертвый гимн был единственной идеей у его однополчан… Очистить Россию от большевиков, дойти до Москвы. Колокольный звон… Деникин въезжает в Кремль на белом коне… Да, да, все это понятно. Но дальше-то что, — самое-то главное? Про Учредительное собрание, например, неприлично было и говорить среди офицеров. Значит: гимн мертвецу?

Что же увлекло этих людей на борьбу и смерть? Рощин жмурился… Подставлять грудь под пули и пить спирт в теплушках уже не было героизмом, — устарело. Этим занимались и храбрые и трусы. Преодоление страха смерти вошло в обиход, жизнь стала дешевой.

Героизм был в отречении от себя во имя веры и правды. Но тут опять жмурки, без конца жмурки… В какую правду верили его однополчане? В какую правду верил он сам? В великую трагическую историю России? Но это была истина, а не правда. Правда — в движении, в жизни, — не в перелистанных страницах пыльного фолианта, а в том, что течет в грядущее.

Во имя какой правды (если не считать московского колокольного звона, белого коня, цветов на штыках и прочее) нужно убивать русских мужиков? Этот вопрос начинал шататься в сознании Вадима Петровича, зыбиться, как отражение в воде, куда бросили камень. Тут-то и начиналось его мучительное расщепление. Он был чужой среди однополчан, «красные подштанники», «едва ли не большевичок».

Все чаще с горящими от стыда ушами он вспоминал последний разговор с Катей. Она сжимала руки, задыхалась от волнения, будто из-под ног Вадима Петровича сыпались камешки в пропасть. «Нужно делать что-то совсем другое, Вадим, Вадим!!»

Ему еще трудно было сознаться, что Катя, должно быть, права, что он безнадежно запутывается, что все меньше понимает — откуда берется, рас-

тет, как кошмар, сила «взбунтовавшейся черни», что сгоряча объяснять, будто народ обманут большевиками, — глупо до ужаса, потому что еще неизвестно, кто кого призвал: большевики революцию или народ большевиков, что ему сейчас больше некого обвинять, — разве самого себя.

Катя была права во всем. Из старой жизни она унесла в эти смутные времена одну защиту, одно сокровище — любовь и жалость. Он вспоминал, как она шла по Ростову, в платочке, с узелком, — кроткая спутница его жизни… Милая, милая, милая… Положить голову на ее колени, прижать к лицу ее нежные руки, сказать только: «Катя, я изнемог…» Но нелепая гордость сковывала Вадима Петровича. На пыльной улице станицы, в строю, в офицерском собрании появлялась его худая фигура, будто затянутая в железный корсет, голова, совсем уже седая, высокомерно поднята… «Елочки точеные, — говорили про него, — тон держит, подумаешь — лейб-гвардеец, сволочь пехотная…»

Он послал Кате два коротеньких письма, но ответа не получил. Тогда он решил написать подполковнику Тетькину. Но в это время пришел отпуск, и Вадим Петрович сейчас же выехал в Ростов.

В полдень с вокзала взял извозчика. Город нельзя было узнать. Садовая улица чисто выметена, деревья подстрижены, нарядные женщины, все в белом, гуляя по теневой стороне, отражаются в зеркальных окнах магазинов.

Рощин вертелся на извозчике, ища глазами Катю. Что за черт? Женщины, как из забытого сна, — а шляпках со старомодными перьями, в панамах, белых шарфах… Белые ножки летят по вымытому мрачными дворниками асфальту, ни одного пятнышка крови на этих белых чулочках. Так вот зачем стоит заслон в Великокняжеской! Четвертую неделю бьется Деникин с красными полчищами! Вот она — простая, «как апельсин», правда белой войны!

Рощин горько усмехнулся. На перекрестках стояли немцы в тошно знакомых серо-зеленых мундирах, в новеньких фуражках — свои, домашние! Ах, вот один выбросил из глаза монокль, целует руку высокой смеющейся красавице в белом…

— Извозчик, поторапливайся!

Подполковник Тетькин стоял у ворот своего дома. Вадим Петрович, подъезжая, выскочил из пролетки и увидел, что Тетькин пятится, глаза его округляются, вылезают, толстенькая рука подня-

лась и замахала на Рощина, будто открещиваясь.

— Здравия желаю, подполковник… Неужели не узнали? Я… Ради бога, что Катя? Здорова? Отчего не…

— Батеньки мои, жив! — бабьим голосом крикнул Тетькин. — Голубчик мой, Вадим Петрович! — И он припал, обнял Рощина, замочил ему щеку слезами.

— Что случилось? Подполковник… говорите все…

— Чуяло сердце — жив… А уж как бедненькая Екатерина Дмитриевна убивалась! — И Тетькин бестолково стал рассказывать про то, как она ходила к Оноли, и он, непонятно зачем, уверил ее в смерти Рощина. Рассказал про Катино горе, отъезд.

— Так, так, — твердо проговорил Рощин, глядя под ноги, — куда же уехала Екатерина Дмитриевна?

Тетькин развел руками, добрейшее лицо его изобразило мучительное желание помочь.

— Помнится мне, — говорила, что едет в Екатеринослав… Будто бы даже хотела там в кондитерское заведение какое-то поступить… От отчаяния — в кондитерскую… Я ждал — напишет, — ни строчечки, как в воду канула…

Рощин отказался зайти выпить стаканчик чаю и сейчас же вернулся на вокзал. Поезд на Екатеринослав отходил вечером. Он пошел в зал для ожидания первого класса, сел на жесткий дубовый диван, облокотился, закрыл ладонью глаза — и так на долгие часы остался неподвижным…

Кто-то, с облегчением вздохнув, сел рядом с Вадимом Петровичем, видимо, надолго. Садились до этого многие, посидят и уйдут, а этот начал дрожать ногой, ляжкой, — трясся весь диван. Не уходил и не переставал дрожать. Не отнимая руки от глаз, Рощин сказал:

— Послушайте, вы не можете перестать трясти ногой?..

Тот с готовностью ответил:

— Простите, — дурная привычка. — И сидел после этого неподвижно.

Голос его поразил Вадима Петровича: страшно знакомый, связанный с чем-то далеким, с каким-то прекрасным воспоминанием. Рощин, не отнимая руки, сквозь раздвинутые пальцы одним глазом покосился на соседа. Это был Телегин. Вытянув ноги в грязных сапогах, сложив на животе руки, он, казалось, дремал, прислонясь затылком к высокой спинке. На нем был узкий френч, жмущий под мышками, и новенькие под-

полковничьи погоны. На худом бритом загорелом лице его застыла улыбка человека, отдыхающего после невыразимой усталости…

После Кати он был для Рощина самым близким человеком, как брат, как дорогой друг. На нем лежал свет очарования сестер — Даши и Кати… От изумления Вадим Петрович едва не вскрикнул, едва не кинулся к Ивану Ильичу. Но Телегин не открывал глаз, не шевелился. Секунда миновала. Он понял, — перед ним был враг. Еще в конце мая Вадим Петрович знал, что Телегин — в Красной Армии, пошел туда своей охотой и — на отличном счету. Одет он был явно в чужое, быть может, похищенное у им же убитого офицера, в подполковничьи погоны (а всего он был штабс-капитан царской армии)… Рощин почувствовал внезапную липкую гадливость, какая обычно кончалась у него вспышкой едкой ненависти: Телегин мог здесь быть только как большевистский контрразведчик…

Нужно было немедленно пойти и доложить коменданту. Два месяца тому назад Рощин не поколебался бы ни на мгновенье. Но он прирос к дивану, — не было силы. Да и гадливость будто отхлынула… Иван Ильич, — красный офицер, — вот он, рядом, все тот же — усталый, весь — добрый…

Не за деньги же пошел, не для выслуги, — какой вздор! Рассудительный, спокойный человек, пошел потому, что счел это дело правильным… «Так же как я, как я… Выдать, чтобы через час муж Даши, мой, Катин брат, валялся без сапог под забором на мусорной куче…»

Ужасом сжало горло. Рощин весь поджался… Что же делать? Встать, уйти? Но Телегин может узнать его — растеряется, окликнет. Как спасти?

Неподвижно, точно спящие, сидели Рощин и Иван Ильич близко на дубовом диване. Вокзал опустел в этот час. Сторож закрыл перронные двери. Тогда Телегин проговорил, не открывая глаз:

— Спасибо, Вадим.

У Рощина отчаянно задрожала рука. Иван Ильич легко поднялся и пошел к выходу на площадь спокойной походкой, не оборачиваясь. Минуту спустя Рощин кинулся вслед за ним. Он обежал кругом вокзальную площадь, где у лотков под белым солнцем, от которого плавился асфальт, под связками копченой рыбы дремали черномазые люди… Сожжены были листочки на деревьях, сожжен весь воздух, напитанный городской пылью.

«Обнять его, только обнять», — и красные круги зноя плыли у Рощина перед глазами. Телегин

провалился как сквозь землю.

В тот час, когда погасла степная заря, когда Рощин, забравшись на вагонную койку, глухо заснул под стук вагонных колес, — та, кого он искал, по ком душа его, больная от крови и ненависти, мучительно затосковала, — его жена Катя ехала в степи на тачанке. Плечи ее были закутаны в шаль. Рядом сидела красавица Матрена Красильникова. Бренчало железо тачанки. Пофыркивали кони. Множество подвод растянулось впереди и позади по степи, скрытые сумраком звездной ночи.

Алексей Красильников, опустив вожжи, сидел на козлах. Семен — бочком на обочине тачанки, по сапогам его хлестали репьи и кашки. Пахло конями, полынью. Катя думала в полудремоте. Ветерком холодило плечи. Не было края степи, не было края дорогам. Из века в век шли кони, скрипели колеса, и снова идут, как тени древних кочевий…

Счастье, счастье — вечная тоска, край степей, лазурный берег, ласковые волны, мир, изобилие.

Матрена вгляделась в Катино лицо, усмехнулась. Опять только топот копыт. Армия уходила из окружения. Батько Махно велел идти тихо. Тяжелые плечи Алексея сутулились, — должно

быть, одолевала дремота. Семен сказал негромко:

— Не отбиваюсь я от вас… При чем — Семен, Семен… (Матрена коротко вздохнула, отвернулась, глядела в степь.) Я Алексею говорил еще весной: не ленточка мне матросская дорога, дорого дело… (Алексей молчал.) Флот теперь чей? Наш, крестьянский. Что же, если мы все разбежимся? Ведь за одно дело боремся, — вы — здесь, мы — там…

— А что тебе пишут-то? — спросила Матрена.

— А пишут, чтобы беспременно вернулся на миноносец, иначе буду считаться дезертиром, вне революционного закона…

Матрена дернула плечом. От нее так и пышало жаром. Но — сдержалась, ничего не ответила. Спустя время Алексей выпрямился на козлах, прислушался, указал в темноту кнутовищем:

— Екатеринославский скорый…

Катя вглядывалась, но не увидала поезда, уносившего на верхней койке в купе спящего Вадима Петровича, — только услышала свист, протяжный и далекий, и он пронзительной грустью отозвался в ней…

В Екатеринославе прямо с вокзала Вадим Петрович пошел по кондитерским заведениям, справляясь о Кате. Он заходил в жаркие кофейни,

полные мух на непротертых окнах и на марле, покрывающей сласти; читал коленкоровые вывески: «Версаль», «Эльдорадо», «Симпатичный уголок», — из дверей этих подозрительных ресторанчиков глядели на него выпученными, как яичный белок, глазами черномазые усачи, готовые, если понадобится, приготовить шашлык из чего угодно. Он справлялся и здесь. Потом стал заходить подряд во все магазины.

Беспощадно жгло солнце. Множество пестрого народу шумело и толкалось на двойных аллеях под пышными ясенями Екатерининского проспекта. Звенели ободранные трамвайчики. До войны здесь создавалась новая столица Южной Украины. Война приостановила ее рост. Сейчас под властью гетмана и охраной немцев город снова ожил, но уже по-иному: вместо контор, банков, торговых складов открывались игорные дома, меняльные лавки, шашлычные и лимонадные; деловой шум и торговое движение сменились истерической суетой продавцов валюты, бегающих с небритыми щеками, в картузиках на затылке, по кофейным и перекресткам, выкриками непонятного количества чистильщиков сапог и продавцов гуталина — единственной индустрии того времени, — приставаниями зловещих бро-

дяг, завываниями оркестриков из симпатичных уголков, бестолковой толкотней праздной толпы, которая жила куплей и продажей фальшивых денег и несуществующих товаров.

В отчаянии от бесплодных поисков, оглушенный, измученный Вадим Петрович присел на скамью под акацией. Мимо валила толпа: женщины, и нарядные и чудные, — в одеждах из портьер, в национальных украинских костюмах, женщины с мокрыми от жары, подведенными глазами, со струйками пота на загримированных щеках; взволнованные спекулянты, продирающиеся, как маньяки, с протянутыми руками сквозь эту толпу женщин; гетманские, с трезубцем на картузах, глупо надутые чиновники, озабоченные идеями денежных комбинаций и хищения казенного имущества; рослые и широкоплечие, с воловьими затылками, гетманские сечевики, усатые гайдамаки в огромных шапках с малиновым верхом, в синих, как небо, жупанах и в чудовищных, с мотней шароварах, по которым два столетия тосковали самостийные учителя гимназий и галицийские романтики. Плыли в толпе неприкосновенные немецкие офицеры, глядевшие с презрительной усмешкой поверх голов…

Рощин глядел — и злоба раздувала ему сердце. «Вот бы полить керосином, сжечь всю эту сволочь…» Он выпил в открытой палатке стакан морсу и снова пошел из двери в дверь. Только теперь он начал понимать безумие этих поисков. Катя, без денег, одна, неумелая, робкая, разбитая горем (с острым ужасом он снова и снова вспоминал про пузырек с ядом в московской квартире) — где-то здесь, в этой полоумной толпе… Ее касаются липкие руки валютчиков, сводников, шашлычников, по ней ползают гнусные глаза…

Он задыхался… Лез с растопыренными локтями прямо в толпу, не отвечая на крики и ругань. Вечером он взял за огромную цену номер в гостинице — темную щель, где помещалась только железная кровать с пролежанным матрацем, стащил сапоги, лег и молча, уткнув седую голову в руки, плакал без слез…

Перейдя пешком донскую границу, Телегин спрятал полковничьи погоны в вещевой мешок; поездом добрался до Царицына и там сел на огромный теплоход, набитый от верхней палубы до трюма крестьянами, фронтовиками, дезертирами, беженцами. В Саратове предъявил в ревкоме документы и на буксирном пароходе пошел на Сызрань, где был чехословацкий фронт.

Волга была пустынна, как в те полумифические времена, когда к ее песчаным берегам подходила конница Чингисхана поить коней из великой реки Ра. Зеркальная ширина медленно уносилась в каемке песчаных обрывов, заливных лугов, поросших зелеными тальниками. Редкие селения казались покинутыми. На восток уходили ровные степи, в волны зноя, в миражи. Медленно плыли отражения облаков. И только хлопотливо шлепали в тишине пароходные колеса по лазурным водам.

Иван Ильич лежал под капитанским мостиком на горячей палубе. Он был босиком, в ситцевой рубахе распояской; золотистая щетина отросла у него на щеках. Он наслаждался, как кот на солнце, тишиной, влажным запахом болотных цветов, тянувшим с низкого берега сухим ковыльным запахом степей, необъятными потоками света. Это был всем отдыхам отдых.

Пароход вез оружие и патроны для партизан степных уездов. Красноармейцы, сопровождавшие груз, разленивались от воздуха — иные спали, иные, наспавшись, пели песни, глядя на просторы воды. Командир отряда, товарищ Хведин, черноморский матрос, по нескольку раз на дню принимался стыдить бойцов за несознатель-

ность, — они садились, ложились около него, подперев щеки…

— Должны вы понять, братишечки, — говорил он им хриповатым голосом, — не воюем мы с Деникиным, не воюем мы с атаманом Красновым, не воюем мы с чехословаками, а воюем мы со всей кровавой буржуазией обоих полушарий… Мирового буржуя надо бить смертельно, покуда он окончательно не собрался с силами… Нам, рррусским (слово это он произносил отчетливо и форсисто), нам сочувствуют кровные братья — пролетарии всех стран. Они ждут одного — чтобы мы кончили у себя паразитов и пошли подсоблять им в классовой борьбе… Это без слов понятно, братишки. Как смелее рррусского солдата ничего не было на свете, — смелее только моряк-краснофлотец, так что у нас все шанцы. Понятно, красавцы? Это арифметика, что я говорю. Сегодня бои под Самарой, а через небольшой срок бои будут на всех материках…

Ребята слушали, глядя ему в рот. Кто-нибудь замечал спокойно:

— Да… Заварили кашу… На весь свет!

Налево засинели Хвалынские горы. Товарищ Хведин глядел в бинокль. Городок Хвалынск, ленивый и сонный, яснее проступал за кущами

деревьев. Здесь должны были брать нефть.

Седенький капитан стал около рулевого. Река разделялась на три русла, огибая наносные тальниковые острова, фарватер был капризный. Хведин подошел к капитану.

— В городе ни одной души не видать, — что за штука?

— Нефть нужно нам брать обязательно, как хотите, — сказал капитан.

— Надо, так подваливай.

Пароход, проходивший у самого острова, где ветви осокорей почти касались колесных кожухов, загудел, стал поворачивать. В это время с острова, из густых тальников, закричали отчаянные голоса:

— Стой! Стой! Куда вы идете?

Хведин выдернул из кобуры револьвер. Команда отхлынула от борта. Закипела вода под пароходными колесами.

— Стой же, стой! — кричали голоса. Шумели тальники, какие-то люди продирались к берегу, появились красные, взволнованные лица, машущие руки. Все указывали на город. Ничего за шумом нельзя было разобрать. Хведин покрыл наконец всех морскими словами. Но и без того стало все понятно… В городе у пристани появи-

лись дымки, по реке раскатились выстрелы. Хвалынск был занят белогвардейцами. Люди на острове оказались остатками бежавшего гарнизона, частью местными партизанами. Некоторые из них были вооружены, но патронов не было.

Красноармейцы кинулись в каюты за винтовками. Хведин сам стал за капитана и ругался на всю водную ширь такими проклятиями, что люди на острове сразу успокоились, на лицах появились улыбки. Хведин сгоряча хотел было сразу атаковать город в лоб с парохода, высадить десант и расправиться. Но его остановил Иван Ильич. В коротком споре Телегин доказал, что атаку без подготовки производить нельзя, что непременно ее нужно комбинировать с обходным движением и что Хведин не знает сил противника, и — может, у них артиллерия?

Хведин только заскрипел зубами, но согласился. Пароход под выстрелами спускался задним ходом по течению и зашел с западной стороны острова, откуда город был скрыт леском. Здесь ошвартовались. Люди с острова высыпали на песчаный берег, — было их человек пятьдесят, ободранные, взлохмаченные.

— Да вы толком слушайте, черти, что мы вам говорить будем, — кричали они.

— К нам на помощь Захаркин идет с пугачевскими партизанами.

— Мы еще третьего дня к нему ходока послали.

И они рассказали, что третьего дня местные буржуи вооруженным налетом врасплох захватили совдеп, телеграф и почту. Офицеры нацепили погоны, кинулись к арсеналу, отняли пулеметы. Вооружились гимназисты, купчики, чиновники, даже соборный дьякон бегал по улице с охотничьим ружьем. Никто не ждал переворота, не успели схватиться за винтовки.

— Наши командиры разбежались, продали командиры…

— Мы как бараны мечемся.

— Эх, вы! — только и сказал на это Хведин. — Эх, вы, сухопутные!..

На берегу все сообща стали держать военный совет. Телегина выбрали секретарем. Поставили вопрос: отнимать Хвалынск у буржуев или не отнимать? Решили отнимать. Вопрос второй: поджидать пугачевских партизан или брать город своей силой? Тут поспорили. Одни кричали, что надо ждать, потому что у пугачевцев есть пушка, другие кричали, что ждать нельзя — с минуты на минуту сверху из Самары подбегут белые пароходы. Хведину надоели споры, — махнул рукой:

— Ну, будет лязгать, товарищи. Постановлено единогласно: к вечеру чтобы Хвалынск был наш. Запротоколь, товарищ Телегин.

В это время на левом берегу, на обрыве, появились верховые: сначала выскочили двое, потом четверо — увидели пароход — ускакали. Потом сразу весь берег покрылся всадниками, на солнце блестели широкие пики, сделанные из кос. Хвалынские начали кричать:

— Э-эээ-й, чьи будете-е-е?

Оттуда ответили:

— Отряд Захаркина пугачевской крестьянской армии…

Хведин взял рупор, надувая шею, загудел:

— Братишки, мы вам оружие привезли, катись на остров… Хвалынск будем брать…

Оттуда закричали:

— Ладно… У нас пушка есть… Гони сюда пароход…

Всадники на берегу были одним из отрядов партизанской крестьянской армии, дравшейся в самарских степях против волостей, признавших власть самарского временного правительства.

Армия возникла сейчас же после занятия Самары чехословаками. Город Пугачевск — в прошлом Николаевск — стал центром формирования. Сюда

собирались все горячие головы, кому любо было поездить на конях, все, кто загнан был знаменитым земельным скупщиком Шехобаловым на нищий крестьянский клин, все, кто тягался за землю с богатейшими уральскими станичниками, все, у кого через край переплескивалась душа, рожденная в бескрайних степях, где вольно шумит пшеница, где мужик, понукая медлительных волов, идет за тяжелым плугом.

Противник возникал повсюду, как степной мираж. В селе собирался сход, богатенькие мужики, унтер-офицеры царской армии, приезжие из Самары переодетые агитаторы кричали, что нет такого закону, чтобы бедняк, батрак, безземельный бродяга садился править волостью, отнимал у крепких мужиков землю и хлеб. И сход решал слать в соседние села ходоков, чтобы окапывались. Сразу поднималась целая волость, вытаскивали из потайных мест оружие, проводили плугом борозды на границе, рыли окопы на десятки верст.

В иных местах провозглашалась республика с подчинением самарскому центру. Охрана территории поручалась коннице, пехота мобилизовалась только в случае нападения красных. Для вооружения конницы годились косы, — их

торчком привязывали к шестам. Такие кулацкие армии были страшны. Они появлялись неожиданно из степного марева, налетали в тучах пыли на цепи и пулеметы красных. Здесь дрались свои: брат на брата, отец на сына, кум на кума, — значит, без страха и беспощадно. Разбив красных, конница вооружалась пулеметами и винтовками, но кос не бросала.

Ни летописей, ни военных архивов не осталось от этой великой крестьянской войны в самарских степях, где еще помнились походы Емельяна Пугачева. Разве только в престольный праздник поспорят за ведром вина отец с сыном о былых боях, упрекая друг друга в стратегических ошибках.

— Помнишь, Яшка, — скажет отец, — начали вы в нас садить под Колдыбанью из орудия? Непременно, думаю, это мой Яшка, сукин сын… Вот ведь вовремя уши ему не оборвал… А здорово мы вас пуганули… Хорошо, ты мне тогда не попался…

— Хвастай, хвастай! А взяла наша…

— Ничего, придет случай — опять разойдемся.

— Что ж, и разойдемся… Как ты был кулак, так при своей кровавой точке зрения и остался.

— Выпьем, сынок!

— Выпьем, батя!

Пароход подошел к левому берегу. Бросили трап, и на борт поднялся командир пугачевского отряда Захаркин. Человек с крючковатым носом, как у орла-стервятника. Он был до того силен и кряжист, что сходни затрещали под ним. Выгоревший френч его лопнул под мышками, по высоким сапогам била кривая сабля. Его старшие братья, крестьяне Утевской волости, командовали уже дивизиями.

За ним поднялось шестеро партизан — командный состав, — одетые живописно и необыкновенно: выцветшие, в дегтю и пыли, рубахи, расстегнутые вороты, у кого валенки со шпорами, у кого — лапти; пулеметные ленты, гранаты за поясом, германские плоские штыки, обрезы.

Захаркин и Хведин встретились на капитанском мостике, пожали руки — один крепче другого. Угостились папиросами. Хведин кратко объяснил военную обстановку. Захаркин сказал:

— Я знаю, кто в Хвалынске воду мутит, — Кукушкин, председатель земской управы.... Мне бы эту сволочь живым взять.

— Насчет пушки, — сказал Хведин, — как у вас — в исправности?

— Стреляет, но прямой наводкой, без прицела,

целимся через дуло. Зато бьет, проклятая: ахнешь — колокольня или водокачка вдребезги!

— Хорошо. А насчет десанта и обходного движения как думаете, товарищ Захаркин?

— Конницу перекинем на тот берег. Пароходишко может свезти сотню бойцов?

— Шутя — в два рейса.

— Ну, тогда говорить не о чем. Смеркнется — перекинем конный десант повыше города. Пушку поставим на пароход. А на зорьке атакуем.

Хведин поручил Ивану Ильичу командовать стрелковым десантом, который назначался к удару — в лоб по пристаням. В сумерки пароход осторожно, без огней, пошел по боковому рукаву Волги вдоль острова. В тишине слышался только голос матроса, промеряющего глубину.

Вслед за пароходом ушли по берегу и пугачевцы. Хвалынским было роздано оружие, они лежали на песке. Телегин ходил у самой воды, посматривая, чтобы не курили, не зажигали огня. Чуть слышно плескалась река о песок. Пахло болотными цветами. Звенели комарики. Люди на песке притихли.

Ночь становилась все чернее, все бархатнее, усыпалась звездами. Со степного берега тянуло сухостью полыни, булькали перепела: «спать

пора»... Иван Ильич ходил вдоль воды, разгоняя сон.

Когда ночь переломилась, небо потеряло бархатную черноту и далеко из-за реки послышались петухи, — по воде, едва задымившейся туманом, зашлепали колеса. Подходил пароход. Иван Ильич осмотрел барабан револьвера, подтянул ремешок на штанах и пошел вдоль спящих, похлопывая их палочкой по ногам:

— Товарищи, просыпайтесь.

Люди одичало вскакивали. Знобясь, поднимались, не сразу соображали спросонок, что предстоит... Многие пошли пить, опуская голову в воду. Телегин командовал вполголоса. Надо было натаскать прикрытие, — бойцы стали стаскивать рубашки, набивали их песком и укладывали вдоль фальшборта. Работали молча, — было не до шуток.

Начинало светать. Приготовления закончились. Небольшую пушку, горное заржавленное орудие, установили на носу. Пятьдесят бойцов поднялись на борт, легли за мешками. Хведин стал на штурвал:

— Вперед, самый полный!

Закипела вода под колесами. Пароход быстро обогнул остров и по коренному руслу побежал

на город. Там кое-где желтели огоньки. Позади проступала смутная линия гор, покрытая ночью. Теперь громко доносились крики петухов.

Иван Ильич стоял около орудия. Он никак не мог представить, что сейчас нужно будет стрелять в эту вековечную тишину. Хвалынский житель, вызвавшийся быть наводчиком у пушки, смирный, похожий на дьячка-рыболова, сказал ласковым голосом:

— Дорогой товарищ командир, а что — вдарить бы нам по почте? В самый аккурат… Видите — два огонька желтеются…

— Вдарить по почте! — громыхнул в рупор голос Хведина. — Готовьсь! Орудие! Прямой наводкой!

Бомбардир присел, глядя сквозь ствол пушки, — навел его на огоньки. Заложил снаряд. Обернулся к Телегину:

— Товарищ дорогой, отойдите маленько, разорвать может эту штуку…

— Огонь! — гаркнул Хведин.

Отскочив, ослепила, ударила пушка, покатился по воде грохот, отозвался в горах. Близ места, где желтели огоньки, блеснул разрыв, и второе эхо кинулось по горам.

— Огонь, огонь! — кричал Хведин, крутя штурвал. — С левого борта частый огонь! Залпами,

залпами по сволочам!

Он топал ногами, бесновался, гремел сверхъестественными словами. С борта выстрелили беспорядочным залпом. Хвалынский берег быстро приближался. Бомбардир аккуратно зарядил и опять выстрелил, — было видно, как полетели щепы от какого-то сарая. Теперь отчетливо рисовались очертания деревянных домов, сады, колокольни.

Внизу на пристанях начали вспыхивать иголочки ружейного огня. И вот то, чего опасался Телегин, раздалось: отчетливо, торопливо застукал пулемет. Привычно поджались пальцы на ногах, как будто во всем теле сжались сосудики. Телегин присел у пушки, указывая бомбардиру на длинное строение на полугоре.

— Попытайся-ка попасть вон в тот угол, где кусты…

— Э-хе-хе, — сказал бомбардир, — домик-то этот хорош, ну да ладно.

В третий раз ударила пушка. Пулемет на минуту затих и застучал в другом уже месте, выше. Пароход крутым поворотом подбегал к пристани. Высоко — по трубе, по мачте, — резануло пулями.

— Не дожидайся причала, прыгай! — кричал

Хведин. — Ура, ребята!

Заскрипел, затрещал борт конторки. Телегин выскочил первым, обернулся к ползущим через борта хвалынцам:

— За мной! Ура!

И побежал по сходням на берег. За ним заорала толпа. Стреляли, бежали, спотыкались. Берег был пуст. Как будто в садовые заросли метнулось несколько фигур. Кое-где стреляли с крыш. И уже совсем далеко, на холмах, застучал с перебоями, замолк и еще раза два стукнул пулемет. Противник не принимал боя.

Телегин очутился на какой-то неровной площади. Едва переводя дыхание, оглядывался, собирал людей. Подошвы босых ног горели, — должно быть, ссадил их о камни. Пахло пылью. Деревянные дома стояли с закрытыми ставнями. Не шевелились даже листы на сирени и на акации. В угловом двухэтажном доме, с провинциальной башенкой, на балконе висели на веревке четыре пары подштанников. Телегин подумал: «Это сопрут». Город, казалось, крепко спал, и бой, беготня, крики — только приснились.

Телегин спросил, где почтамт, телеграф, водокачка, и послал туда отряды по десяти человек. Бойцы пошли, все еще ощетиненные, отска-

кивая, вскидывая на каждый шорох винтовку. Противника нигде не обнаружилось. Уже начали запевать скворцы, и с крыш снимались голуби.

Телегин с отрядом занял совдеп, каменное здание с облупленными колоннами. Здесь двери были настежь, в вестибюле валялось оружие. Телегин вышел на балкон. Под ним лежали пышные сады, давно не крашенные крыши, пыльные пустые улочки. Провинциальная тишина. И вдруг вдалеке раздался набат: тревожный, частый, гулкий голос колокола полетел над городом. Там, откуда несся медный крик о помощи, началась частая стрельба, взрывы ручных гранат, крики, тяжелый конский топот и вой. Это десант Захаркина преградил дорогу отступающему в горы противнику. Затем по переулку, цокая подковами, проскакали всадники. И снова все затихло.

Иван Ильич не спеша пошел вниз, к пароходу, доложить, что город занят. Хведин, выслушав рапорт, сказал:

— Советская власть восстановлена. Делать нам больше здесь нечего. Поплыли дальше. — Старичка капитана, едва живого от страха, он братски похлопал по спине: — Дождался, понюхал пороху. Так-то, брат… Передаю командование, становись на вахту.

Под стук машины, журчание воды Телегин проспал до вечера. Над рекой разлился закат прозрачно-мглистым заревом. На корме негромко пели — с подголосками, уносившимися в эти пустынные просторы. Напрасная красота вечерней зари ложилась на берега, на реку, лилась в глаза, в душу.

— Эй, братишки, что приуныли? Уж петь, так веселую! — крикнул Хведин. Он тоже выспался, выпил чарку спирту и теперь похаживал по верхней палубе, подтягивая штаны. — Сызрань бы нам еще взять! Как, товарищ Телегин? Вот бы отчубучить…

Он скалил белые зубы, похохатывал. Плевать ему было на все опасности, на печаль заволжских закатов, на смертную пулю, которая где-нибудь поджидает его, — в бою ли или из-за угла… Жадность к жизни, горячая сила так и закипали в нем. Палуба трещала под его голыми пятками.

— Подожди, дай срок, и Сызрань и Самару возьмем, наша будет Волга…

Заря подергивалась пеплом. Пароход бежал без огней. Вечер покрыл берега, они расплылись. Хведин, не зная, куда девать силу, предложил Ивану Ильичу сыграть в картишки:

— Ну, не хочешь на деньги, давай в носы…

Только бить, так уж бить.

В капитанской каюте сели играть в носы. Хведин горячился, подваливал, нагнал до трехсот носов, от избытка горячности едва было не сплутовал, но Иван Ильич глядел зорко: «Нет, брат, не с дураками играешь». И выиграл. Усевшись удобно на табуретке, Телегин начал бить засаленными картами. У Хведина нос сразу стал как свекла.

— Ты где это учился?

— В плену у немцев учился, — сказал Телегин. — Морду не отворачивай. Двести девяносто семь.

— Ты смотри… Без оттяжки бей… А то я — из шпалера…

— Врешь, последние три полагается с оттяжкой.

— Ну, бей, подлец…

Но Телегин не успел ударить. В каюту вошел капитан. Челюсть у него прыгала… Фуражку держал в руке. По серой лысине текли капли пота.

— Как хотите, господа товарищи, — сказал он отчаянно, — я готов на все… Но, как хотите, дальше не поведу… Ведь на верную же смерть…

Бросив карты, Хведин и Телегин вышли на палубу. С левого борта впереди ярко горели, как

звезды, электрические огни Сызрани. Огромный теплоход, весь ярко освещенный, медленно двигался вдоль берега: простым глазом можно было рассмотреть на корме огромный белый андреевский флаг, внушительные очертания пушек, прогуливающиеся по палубе фигуры офицеров…

— Не могу вертаться, товарищи. Хоть тут что, а надо пройти, — зашептал Хведин. — Нам проскочить бы до Батраков, там ошвартуемся, выгрузимся…

Он приказал всей команде сесть в трюм, быть готовой к бою. На мачте подняли трехцветный флаг. Зажгли отличительные огни. С теплохода заметили наконец буксир. Короткими свистками приказали замедлить ход. Голос в рупор пробасил оттуда:

— Чье судно? Куда идете?

— Буксир «Купец Калашников». Идем в Самару, — ответил Хведин.

— Почему поздно зажгли огни?

— Боимся большевиков. — Хведин опустил рупор и — вполголоса Телегину: — Эх, мину бы сейчас… Писал я им в Астрахань — вышлите мины… Разини советские…

После молчания с теплохода ответили:

— Идите по назначению.

Капитан дрожащей рукой надел фуражку. Хведин, скалясь, щурясь, глядел на огни теплохода. Плюнул, пошел в каюту. Там, закуривая, ломал спички.

— Иди, что ли, добивай, черт! — крикнул он Телегину.

Через час Сызрань осталась позади. Близ Батраков Телегина спустили в шлюпку. На станции Батраки он сел в двенадцатичасовой поезд и в пять пополудни шел с самарского вокзала на квартиру доктора Булавина. На нем снова был помятый и порванный френч с подполковничьими погонами. Похлопывая по голенищу палочкой, той самой, которой под Хвалынском ночью поднимал партизан, он с живейшим любопытством, как давно невиданное, прочитывал по пути театральные афиши, воззвания, объявления, — все они были на двух языках — русском, с буквой ять, и чешском…

Поднявшись с бокалом лимонада, Дмитрий Степанович Булавин вытащил из-за жилета салфетку, пожевал для достоинства губами и голосом значительным и глубоким, приобретенным за последнее время на посту товарища министра, начал речь:

— Господа, позвольте и мне…

Банкет давался представителями города по поводу победоносного шествия армии Учредительного собрания на север. Заняты были Симбирск и Казань. Большевики, казалось, окончательно теряли Среднее Поволжье. Под Мелекесом остатки Красной конной армии, в три с половиной тысячи сабель, отчаянно пробивались из окружения. В Казани, взятой чехами с налета, было захвачено двадцать четыре тысячи пудов золота на сумму свыше 600 миллионов рублей — больше половины государственного золотого запаса. Факт этот был настолько невероятен, грандиозен, что все его неисчерпаемые последствия еще слабо усваивались умами.

Золото находилось по пути в Самару. Никто еще определенно не накладывал на него властной руки, но чехи как будто решили предоставить его самарскому комитету членов Учредительного собрания, КОМУЧу. Самарское купечество держалось насчет судьбы золота своей точки зрения, но пока ее не высказывало. Чувства же к победителям-чехам достигли степени крайней горячности.

Банкет был многолюдный и оживленный. Дамы самарского общества, — а среди них были такие звезды, как Аржанова, Курлина и Шехо-

балова, владелицы пятиэтажных мукомольных мельниц, элеваторов, пароходных компаний и целых уездов залежного чернозема, — дамы, блистающие бриллиантами с волоцкий орех, в туалетах, если не совсем уже модных, то, во всяком случае, вывезенных в свое время из Парижа и Вены, смеющийся цветник этих дам окружал героя событий, командующего чешской армией, капитана Чечека. Как все герои, он был божественно прост и обходителен. Правда, его плотному телу было немного жарковато, тугой воротник отлично сшитого френча врезывался в багровую шею, но молодое полнокровное лицо, с короткими рыжими усиками, с блестящими глазами, так и просилось на поцелуй в обе румяные щеки. Очаровывающая улыбка не сходила с его уст, словно он отстранил от себя всякую славу, словно общество дам в тысячу раз было приятнее ему, чем гром побед и взятие губернских городов с поездами золота.

Напротив него сидел тучный, средних лет, военный с белым аксельбантом. Яйцевидный череп его был гол и массивен, как оплот власти. На обритом жирном лице примечательными казались толстые губы; он не переставая жевал, сдвинув бровные мускулы, зорко поглядывал

на разнообразные закуски. Рюмочка тонула в его большой руке, — видимо, он привык больше к стаканчику. Коротко, закидывая голову, выпивал. Умные голубые медвежьи глазки его не останавливались ни на ком, точно он был здесь настороже. Военные склонялись к нему с особенным вниманием. Это был недавний гость, герой уральского казачества, оренбургский атаман Дутов.

Неподалеку от него, между двумя хорошенькими женщинами, блондинкой и шатенкой, сидел французский посол, мосье Жано, в светло-серой визитке, в ослепительном белье. Маленькое личико его, с превосходнейшими усами и острым носиком, было сильно поношено. Он гортанно трещал, склоняясь то к полуобнаженным прелестям шатенки (она ударяла его за это цветком по руке), то к жемчужно-розовому плечу блондинки, хохочущей так, будто француз ее щекотал. Обе дамы понимали по-французски, только когда говорят медленно. Было очевидно, что женские прелести свели с ума бедняжку Жано. Все же это не мешало ему во время коротких пауз обращаться к солидному мукомолу Брыкину, только что приехавшему из Омска, или поднять бокал за доблестные деяния атамана Дутова. Интерес,

проявляемый мосье Жано к сибирской муке и оренбургскому мясу и маслу, указывал на его горячую преданность белому движению; в минуты продовольственных затруднений французский посол всегда мог предложить правительству полсотни вагонов муки и прочего… Находились скептические умы, утверждавшие, что не мешало бы, как это делается всяким порядочным правительством, предложить мосье Жано представить полностью верительные посольские грамоты… Но правительство предпочитало путь более тактичный — доверие к союзникам.

За столом находился еще один примечательный иностранец — смуглый, быстроглазый синьор Пикколомини (утверждавший, что это его настоящая фамилия). Он представлял в своем лице несколько неопределенно итальянскую нацию, итальянский народ. Короткий голубой мундир его был расшит серебряным шнуром, на плечах колыхались огромные генеральские эполеты. Он формировал в Самаре специальный итальянский батальон. Правительство разводило руками: «Где он тут найдет итальянцев? Черт его знает», — но деньги давало: все-таки союзники. В буржуазных кругах ему значения не придавали.

Правительство отсутствовало на этом банке-

те, кроме беспартийных — доктора Булавина и помощника начальника контрразведки, Семена Семеновича Говядина, высоко вознесшегося по служебной лестнице. Время обоюдных восторгов, когда скидывали большевиков, миновало. Правительство КОМУЧ, — все до одного твердокаменные эсеры, — несло такую бурду про завоевания революции, что только чехи, ни черта не понимавшие в русских делах, и могли еще ему верить. Конечно, на первых порах, — когда делали переворот и нужно было успокоить рабочих и мужиков, — эсеровское правительство было даже превосходно. Самарское купечество само повторяло эсеровские лозунги. Но вот уже и Волгу освободили от Хвалынска до Казани, и Деникин завоевал чуть ли не весь Северный Кавказ, и Краснов подходит к Царицыну, и Дутов расчистил Урал, и в Сибири что ни день возникают грозные белые атаманы, — а эти, заседающие в великолепном дворце самарского предводителя дворянства нечесаные голодранцы Вольский, Брушвит, Климушкин с товарищами, — все еще не могут успокоиться: как бы это им так все-таки довести до Учредительного собрания… Тьфу! И большое купечество решительно стало переходить на другие лозунги — попроще, покрепче,

попонятнее…

Дмитрий Степанович говорил, обращаясь главным образом к иностранцам:

— …У змеи выдернуто жало. Этот феноменальный, поворотного значения факт недостаточно учтен… Я говорю о шестистах миллионах золотых рублей, находящихся ныне в наших руках… (У мосье Жано усы встали дыбом. «Браво!» — крикнул он, потрясая бокалом; глаза Пикколомини загорелись, как у дьявола.) У большевиков выдернуто золотое жало, господа… Они еще могут кусать, но уже не смертельно. Они могут грозить, но их не больше испугаются, чем нищего, размахивающего костылем… У них больше нет золота — ничего, кроме типографского станка…

Брыкин, купец из Омска, вдруг разинул рот, громогласно захохотал на эти слова и, вытирая салфеткой шею, пробормотал: «Ох, дела, дела, господи!»

— Господа иностранные представители, — продолжал доктор Булавин, и в голосе его появился металл, какого прежде не бывало, — господа союзники… Дружба дружбой, а денежки денежками… Вчера мы были для вас почти что опереточной организацией, некоторым временным образованием, скажем — вроде шишки,

неизбежно выскакивающей после удара… (Чечек нахмурился, мосье Жано и Пикколомини сделали негодующие жесты… Дмитрий Степанович с лукавством усмехнулся.) Сегодня всему миру уже известно, что мы солидное правительство, мы — хранители золотого государственного фонда… Теперь мы договоримся, господа иностранные представители… (Он сердито стукнул костяшками пальцев по столу.) Сейчас я говорю как частное лицо среди частных лиц, в интимнейшей обстановке. Но я предвижу всю серьезность брошенных мной мыслей… Я предвижу, как двинутся пароходы с оружием и с мануфактурой в русские гавани… Как возникнут гигантские белые армии. Как меч суровой кары опустится на шайку разбойников, хозяйничающих в России… Шестисот миллионов хватит на это… Господа иностранные представители! Помощь, широкая и щедрая помощь — законным представителям русского народа!

Он пригубил из бокала и сел, насупясь и сопя… Сидящие за столом жарко зааплодировали. Купец Брыкин крикнул:

— Спасибо, брат… Вот это верно, это, брат, по-нашему, без социализма…

Поднялся Чечек, коротко одернул на животе

кушак:

— Я буду краток… Мы отдавали, и мы отдадим свою жизнь за счастье братьев по крови — русских… Да здравствует великая, мощная Россия, ура!

Тут уже буквально загремел весь стол от рукоплесканий, дамские протянутые ручки бешено захлопали среди цветов. Поднялся мосье Жано. Голова его была благородно откинута, пышные усы придавали мужество его лицу.

— Медам и месье! Мы все знали, что благородная русская армия, мечтавшая о славе своих отцов, была коварно обманута шайкой большевиков. Они внушили ей противоестественные идеи и изуверские инстинкты, и армия перестала быть армией. Медам и месье, не скрою — был момент, когда Франция поколебалась в своей вере в сердечность русского народа… Этот кошмар развеялся… Сегодня здесь мы видим, что нет и тысячу раз нет, — русский народ снова с нами… Армия уже сознает свои ошибки… Снова русский богатырь готов подставить свою грудь под свинец нашего общего врага… Я счастлив в моей новой уверенности…

Когда затихли аплодисменты, вскочил, потрясая густыми эполетами, Пикколомини. Но так

как никто из присутствующих не понимал поитальянски, то ему просто поверили, что он — за нас, и купец Брыкин полез к нему — черненькому и маленькому — целоваться. Затем были речи представителей капитала. Купечество выражалось туманно и витиевато, — больше кивали на Сибирь, откуда должно прийти избавление… Под конец упросили атамана Дутова сказать словечко. Он отмахивался: «Да нет же, я воин, я говорить не умею…»

Все же он грузно поднялся среди мгновенно наступившего молчания, вздохнул:

— Что же, господа! Помогут нам союзники — хорошо, не помогут — как-нибудь справимся с большевичками своими силами… Были бы деньги… Вот тут, господа, крыльев нам не подрезайте…

— Бери, атаман, бери нас с потрохами, ничего не пожалеем, — в полнейшем восторге завопил Брыкин.

Банкет удался. После официальной части к черному кофе были поданы заграничный коньяк и ликеры. Было уже поздно. Дмитрий Степанович ушел по-английски — не прощаясь.

Когда Дмитрий Степанович, подъехав к себе на машине, открывал парадное, к нему быстро

подошел офицер:

— Простите, вы — доктор Булавин?

Дмитрий Степанович оглянул незнакомца. На улице было темно, он разглядел только подполковничьи погоны. Пожевав губами, доктор ответил:

— Да… Я — Булавин.

— Я к вам по очень, очень важному делу… Понимаю — неприемный час… Но я уже заходил, звонился три раза.

— Завтра в министерстве от одиннадцати.

— Умоляю вас, — сегодня. Я уезжаю с ночным пароходом.

Дмитрий Степанович опять замолчал. Было в незнакомце что-то до последней степени настойчивое и тревожное. Доктор пожал плечом:

— Предупреждаю: если вы о вспомоществовании, то это не через мою инстанцию.

— О нет, нет, пособия мне не нужно!

— Гм… Заходите.

Из передней Дмитрий Степанович прошел первым в кабинет и сейчас же запер дверь во внутренние комнаты. Там было освещено, — видимо, кто-то из домашних еще не спал. Затем доктор сел за письменный стол, указал просителю стул напротив, мрачно взглянул на кипу бумаг

для подписи, сунул пальцы между пальцами:

— Ну-с, чем могу служить?

Офицер прижал к груди фуражку и тихо, с какой-то раздирающей нежностью проговорил:

— Где Даша?

Доктор сейчас же стукнулся затылком о резьбу кресла. Теперь наконец он взглянул в лицо просителя. Года два тому назад Даша прислала любительскую фотографию — себя с мужем. Это был он. Доктор вдруг побледнел, мешочки под глазами у него задрожали, хрипло переспросил:

— Даша?

— Да… Я — Телегин.

И он тоже побледнел, глядя в глаза доктору. Опомнившись, Дмитрий Степанович вместо естественного приветствия зятю, которого видел в первый раз в жизни, театрально взмахнул руками, издал неопределенный звук, точно выдавил хохоток:

— Вот как… Телегин… Ну, как же вы?

От неожиданности, должно быть, не пожал даже руки Ивану Ильичу. Кинул на нос пенсне (не прежнее, в никелевой оправе, треснувшее, а солидное, золотое) и, заторопившись, для чего-то стал выдвигать ящики стола, полные бумаг.

Телегин, ничего не понимая, с изумлением сле-

дил за его движениями. Минуту назад он готов был рассказать про себя все, как родному, как отцу… Сейчас подумал: «Черт его знает — может, он догадывается… Пожалуй, поставлю его в ужасное положение: как-никак — министр…» Опустив голову, он сказал совсем уже тихо:

— Дмитрий Степанович, я больше полугода не видел Даши, письма не доходят… Не имею понятия — что с ней.

— Жива, жива, благоденствует! — Доктор нагнулся почти под стол, к нижним ящикам.

— Я в Добровольческой армии… Сражаюсь с большевиками с марта месяца… Сейчас командирован штабом на север с секретным поручением.

Дмитрий Степанович слушал с самым диким видом, и вдруг, при слове «секретное поручение», усмешка пробежала под его усами.

— Так, так, а в каком полку изволите служить?

— В Солдатском. — Телегин чувствовал, как кровь заливает ему лицо.

— Ага… Значит, есть такой в Добровольческой армии… А надолго к нам пожаловали?

— Сегодня ночью еду.

— Превосходно. А куда именно? Простите — это военная тайна, не настаиваю… Иными словами — по делам контрразведки?

Голос Дмитрия Степановича зазвучал так странно, что Телегин, несмотря на страшное волнение, вздрогнул, насторожился. Но доктор в это время нашел то, что искал.

— Супруга ваша в добром здравии… Вот, почитайте, получил от нее на прошлой неделе… Тут и вас касается. (Доктор бросил перед Телегиным несколько листков бумаги, исписанных крупным Дашиным почерком. Эти неправильные, бесценные буквы так и поплыли в глазах у Ивана Ильича.) Я, простите, на минутку отлучусь. Да вы усаживайтесь удобнее.

Доктор быстро вышел, запер за собой дверь. Последнее, что слышал Иван Ильич, это были его слова, ответ кому-то из домашних:

— …да так, один проситель…

Из столовой доктор прошел в темный коридорчик, где был телефон старинного устройства. Стоя лицом к стене, завертев телефонную ручку, он потребовал вполголоса номер контрразведки и вызвал к аппарату лично Семена Семеновича Говядина.

Дашино письмо было написано чернильным карандашом, буквы, чем дальше, тем становились крупнее, строки все круче загибали вниз:

«Папа, я не знаю, что со мной будет… Все так смутно… Ты единственный человек, кому я могу написать… Я в Казани… Кажется, послезавтра я могу уехать, но попаду ли я к тебе? Хочу тебя видеть. Ты все поймешь. Как посоветуешь, так и сделаю… Я осталась жива только чудом… Не знаю — может быть, лучше было бы и не жить после этого… Все, что мне говорили, внушали, — все ложь, гнусно обнаженная мерзость… Даже Никанор Юрьевич Куличек… Ему я поверила, по его наущению поехала в Москву. (Все расскажу при свидании подробно.) Даже и он вчера заявил мне буквально: „Людей расстреливают, кучами валят в землю, винтовочная пуля — вот вам цена человека, мир захлебнулся в крови, а тут еще с вами нужно церемониться. Другие и этого не скажут, а прямо — в постель“. Я сопротивляюсь, папа, верь мне… Я не могу быть только угощением после стопки спирта. Если я отдам это последнее, что у меня осталось, значит, свет погас и — голову в петлю. Я старалась быть полезной. В Ярославле работала три дня под огнем как милосердная сестра… Ночью, руки — в крови, платье — в крови, повалилась на койку… Будят, — кто-то задирает мне юбку. Вскочила, закричала. Мальчишка, офицер, какое лицо — не забыть! Озверел, валит,

молча вывертывает руки… Мерзавец! Папа, я выстрелила в него из его револьвера — не понимаю, как это случилось. Кажется, он упал, — не видела, не помню… Выбегаю на улицу, — зарево, горит весь город, рвутся снаряды… Как я не сошла с ума в ту ночь! И тогда-то решила — бежать, бежать… Я хочу, чтобы ты понял меня, помог… Я хочу бежать из России… У меня есть возможность… Но ты помоги мне отделаться от Куличка. Он — всюду за мной, то есть он всюду таскает меня за собой, и каждую ночь одни и те же разговоры. Но — пусть убьет — я не хочу…»

Иван Ильич остановился, передохнул, медленно перевернул страницу:

«Случайно мне достались большие драгоценности… При мне у Никитских ворот зарезало трамваем одного человека. Он погиб из-за меня, я это знаю… Когда очнулась, — в руках у меня оказался чемоданчик из крокодиловой кожи: должно быть, когда меня поднимали, кто-то сунул мне его в руки… Только на другой день я полюбопытствовала: в чемоданчике лежали бриллиантовые и жемчужные драгоценности. Эти вещи где-то были украдены тем человеком… Он ехал на свидание со мной… Понимаешь, — украдены

для меня.... Папа, я не пытаюсь разбираться ни в каком праве, — эти вещи я оставила у себя... В них сейчас мое единственное спасение... Но, если ты будешь доказывать мне, что я воровка, все равно я их оставлю у себя... После того как я видела смерть в таком изобилии, я хочу жить... Я больше не верю в человеческий образ... Эти великолепные люди с прекрасными словами о спасении родины — сволочи, звери... О, что я видела! Будь они прокляты! Понимаешь, произошло вот что: неожиданно ко мне явился поздно ночью Никанор Юрьевич, кажется — прямо из Петрограда... Он потребовал, чтобы я вместе с ним покинула Москву. Оказывается, их организация, „Союз защиты родины и свободы“, была раскрыта чрезвычайкой, и в Москве — поголовные аресты. Савинков и весь штаб бежали на Волгу. Там, в Рыбинске, в Ярославле и в Муроме, они должны были поднять восстание. Они страшно торопились с этим: французский посол не давал больше денег и требовал на деле доказать силу организации. Они надеялись, что все крестьянство перейдет на их сторону. Никанор Юрьевич уверял, что дни большевиков сочтены, — восстание должно охватить весь север, всю Северную Волгу и соединиться с чехословаками. Куличек уверил,

что мое имя найдено в списках организации, что оставаться в Москве опасно, и мы с ним уехали в Ярославль.

Там уже все было подготовлено: в войсках, в милиции, в арсенале, всюду начальниками были их люди из организации. Мы приехали к вечеру, а на рассвете я проснулась от выстрелов… Кинулась к окну… Оно выходило на двор, напротив — кирпичная стена гаража, мусорная куча и несколько собак, лающих на ворота… Выстрелы не повторились, все было тихо, только вдалеке трескотня и тревожные гудки мотоциклеток… Затем начался колокольный звон по городу, звонили во всех церквах. На нашем дворе раскрылись ворота, и вошла группа офицеров, на них уже были погоны. У всех лица возбужденные, все они размахивали оружием. Они вели тучного бритого человека в сером пиджаке. На нем не было ни шапки, ни воротничка, жилет не застегнут. Лицо его было красное и гневное. Они ударяли его в спину, у него моталась голова, и он страшно сердился. Двое остались его держать около гаража, остальные отошли и совещались. В это время с черного крыльца нашего дома вышел полковник Перхуров, — я его в первый раз тогда увидела, — начальник всех вооруженных сил

восстания… Все отдали ему честь. Это человек страшной воли, — провалившиеся черные глаза, худощавое лицо, подтянутый, в перчатках, в руке — стек. Я сразу поняла: это — смерть тому, в пиджаке. Перхуров стал глядеть на него исподлобья, и я увидела, как у него зло обнажились зубы. А тот продолжал ругаться, грозить и требовать. Тогда Перхуров вздернул голову и скомандовал — и сейчас же ушел… Двое — те, кто держали, отскочили от толстого человека… Он сорвал с себя пиджак, скрутил его и бросил в стоящих перед ним офицеров, — прямо в лицо одному, — весь побагровел, ругая их. Тряс кулаками и стоял в расстегнутом жилете, огромный и бешеный. Тогда они выстрелили в него. Он весь содрогнулся, вытянув перед собой руки, шагнул и повалился. В него еще некоторое время стреляли, в упавшего. Это был комиссар-большевик Нахимсон… Папа, я увидела казнь! Я до смерти теперь не забуду, как он хватал воздух… Никанор Юрьевич уверил меня, что это хорошо, — что если бы не они его расстреляли, то он бы их расстрелял…

Что было дальше — плохо помню: все происходившее было продолжением этой казни, все было насыщено судорогами огромного человеческого тела, не хотевшего умирать… Мне велели

идти в какое-то длинное желтое здание с колоннами, и там я писала на машинке приказы и воззвания. Носились мотоциклетки, крутилась пыль… Вбегали взволнованные люди, сердились, приказывали; из-за всего начинался крик, хватались за голову. То — паника, то — преувеличенные надежды. Но когда появлялся Перхуров, с неумолимыми глазами, и бросал короткие слова, — вся суета стихала. На другой день за городом послышались раскаты орудийных выстрелов. Подходили большевики. В нашем учреждении с утра до ночи толпились обыватели, а тут вдруг стало пусто. Город будто вымер. Только ревел, проносясь, автомобиль Перхурова, проходили вооруженные отряды… Ждали каких-то аэропланов с французами, каких-то войск с севера, пароходов из Рыбинска со снарядами… Надежды не сбылись. И вот город охватило кольцо боя. На улицах рвались снаряды… Валились древние колокольни, падали дома, повсюду занимались пожары, их некому было тушить, солнце затянулось дымом. Не убирали даже трупов на улицах. Выяснилось, что Савинков поднял такое же восстание в Рыбинске, где находились артиллерийские склады, но восстание подавили солдаты, что села вокруг Ярославля и не думают идти на помощь, что

ярославские рабочие не хотят садиться в окопы, сражаться против большевиков… Страшнее всего было лицо Перхурова, — я повсюду встречала его в эти дни. Это — смерть каталась на машине по развалинам города, все происходившее было будто воплощение его воли. Несколько дней Куличек держал меня в подвале. Но, папа, во всем я чувствовала и свою вину… Я бы все равно сошла с ума в подвале. Я надела косынку с крестом и работала до той ночи, когда меня хотели изнасиловать…

За день до падения Ярославля мы с Никанором Юрьевичем бежали на лодке за Волгу… Целую неделю мы шли, скрываясь от людей. Ночевали под стогами, — хорошо, что были теплые ночи. Туфли мои развалились, ноги сбились в кровь. Никанор Юрьевич где-то раздобыл мне валенки, — просто, должно быть, стащил с плетня. На какой-то день, не помню, в березовом лесу мы увидели человека в изодранном армяке, в лаптях, в косматой шапке. Он шел угрюмо, быстро и прямо, как маньяк, опирался на дубинку. Это был Перхуров, — он тоже бежал из Ярославля. Я так испугалась его, что бросилась ничком в траву… Потом мы пришли в Кострому и остановились в слободе у чиновника, знакомого Куличка, и там

прожили до взятия Казани чехами… Никанор Юрьевич все время ухаживал за мной, как за ребенком, — я благодарна ему… Но тут случилось, что в Костроме он увидел драгоценные камушки, — они были в носовом платке, в моей сумочке, которую он всю дорогу нес в кармане пиджака. Я только в Костроме о них и вспомнила. Пришлось рассказать ему всю историю, — сказала, что по совести считаю себя преступницей. Он развил по этому поводу целую философскую систему: получалось, что я не преступница, но вытянула какой-то лотерейный билет жизни. С этих пор его отношение ко мне переменилось, стало очень сложным. Повлияло и то, что мы жили чистенько и тихо в провинциальном домишке, пили молоко, ели крыжовник и малину. Я поправилась. Однажды после заката, в садике, он заговорил о любви вообще, о том, что я создана для любви, стал целовать мне руки. И я почувствовала, — для него нет сомнения, что через минуту я отдамся ему на этой скамейке под акацией… После всего, что было, ты понимаешь, папа? Чтоб не объяснять всего, я сказала только: «Ничего у нас не выйдет, я люблю Ивана Ильича». Я не солгала, папа…»

Иван Ильич вынул платок, вытер лицо, потом

глаза и продолжал чтение:

«Я не солгала… Я не забыла Ивана Ильича. У меня с ним еще не все кончено… Ты ведь знаешь, — мы расстались в марте, он уехал на Кавказ, в Красную Армию… Он на отличном счету, настоящий большевик, хотя и не партийный… У нас с ним порвалось, но прошлое нас связывает крепко… Прошлого я не разорвала… А Куличек подошел к делу очень просто, — ложись… Ах, папа, то, что мы когда-то называли любовью, — это лишь наше самосохранение… Мы боимся забвения, уничтожения… Вот почему так страшно встретить ночью глаза уличной проститутки… Это лишь тень женщины… Но я, я — живая, я хочу, чтобы меня любили, вспоминали, я хочу видеть себя в глазах любовника. Я люблю жизнь… Если мне захочется отдаться вот так, на миг, — о да… Но во мне сейчас только злоба, и отвращение, и ужас… За последнее время что-то случилось с лицом, с фигурой, я похорошела… Я — как голая сейчас, повсюду голодные глаза… Будь проклята красота!.. Папа, я посылаю тебе это письмо, чтобы ни о чем уже, когда увижусь с тобой, не говорить… Я еще не сломанная, ты пойми…»

Иван Ильич поднял голову. За дверью, ведущей в прихожую, послышались осторожные шаги

нескольких человек, шепот. Дверная ручка повернулась. Он быстро вскочил, оглянулся на окна…

Окна докторской квартиры находились, попровинциальному, невысоко над землей. Среднее было раскрыто. Телегин подскочил к нему. На асфальте лежала длинная, как циркуль, человеческая тень и еще длиннее — от нее — тень винтовки.

Все это произошло в какую-то долю секунды. Ручка входной двери повернулась, и в кабинет вошли сразу, плечо о плечо, двое молодцов мещанского вида, в картузиках, в вышитых рубашках. Сзади них моталось рыжебородое, вегетарианское лицо Говядина. Первое, что увидел Телегин, когда они кинулись в кабинет, — три направленных на него револьверных дула.

Это произошло в следующую долю секунды. Опытом военного человека он понял, что отступать, имея на плечах сильного и неразбитого противника, — неблагоразумно. Перебросив «браунинг» в левую руку, он сорвал с пояса, из-под френча, небольшую гранатку, к которой было прикручено письмо Гымзы, и, весь налившись кровью, завопил, срывая голосовые связки:

— Бросай оружие!

И возглас этот, весьма понятный, и весь вид

Ивана Ильича были столь внушительны, что молодцы смешались и несколько подались назад. Вегетарианская физиономия метнулась в сторону. Еще секунда была выиграна… Телегин со взмахнутой гранатой навис над ними:

— Бросай…

И тут случилось то, чего никто из присутствующих, а в особенности Телегин, никак уже не мог ожидать… Немедленно вслед за вторым его окриком за ореховой одностворчатой дверью, ведущей из кабинета во внутренние комнаты, раздался болезненный крик, женский голос воскликнул что-то с отчаянной тревогой… Ореховая дверца раскрылась, и Телегин увидел Дашины расширенные глаза, пальчики ее, вцепившиеся в косяк, худенькое лицо, все дрожащее от волнения.

— Иван!..

Около нее очутился доктор, схватил ее за бока, утащил, и дверца захлопнулась… Все это мгновенно перевернуло наступательно-оборонительные планы Ивана Ильича… Он устремился к ореховой двери, со всей силы плечом толкнул ее, что-то в ней треснуло, — и он вскочил в столовую… Он все еще держал в руках орудия убийства… Даша стояла у стола, схватилась у шеи за отвороты по-

лосатого халатика, горло ее двигалось, точно она глотала что-то. (Он заметил это с пронзительной жалостью.) Доктор пятился, — вид у него был перепуганный, взъерошенный.

— На помощь! Говядин! — прошипел он измятым голосом. Даша стремительно побежала к ореховой двери и повернула в ней ключ:

— Господи, как это ужасно!

Но Иван Ильич понял ее слова по-иному: действительно, ужасно было ворваться к Даше с этими штуками. Он торопливо сунул револьвер и гранатку в карманы. Тогда Даша схватила его за руку: «Идем», — и увлекла в темный коридорчик, а из него — в узкую комнатку, где на стуле горела свеча. Комната была голая, только на гвозде висела Дашина юбка, да у стены — железная кровать со смятыми простынями.

— Ты одна здесь? — шепотом спросил Телегин. — Я прочел твое письмо.

Он оглядывался, губы, растянутые в улыбку, дрожали. Даша, не отвечая, тащила его к раскрытому окну.

— Беги, да беги же, с ума сошел!..

Из окна неясно был виден двор, тени и крыши сбегающих к реке построек, внизу — огни пристаней. С Волги дул влажный ветерок, остро

пахнущий дождем… Даша стояла, вся касаясь Ивана Ильича, подняв испуганное лицо, полуоткрыв рот…

— Прости меня, прости, беги, не медли, Иван, — пробормотала она, глядя ему в зрачки.

Как ему было оторваться? Сомкнулся долгий круг разлуки. Избежал тысячи смертей, и вот глядит в единственное лицо. Он нагнулся и поцеловал ее.

Холодные губы ее не ответили, только затрепетали:

— Я тебе не изменила… Даю честное слово… Мы встретимся, когда будет лучше… Но — беги, беги, умоляю…

Никогда, даже в блаженные дни в Крыму, он не любил ее так сильно. Он сдерживал слезы, глядя на ее лицо.

— Даша, пойдем со мной… Ты понимаешь. Я буду ждать тебя за рекой, — завтра ночью…

Она затрясла головой, отчаянно простонала:

— Нет… Не хочу.

— Не хочешь?

— Не могу.

— Хорошо, — сказал он, — в таком случае я остаюсь. — Он отодвинулся к стене…

Даша ахнула, всхлипнула… И вдруг остервене-

ло накинулась, схватила за руки, опять потащила к окну. На дворе скрипнула калитка, осторожно хрустнул песок, Даша в отчаянии прижалась теплой головой к рукам Ивана Ильича…

— Я прочел твое письмо, — опять сказал он. — Я все понял.

Тогда она на секунду бросила тащить его, обхватила за шею, прильнула к лицу всем лицом:

— Они уже на дворе… Они тебя убьют, убьют…

От света свечи золотились ее рассыпавшиеся волосы. Она казалась Ивану Ильичу девочкой, ребенком, — совсем такой, как тогда ночью, когда он, раненый, лежал в пшенице и, сжимая в кулаке кусочек земли, думал об ее непокорном и беспокойном, таком хрупком сердце.

— Почему не хочешь уйти со мной, Даша? Тебя здесь замучают. Ты видишь, что здесь за люди… Лучше — все бедствия, но я буду с тобой… Дитя мое… Все равно ты со мной в жизни и смерти, как мое сердце со мной, так и ты.

Он сказал это тихо и быстро из темного угла. Даша закинула голову, не выпуская его рук, — у нее брызнули слезы…

— Верна буду тебе до смерти… Уходи… Пойми, — я не та, кого ты любишь… Но я буду, буду такой.

Дальше он не слушал, — его опьянила бешеная радость от ее слез, от ее слов, от ее отчаянного голоса. Он так стиснул Дашу, что у нее хрустнули кости.

— Хорошо, все понял, прощай, — шепнул он. Кинулся грудью на подоконник и через секунду, как тень, соскользнул вниз, — только легко стукнули его подошвы по деревянной крыше сарая.

Даша высунулась в окно, — но ничего не было видно: тьма, желтые огоньки вдали. Обеими руками она сжимала грудь, там, где сердце… Ни звука на дворе… Но вот из тени выдвинулись две фигуры. Пригнувшись, побежали наискосок по двору. Даша закричала так пронзительно, страшно закричала, что фигуры с разбегу завертелись, стали. Должно быть, обернулись на ее окно. И в это время она увидела, как в глубине двора через конек деревянной крыши перелез Телегин.

Даша упала на кровать ничком. Лежала не двигаясь. Так же стремительно вскочила, пошарила свалившуюся туфлю и побежала в столовую.

В столовой стояли, готовые к бою, доктор с маленьким никелированным револьвером и Говядин, вооруженный наганом. Оба наперебой спросили Дашу: «Ну, что?..» Она стиснула кулачок, бешено взглянула в рыжие глаза Говядину.

— Негодяй, — сказала она и потрясла кулачком перед его бледным носом, — вас-то уж расстреляют когда-нибудь, негодяй!

Длинное лицо его передернулось, стало еще бледнее, борода повисла, как неживая. Доктор делал ему знаки, но Говядин весь уже трясся от злобы.

— Эти шуточки с кулачком бросьте, Дарья Дмитриевна… Я далеко не забыл, как вы однажды изволили ударить меня, кажется, даже туфелькой… Кулачок ваш спрячьте… И вообще бы советовал мной не пренебрегать.

— Семен Семенович, теряете время, — перебил доктор, продолжая делать знаки, но так, чтобы Даша не видела.

— Не беспокойтесь, Дмитрий Степанович, Телегин от нас не уйдет…

Даша крикнула, рванулась:

— Вы не посмеете! (Говядин сейчас же загородился стулом.)

— Ну, мы увидим — посмеем или нет… Предупреждаю, Дарья Дмитриевна, в «Штабе охраны» очень заинтересованы лично вами… После сегодняшнего инцидента ни за что не ручаюсь. Не пришлось бы вас потревожить.

— Ну, уж вы, кажется, начинаете завираться,

Семен Семенович, — сердито сказал доктор, — это уже слишком…

— Все зависит от личных отношений, Дмитрий Степанович… Вы знаете мое к вам расположение, мою давнишнюю симпатию к Дарье Дмитриевне…

Даша мгновенно побледнела. От усмешки лицо Говядина все перекривилось, как в дурном зеркале. Он взял фуражку и вышел, напрягая затылок, чтобы со спины не показаться смешным. Доктор сказал, садясь к столу:

— Страшный человек этот Говядин.

Даша ходила по комнате, хрустя пальцами. Остановилась перед отцом:

— Где мое письмо?

Доктор, пытавшийся открыть серебряный портсигар, издал шипение сквозь зубы, ухватил наконец папироску и мял ее в толстых, все еще дрожащих пальцах.

— Там… Черт его знает… В кабинете, на ковре.

Даша ушла, сейчас же вернулась с письмом и опять остановилась перед Дмитрием Степановичем. Он закуривал, — огонек плясал около кончика папироски.

— Я исполнил мой долг, — сказал он, бросая спичку на пол. (Даша молчала.) Милая моя,

он большевик, мало того — контрразведчик… Гражданская война, знаешь, не шуточки, тут приходится жертвовать всем… На то мы и облечены властью, народ никогда не прощает слабостей. (Даша не спеша, будто в задумчивости, начала разрывать письмо на мелкие кусочки.) Является — ясно как божий день — выведать у меня, что ему нужно, и при удобном случае меня же укокошить… Видела, как он вооружен? С бомбой. В девятьсот шестом году, на углу Москательной, у меня на глазах разорвало бомбой губернатора Блока… Посмотрела бы ты, что от него осталось, — туловище и кусок бороды. — У доктора опять затряслись руки, он швырнул незакурившуюся папироску, взял новую. — Я всегда не любил твоего Телегина, очень хорошо сделала, что с ним порвала… (Даша и на это смолчала.) И начал-то с примитивнейшей хитрости, — видишь ли, заинтересовался, где ты…

— Если Говядин его схватит…

— Никакого сомнения, у Говядина превосходная агентура… Знаешь, ты с Говядиным слишком уж резко обошлась… Говядин крупный человек… Его и чехи очень ценят, и в штабе… Время такое — мы должны жертвовать личным… для блага страны, — вспомни классические примеры…

Ты ведь моя дочь; правда, голова у тебя хотя и с фантазиями, — он засмеялся, закашлялся, — но неглупая голова…

— Если Говядин схватит его, — сказала Даша хрипло, — ты сделаешь все, чтобы спасти Ивана Ильича.

Доктор быстро взглянул на дочь, засопел. Она сжимала в кулачке клочки письма.

— Ты ведь сделаешь это, папа!

— Нет! — крикнул доктор, ударяя ладонью по столу. — Нет! Глупости! Желая тебе же добра… Нет!

— Тебе будет трудно, но ты сделаешь, папа.

— Ты девчонка, ты просто — дура! — заорал доктор. — Телегин негодяй и преступник, военным судом он будет расстрелян.

Даша подняла голову, серые глаза ее разгорелись так нестерпимо, что доктор, сопнув, занавесился бровями. Она подняла, как бы грозя, кулачок со стиснутыми в нем бумажками.

— Если все большевики такие, как Телегин, — сказала она, — стало быть, большевики правы.

— Дура!.. Дура!.. — Доктор вскочил, затопал, багровый, трясущийся. — Большевиков твоих вместе с Телегиным надо вешать! На всех телеграфных столбах… Кожу драть заживо!

Но у Даши характер был, пожалуй, покруче, чем у Дмитрия Степановича, — она только побледнела, подошла вплотную, не сводя с него нестерпимых глаз.

— Мерзавец, — сказала она, — что ты беснуешься? Ты мне не отец, сумасшедший, растленный тип!

И она швырнула в лицо ему обрывки письма…

Этой же ночью на рассвете доктора подняли к телефону. Грубоватый, спокойный голос проговорил в трубку:

— Довожу до сведения, что близ Самолетской пристани, за мучным лабазом, только что обнаружили два трупа — помощника начальника контрразведки Говядина и одного из его агентов…

Трубку повесили. Дмитрий Степанович разинул рот, захватывая воздух, и повалился тут же около телефона в сильнейшем сердечном припадке.

11

Армия Сорокина, разбив лучшие в Добрармии войска Дроздовского и Казановича, изменила первоначальному плану ухода за Кубань и вместо этого, повернувшись под Кореновской на север, начала наступление на станцию Тихорецкую, где находился штаб Деникина.

Десять дней уже длилась беспощадная битва. Одушевленные первыми успехами, сорокинцы сметали все заслоны перед Тихорецкой. Казалось, теперь ничто не могло остановить их стремительного движения. Деникин спешно стягивал разбросанные по Кубани силы. Ожесточение было так велико, что каждая стычка кончалась ударом в штыки.

Но с той же стремительностью в сорокинской армии шло и разложение. Обострялась вражда между кубанскими полками и украинскими. Украинцы и старые фронтовики по пути наступления опустошали кубанские станицы, не разбирая, за белых они стоят или за красных.

Все понятия путались. Станичники с ужасом видели, как из-за края степи в тучах пыли на-

двигаются полчища. Деникин по крайней мере платил за фураж, а эти сорокинцы — одно — горячи были на руку. И вот молодой садился на коня и уходил к Деникину, старый с бабами, детьми и скотом — бежал в овраги. Целые станицы поднимались против армии Сорокина.

Кубанские полки кричали: «Нас на убой посылают, а иногородние нашу землю грабят!» Начальник штаба армии Беляков отчаянно крутился в водовороте событий, он только схватывался за голову: цела ли она еще на плечах. Еще бы! Стратегия летела к черту. Вся тактика была — в острие штыка да в революционной ярости. Дисциплину заменяло неотвратимое, стремительное движение всех войсковых масс. На главнокомандующего Сорокина страшно было и смотреть: эти дни он питался спиртом и кокаином, — глаза его воспалились, лицо почернело, он сорвал голос и, как обезумевший, пер вперед на плечах армии..

Случилось неминуемое. Добровольческая армия, прокаленная насквозь железной дисциплиной, поражаемая и отступающая, но, как механизм, послушная воле единого командования, снова и снова переходила в контратаки, зацеплялась за каждую удобную складку зем-

ли, холодно и умело выбирала слабые места противника. И вот, двадцать пятого июля под Выселками, в 50 верстах от Тихорецкой, разыгрался последний, десятый день битвы.

Позиции войск Дроздовского и Казановича были даже хуже, чем в предыдущие дни. Здесь красным удалось зайти в тыл, и добровольцы попадали почти в такой же мешок, как большевики под Белой Глиной. Но сорокинская армия была уже не та, что девять дней тому назад. Страстное напряжение падало, упорство противника вселяло недоверие, сомнение, отчаяние, — когда же конец, победа, отдых?

В четвертом часу дня сорокинцы бросились в атаку по всему фронту. Удар был жестокий. Кругом по всему горизонту ревели пушки. Густые цепи шли не ложась. Напряжение, нетерпение, ярость достигли высшего предела…

Так началась гибель армии Сорокина. Первая волна наступающих была расстреляна и уничтожена в штыковом бою. Следующие волны смешались под огнем среди трупов, раненых, падающих. И тогда случилось то, чего нельзя учесть, ни постигнуть, ни остановить, — все напряжение сразу сломилось. Больше не хватало сил, не хватало страсти.

Холодная воля противника продолжала наносить расчетливые удары, увеличивая смятение… С севера марковцы и конный полк, с юга конница Эрдели врезались в перемешавшиеся полки. Поползли режущие огнем броневики, задымились бронепоезда белых. Тогда началось отступление, бегство, бойня. К четырем часам вся степь в южном и западном направлениях была покрыта отступающей, уничтоженной как единая сила армией Сорокина.

Начштаба Беляков силой повалил главнокомандующего в автомобиль. Налитые кровью глаза Сорокина были выпучены, рот в пене, черной рукой он еще сжимал расстрелянный револьвер. Продырявленный пулями, измятый автомобиль бешено промчался по трупам и скрылся за холмами.

Главная часть разгромленной сорокинской армии уходила на Екатеринодар. Туда же начала отступать с Таманского полуострова западная группа красных войск, — так называемая Таманская армия, под командованием Кожуха. На ее пути кругом восставали станицы, и тысячи иногородних — со скарбом и скотом, — спасаясь от мести станичников, бежали под защиту таманцев. Дорогу преградила белая конница генерала

Покровского. Таманцы в бешенстве разбили, рассеяли ее, но все равно двигаться дальше — на Екатеринодар — было уже невозможно, и Кожух повернул свою армию с обозами беженцев круто на юг, в пустынные и труднопроходимые горы, надеясь пробиться к Новороссийску, где стоял красный Черноморский флот.

* * *

Деникина теперь ничто уже не могло остановить. Легко расчищая путь, он со всеми силами подошел к Екатеринодару, занятому остатками более уже не существующей северокавказской армии, и с налета взял его ожесточенным штурмом. Так закончился «ледяной поход», шесть месяцев тому назад начатый Корниловым с кучкой офицеров.

Екатеринодар стал белой столицей. Богатейшие области Черноморья спешно очищались ото всего, что бродило и бушевало. У генералов, еще недавно самолично искавших вшей в рубашке, возродились великодержавные традиции, старый императорский размах.

Прежний кустарный способ ведения войны путем добывания оружия и огневого снаряжения в бою или налетом у большевиков был, разуме-

ется, неприменим для новых, обширных планов. Нужны были деньги, широкий приток оружия и снаряжения, постановка интендантской части для большой войны, мощные базы для наступления в глубь России.

Эпоха домашней междоусобной борьбы кончалась, — в игру вступали извне мощные силы.

Особенная и неожиданная опасность встала перед германским главным штабом сейчас же после первых июньских побед Деникина. Большевики были врагом, связанным по рукам и ногам Брест-Литовским договором. Деникин оказывался врагом, еще не изведанным и не изученным. С разгромом сорокинской армии Деникин выходил к Азовскому морю и к Новороссийску, где с первых чисел мая находился весь русский военный флот.

Со стороны Черного моря немцы не были защищены. Покуда флот находился в руках большевиков, они были спокойны, — на всякое его враждебное действие они ответили бы переходом через украинскую границу. Но пятнадцать эскадренных миноносцев и два дредноута в руках Деникина были уже серьезной угрозой превращения Черного моря во фронт мировой войны.

Десятого июня Германия предъявила Советско-

му правительству ультиматум: в девятидневный срок перевести весь Черноморский флот из Новороссийска в Севастополь, где стоял сильный немецкий гарнизон. В случае отказа Германия угрожала наступлением на Москву.

Тогда же из Одессы начальник штаба австрийских оккупационных войск писал в Вену — министру иностранных дел:

«Германия преследует на Украине определенную хозяйственно-политическую цель. Она хочет навсегда закрепить за собой безопасный путь на Месопотамию и Аравию через Баку и Персию.

Путь на восток идет через Киев, Екатеринослав и Севастополь, откуда начинается морское сообщение на Батум и Трапезунд.

Для этой цели Германия намерена оставить за собой Крым, как свою колонию или в какой-либо иной форме. Они никогда уже не выпустят из своих рук ценного Крымского полуострова. Кроме того, чтобы полностью использовать этот путь, им необходимо овладеть железнодорожной магистралью, а так как снабжение углем из Германии этой магистрали и Черного моря невозможно, то ей необходимо завладеть наиболее значительными шахтами Донбасса. Все это Германия так или иначе обеспечит себе…»

Когда десятого июня в Москве был получен германский ультиматум, Ленин — как всегда, без колебаний — решил этот тяжелый и для многих «неразрешимый» вопрос. Решение было: воевать с немцами сейчас еще нельзя, но и флота им отдавать нельзя.

Из Москвы в Новороссийск выехал представитель Советского правительства товарищ Вахрамеев. В присутствии делегатов от Черноморского флота и всех командиров он предложил единственный большевистский ответ на ультиматум: Совет Народных Комиссаров посылает открытое радио Черноморскому флоту с приказом идти в Севастополь и сдаваться немцам, но Черноморский флот этого приказания не выполняет и топится на Новороссийском рейде.

Советский флот — два дредноута и пятнадцать эскадренных миноносцев, подводные лодки и вспомогательные суда, обреченные Брест-Литовским договором на бездействие, — стоял в Новороссийске, на рейде.

Делегаты от флота съехали на берег и хмуро выслушали Вахрамеева, — он предлагал самоубийство. Но — куда ни кинь, все клин: податься некуда, у флота не было ни угля, ни нефти. Москву заслоняли немцы, с востока приближался

Деникин, на рейде уже чертили пенные полосы перископы германских подводных лодок, и в синеве поблескивали германские бомбовозы. Долго и горячо спорили делегаты… Но выход был один: топиться… Все же перед этим страшным делом делегаты решили поставить судьбу флота на голосование всего флотского экипажа.

Начались многотысячные митинги в Новороссийской гавани. Трудно было понять морякам, глядя на ошвартованные серостальные гиганты — дредноуты «Воля» и «Свободная Россия», на покрытые военной славой быстроходные миноносцы, на сложные переплеты башен и мачт, громоздившихся над гаванью, над толпами народа, — трудно было представить, что это грозное достояние революции, плавучая родина моряков, опустится на дно морское без единого выстрела, не сопротивляясь.

Не такие были головы у черноморских моряков, чтобы спокойно решиться на самоуничтожение. Много было крикано исступленных слов, бито себя в грудь, рывано тельников на татуированных грудях, растоптано фуражек с ленточками…

От утренней зари до вечерней, когда закат обагрял лилово-мрачные воды не своего теперь, проклятого моря, — густые толпы моряков,

фронтовиков и прочего приморского люда волновались по всей набережной.

Командиры судов и офицеры смотрели на дело по-разному: большая часть тайно склонялась идти на Севастополь и сдаваться немцам; меньшая часть, во главе с командиром эсминца «Керчь» старшим лейтенантом Кукелем, понимала неизбежность гибели и все огромное значение ее для будущего. Они говорили: «Мы должны покончить самоубийством, — на время закрыть книгу истории Черноморского флота, не запачкав ее…»

На этих грандиозных и шумных, как ураган, митингах решали утром — так, вечером — этак. Больше всего было успеха у тех, кто, хватив о землю шапкой, кричал: «…Товарищи, чихали мы на москалей. Нехай их сами потонут. А мы нашего флота не отдадим. Будем с немцами биться до последнего снаряда…»

«Уррра!» — ревом катилось по гавани.

Особенно сильное смятение началось, когда за четыре дня до срока ультиматума примчались из Екатеринодара председатель ЦИКа Черноморской республики Рубин и представитель армии Перебийнос — саженного роста, страшного вида человек, с четырьмя револьверами за поясом. Оба они — Рубин в пространной речи и Перебийнос,

гремя басом и потрясая оружием, — доказывали, что ни отдавать, ни топить флот не можно, что в Москве сами не понимают, что говорят, что Черноморская республика доставит флоту все, что ему нужно: и нефть, и снаряды, и пищевое довольствие.

— У нас на фронте дела такие, в бога, в душу, в веру… — кричал Перебийнос, — на будущей неделе мы суку Деникина с его кадетами в Кубани утопим… Братишечки, корабли не топите, — вот что нам надо… Чтоб мы на фронте чувствовали, что в тылу у нас могучий флот. А будете топиться, братишечки, то я от всей кубано-черноморской революционной армии категорически заявляю: такого предательства мы не можем перенести, мы с отчаяния повернем свой фронт на Новороссийск в количестве сорока тысяч штыков и вас, братишечки, всех до единого поднимем на свои штыки…

После этого митинга все пошло вразброд, закружились головы. Команды стали бежать с кораблей куда глаза глядят. В толпе все больше появлялось темных личностей — днем они громче всех кричали: «Биться с немцами до последнего снаряда», а ночью кучки их подбирались к опустевшим миноносцам — готовые броситься,

покидать в воду команду и грабить.

В эти дни на борт миноносца «Керчь» вернулся Семен Красильников.

Семен чистил медную колонку компаса. Вся команда работала с утра, скребя, моя, чистя миноносец, стоявший саженях в десяти от стенки. Горячее солнце всходило над выжженными прибрежными холмами… В безветренном зное висели флаги. Семен старательно надраивал медяшку, стараясь не глядеть в сторону гавани. Команда убирала миноносец перед смертью.

В гавани дымили огромные трубы дредноута «Воля». Сверкали орудия со снятыми чехлами. Черный дым поднимался к небу. Корабль, и дым, и бурые холмы, с цементными заводами у подножья их, отражались в зеркальном заливе.

Семен, присев на голые пятки, тер, тер медяшку. Этой ночью он держал вахту, и так ему было горько, раздумавшись: зря заехал сюда. Зря не послушал брата и Матрену… Смеяться будут теперь: «Эх, скажут, дюже ты повоевал с немцами — пропили флот, братишки…» Что ответишь на это? Скажешь: своими руками почистил, прибрал и утопил «Керчь».

От «Воли» к судам бегал моторный катер, махали флагами. Эсминец «Дерзкий» отвалил от

стенки, взял на буксир «Беспокойного» и медленно потащил его на рейд. Еще медленнее, как больные, двинулись за ним по зеркалу залива эскадренные миноносцы: «Поспешный», «Живой», «Жаркий», «Громкий».

Затем в движении настал перерыв. В гавани осталось восемь миноносцев. На них не было заметно никакого движения. Все глаза теперь были устремлены на светло-серую, с ржавыми потеками по бортам, стальную громаду «Воли». Моряки глядели на нее, бросив швабры, суконки, брандспойты. На «Воле» развевался лениво флаг командующего флотом, капитана первого ранга Тихменева.

На борту эсминца «Керчь» моряки говорили вполголоса, тревожно:

— Смотри… Уйдет «Воля» в Севастополь…

— Братишки, неужто они такие гады!.. Неужто у них революционной совести нет!..

— Ну, если уйдет «Воля», в кого же тогда верить, братишки?..

— Не знаешь, что ли, Тихменева? Самый враг, лиса двухчаловая!

— Уйдет! Ах, предатели!..

За «Волей» на якорях стоял родной брат «Воли» — дредноут «Свободная Россия». Но он, казалось,

дремал покойно, — весь покрытый чехлами, на палубах не видно было ни души. От мола отчаянно гребли к нему какие-то лодки. И вот ясно в безветренной гавани раздались боцманские свистки, на «Воле» загрохотали лебедки, полезли вверх мокрые цепи, облепленные илом якоря. Нос корабля стал заворачивать, переплеты мачт, трубы, башни двинулись на фоне беловатых городских крыш.

— Ушли… К немцам… Эх, братишки… В плен сдаваться!.. Что вы сделали?..

На мостик миноносца «Керчь» вышел командир с большим облупившимся носом на черно-загорелом лице. Запавшие его глаза следили за движениями «Воли». Перегнувшись с мостика, он скомандовал:

— Поднять сигнал…

— Есть, поднять сигнал! — сразу оживились моряки, бросаясь к ящику с сигнальными флагами. К мачте «Керчи» взлетели пестрые флажки, затрепетали в лазури. Их сочетание обозначало: «Судам, идущим в Севастополь, — позор изменникам России!..»

На «Воле» не ответили на сигнал сигналом, будто и не заметили… «Воля» скользила мимо военных судов, оставшихся верными чести, —

безлюдная, опозоренная… «Заметили!» — вдруг ахнули моряки. Две чудовищные пушки на кормовой башне «Воли» поднялись, башня повернулась в сторону миноносца… Командир на мостике «Керчи», схватясь за поручни, уставил облупленный большой нос навстречу смерти. Но пушки пошевелились и застыли.

Развивая ход, «Воля» обогнула мол, и скоро горделивый профиль ее утонул за горизонтом, чтобы через много лет пришвартоваться, обезоруженной, заржавленной и навек опозоренной, в далекой Бизерте.

Командующий флотом Тихменев настоял на своем и выполнил формальный приказ Совнаркома: дредноут «Воля» и шесть эскадренных миноносцев сдались в Севастополе на милость. Экипаж и офицеры были отпущены на свободу.

Моряки разбрелись кто куда — на родину, по домам. Рассказывали, конечно, что рука, мол, не поднялась топить корабли, а больше всего испугались сорока тысяч черноморских красноармейцев, посуливших поднять на штыки весь Новороссийск.

Дредноут «Свободная Россия» и восемь эскадренных миноносцев остались в Новороссийском порту. Назавтра истекал срок ультиматума. Над

городом высоко кружились германские самолеты. На рейде, среди играющих дельфинов, появлялись перископы германских подводных лодок. В Темрюке, неподалеку, — слышно, — высаживался немецкий десант. А на набережных Новороссийска, не расходясь, круглые сутки бушевали митинги, и все напористее кричали какие-то штатские личности:

— Братишки, не губите себя, не топите флота…

— Офицеры одни хотят топить флот, офицеры, все до одного, купленные Антантой…

— В Севастополе покидали же в воду офицеров в декабре месяце, что же — сейчас боитесь? Даешь вахрамееву ночь!..

Тут же вместо крикуна кидался агитатор, рвал на груди рубашку:

— Товарищи, не слушайте провокаторов. Уведете к немцам флот, немцы же вас будут расстреливать из этих пушек… Не отдавайте оружия империалистам… Спасайте мировую революцию!..

Вот тут и разберись: кого слушать? А на место агитатора вылезал фронтовик из Екатеринодара, весь обвешанный оружием, опять грозил сорока тысячами штыков… И к ночи на восемнадцатое июня многие команды не вернулись на суда, —

скрылись, разбежались, попрятались, ушли в горы…

Всю ночь миноносец «Керчь» переговаривался световыми сигналами. «Свободная Россия» отвечала, что принципиально готова топиться, но команды на ней осталось из двух тысяч меньше сотни, и вряд ли можно будет даже развести пары, отойти от стенки.

Миноносец «Гаджи-бей» промигал, что на нем все еще идет бурный митинг, появились девки из города со спиртом, очевидно подосланные, и возможен грабеж судна. На миноносце «Калиакирия» остались командир и судовой механик. На «Фидониси» — шесть человек. О том же сигнализировали миноносцы «Капитан Баранов», «Сметливый», «Стремительный», «Пронзительный». Полностью команды находились только на «Керчи» и «Лейтенанте Шестакове».

В полночь к «Керчи» подошла какая-то шлюпка, и дерзкий голос оттуда позвал:

— Товарищи моряки… С вами говорит корреспондент «Известий ЦИКа»… Только что получена телеграмма из Москвы от адмирала Саблина: ни в коем случае флота не топить и в Севастополь не идти, а ждать дальнейших распоряжений…

Матросы, перегнувшись с фальшборта, молча

всматривались в темноту, где качалась лодка. Голос продолжал доказывать и уговаривать… Лейтенант Кукель, выйдя на мостик, перебил его:

— Покажите телеграмму адмирала Саблина.

— К сожалению, осталась дома, товарищ, сейчас могу привезти…

Тогда Кукель громко проговорил, растягивая слова, чтобы было слышнее:

— Шлюпке с правого борта отойти на полка-бельтовых. Ближе не подходить…

— Извиняюсь, товарищ, — нагло закричал голос со шлюпки, — вы не желаете слушать распоряжений центра, я буду телеграфировать.

— В противном случае буду топить шлюпку. Вас возьму на борт. За действия команды не отвечаю.

Со шлюпки на это ничего не ответили. Потом осторожно плеснули весла. Очертание лодки утонуло в темноте. Матросы засмеялись. Командир, заложив руки за спину, сутулый, худущий, ходил по мостику, вертелся, как в клетке.

Эту ночь мало кто спал. Лежали на палубе, мокрой от росы. Нет-нет — поднимется голова и скажет слово, и сон летит от глаз, говорят вполголоса. Вот уже побледнели звезды. Занялась заря

за холмами. С берега пришел мичман Анненский, командир «Лейтенанта Шестакова», сообщил, что команды бегут не только с миноносцев, портовых буксиров и катеров, но на коммерческих кораблях не осталось ни одного матроса, — неизвестно, чем буксировать суда на рейд.

Командир «Керчи» сказал:

— Мичман Анненский, ответственность лежит на нас, чего бы это ни стоило — мы утопим корабли.

Мичман Анненский тряхнул головой. Помолчали. Потом он ушел. Когда заря разгорелась над заливом, «Лейтенант Шестаков» медленно отделился от стенки, таща на буксире «Капитана Баранова», и начал выводить его на внешний рейд, к месту потопления. Миноносцы держали на мачтах сигнал: «Погибаю, но не сдаюсь».

Скоро они скрылись в утреннем тумане. Все суда казались теперь опустевшими. Над стальной громадой «Свободной России» летали чайки. Дымила «Керчь». Несмотря на ранний час, толпы народу бежали на набережные, полоска мола была облеплена черно, как мухами. У кораблей начиналась давка, лезли на плечи, срывались в воду.

Семен Красильников стоял на часах у сходней.

В шестом часу из толпы протолкался небольшой, красный от возбуждения, человек в черной морской тужурке без погон, застучал каблуками по сходням. Румяное лицо его с маленьким сморщенным ртом было в поту.

— Здесь старший лейтенант Кукель? — крикнул он Семену, выпучившись голубыми, веселыми, круглыми глазами на матроса, загородившего путь штыком. Он похлопал себя по бокам, по груди, вытащил и предъявил мандат на имя представителя центральной советской власти, товарища Шахова. Матрос хмуро опустил штык:

— Проходите, товарищ Шахов.

Кукель сошел ему навстречу и стал рассказывать о почти безнадежном положении дел. Он говорил обстоятельно и не спеша. У Шахова нетерпеливо вертелись глаза.

— Ерунда, бывали в переделках похуже… Я уже говорил с моряками, настроение превосходное… Сейчас достану вам буксир, все, что нужно… Устроим митинг… Утрясется как нельзя лучше…

Он потребовал катер и ушел на «Свободную Россию». Оттуда начал мотаться в катере от судна к судну. Семен видел, как его коротенькое туловище повисало на штормовых трапах торговых пароходов, как он, выскакивая на берег, нырял в

толпу и оттуда неслись крики, поднимались руки. В одном месте тысячи глоток заревели «ура».

Несколько шлюпок, набитые моряками, отвалили от стенки, пошли в глубину гавани, к заржавленному небольшому пароходу, и скоро из трубы его повалил густой дым, он снялся с якоря и подошел к «Свободной России». Еще на одной шхуне заплескались паруса. Вернулся «Лейтенант Шестаков» и взял на буксир второй миноносец.

В десятом часу толпа поднаперла к сходням «Керчи». Настроение как будто снова менялось к худшему. К борту протискивались какие-то оборванцы, у каждого — колбаса, хлеб, сало. Скаля зубы, подмигивали морякам, показывая бутылки со спиртом. Тогда Кукель приказал убрать сходни и отдать концы. «Керчь» отошла от этих дьявольских соблазнов на середину гавани, откуда и наблюдала за буксированием миноносцев.

Ржавый пароход, казавшийся скорлупой, пыхтя и дымя, сдвинул наконец «Свободную Россию», и она величественно поплыла мимо тысячных толп. Многие снимали шапки, как перед гробом. «Свободная Россия» миновала боны, ворота и гавань и удалялась в глубину рейда. Опять ждали немецких аэропланов, но небо и море были

спокойны. В гавани остался только эсминец «Фидониси».

Снова в толпе начался водоворот, и черная икра голов сбилась у стенки, где стоял «Фидониси». К нему подходила парусно-моторная шхуна, чтобы взять на буксир. Из толпы полетели камни навстречу шхуне, хлопнуло несколько револьверных выстрелов. Седоволосый человек, взобравшись на фонарь, кричал:

— Братоубийцы, Россию продали… Армию продали… Братцы!.. Что же вы смотрите!.. Последний флот продают…

Толпа заревела, выворачивая камни. Несколько человек перескочило через борт «Фидониси». Тогда быстро к берегу подошла «Керчь», колокол на ней пробил боевую тревогу, орудия жерлами повернулись на толпу, командир закричал в мегафон:

— Назад! Открою огонь!

Толпа попятилась, отхлынула, завизжали раздавленные. Поднялась пыль, и берег опустел. Шхуна взяла на причал и увела «Фидониси».

«Керчь» медленно шла следом до места, где на рейде лежали все корабли на легкой зыби. Семен глядел на чаек, летящих высоко за кормой, потом стал глядеть на командира, вцепившегося

обеими руками в перила мостика.

Был четвертый час дня. «Керчь» обошла с правого борта «Фидониси», командир сказал одно только слово, — черной тенью мелькнула из аппарата мина, пенная полоса побежала по зыби, и вот, как раз посредине, корпус «Фидониси» приподнялся, разламываясь, косматая гора воды и пены взлетела из морской бездны, тяжелый грохот покатился далеко по морю. Когда гора воды спала, на поверхности не было «Фидониси», — ничего, кроме пены. Так началось потопление.

Подрывные команды открывали на миноносцах кингстоны и клинкеты, отдраивали все иллюминаторы на накрененном борту и, перед тем как садиться с тонущей палубы в шлюпку, зажигали бикфордов шнур, чтобы взорвать десятифунтовым патроном турбины и цилиндры. Миноносцы быстро скрывались под водой на многосаженной глубине. Через двадцать пять минут рейд был пустынен.

«Керчь» полным ходом подошла к «Свободной России» и выбросила мины. Матросы медленно сняли фуражки. Первая мина ударила в корму, — дредноут качнулся, охваченный потоками воды. Вторая попала в борт, в середину. Сквозь тучу пены и дыма было видно, как закачалась

мачта. Дредноут боролся, будто живое существо, еще более величественный среди ревущего моря и громовых взрывов. У матросов текли слезы. Семен закрыл ладонями лицо…

Командир Кукель весь высох в эти минуты, — остался у него один нос, протянутый к гибнущему кораблю. Ударила последняя мина, и «Свободная Россия» начала переворачиваться вверх килем… Она сделала еще усилие, будто приподнималась из воды, и быстро пошла на дно в пенном водовороте.

От места гибели «Керчь» пошла, развивая предельную скорость, на Туапсе. Под утро команда была высажена в шлюпки. После этого «Керчь» послала радио: «Всем… Погиб, уничтожив часть судов Черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдаче Германии. Эскадренный миноносец „Керчь“.

Миноносец открыл кингстоны, взорвал машины и затонул на пятнадцатисаженной глубине.

На берегу Семен Красильников советовался с товарищами, — куда теперь идти. Думали так и этак и сговорились идти на Астрахань, на Волгу, где, слышно, Шахов формирует речной военный флот для борьбы с белогвардейцами.

По горным тропам и бездорожью, преследуемая

по пятам, окруженная повально восставшими станицами, Таманская армия под командой Кожуха пробивалась кружным путем на верховья Кубани.

Путь лежал через Новороссийск, занятый после гибели флота немцами. Колонны таманцев подошли неожиданно, — войска с песнями проходили через город. Немецкий гарнизон, не понимая их намерений, бросился на суда и обстрелял морскими орудиями заднюю колонну и заодно наседавших на хвост ее пьяных и озверевших станичников.

Из предосторожности немцы покинули город, и он, когда Кожух, отбиваясь, ушел, был занят казаками и затем регулярными войсками белых. Город был отдан на поток и разорение.

Матросов, красноармейцев и просто жителей поплоше без суда вешали на телеграфных столбах. Ломовые извозчики свезли в те дни три тысячи трупов в море. Новороссийск стал белым портом.

По голодному побережью Таманская армия, отягощенная обозами пятнадцати тысяч беженцев, дошла до Туапсе и оттуда круто свернула на восток. Деникинцы гнались по пятам, впереди все ущелья и высоты были заняты повстанцами.

Каждый день разворачивался в тяжелый бой. Истекая кровью, огрызаясь, умирая от голода, армия сползала в ущелья, взбиралась на крутые холмы, таяла и шла, пробивая лбом дорогу.

Однажды к Кожуху привели отпущенного генералом Покровским пленного красноармейца с письмом, написанным с военной простотой:

«Ты, мерзавец, опозорил всех офицеров русской армии и флота тем, что решился вступить в ряды большевиков, воров и босяков; имей в виду, что тебе и твоим босякам пришел конец. Мы тебя, мерзавца, взяли в цепкие руки и ни в коем случае не выпустим. Если хочешь пощады, то есть за свой поступок отделаться арестантскими ротами, тогда я приказываю тебе исполнить мой приказ: сегодня же сложить все оружие, а банду, разоруженную, отвести на расстояние четырех-пяти верст западнее станции Белореченской. Когда это будет выполнено, немедленно сообщи мне на четвертую железнодорожную будку…»

Кожух, читая это письмо, пил чай из консервной банки. Он посмотрел на босого, в распоясанной рубашке, красноармейца, уныло стоявшего перед ним.

«Говнюк ты, братец, — сказал ему Кожух, — как же ты мне передаешь такие письма? Уйди в свою

часть...»

И в эту же ночь Кожух нанес генералу Покровскому страшный удар, опрокинул и гнал конницей его части. Прорвался на Белореченскую и вышел из окружения. К концу сентября Таманская армия появилась под Армавиром, занятым деникинцами, взяла его штурмом и в станице Невинномысской соединилась с остатками армии Сорокина.

Потеряв после разгрома под Выселками и Екатеринодаром влияние в армии, хлебнув хмеля военной славы и озлобленный неудачами, Сорокин отступал все дальше и дальше на восток, крутясь, как щепка, в водовороте того, что еще недавно именовалось дивизиями, бригадами, полками. Теперь это были толпы, бегущие при первых выстрелах противника. Отступая, они все сметали на пути. Их влекло одно — поскорее оторваться от висящей за плечами смерти, уйти куда глаза глядят. Нескончаемые толпы дезертиров брели по терским степям, по древней дороге народов, покрытой полынью и курганами.

Из-под Екатеринодара ушло около двухсот тысяч войск и беженцев. Те, кто остался, были зарублены, повешены, замучены станичниками. В каждой станице качались трупы на пирами-

дальных тополях. Красным мстили теперь без пощады, не опасаясь их возврата. Во всем краю выжигали самое имя большевиков.

Сорокин был рожден революцией. Он звериным чутьем понимал ее взлеты и падения. Он не руководил отступлением, это было бы бесполезно. Стихия устремлялась на восток, — она остановится, когда у белых ослабнет упорство преследования.

Ему оставалось только мрачно глядеть в окно вагона, ползущего по выжженным степям, мимо курганов древних пелазгов, кельтов, германцев, славян, хозар… Личный конвой охранял его поезд, так как проходившие кричали:

— Братишки, командиры нас продали, пропили, бей командиров, мы своих убили.

Начштаба Беляков приходил в купе, вздыхал и осторожно начинал говорить туманные слова о невозможности дальнейшей борьбы. «Революция имеет свои фазы, — постоянно повторял он, поглаживая ладонью большой лоб, — подъем прошел, против нас выступают уже стихийные силы. Мы боремся не с офицерами только, а со всем народом. Нужно вовремя спасти завоевания революции… Спасти хотя бы компромиссным миром…» И он приводил убедительнейшие при-

меры из истории…

«За какие деньги хочешь меня купить, подлец?» — только и отвечал на это Сорокин. Попадись ему Деникин сейчас в руки — съел бы его живьем. Но всего злее разгоралось его сердце на товарищей, членов Черноморского ЦИКа, бежавших из Екатеринодара в Пятигорск. Они только и знали, что «изыскивали меры, обезоруживающие диктаторские намерения Сорокина…». Не исполняли срочных приказов, всюду вмешивались, — лезли со своим Марксом в самую душу главнокомандующего.

В салон-вагоне Сорокина опять появилась Зинка-блондиночка, — в этом чувствовалась забота Белякова. Зинка была все такая же розовенькая и соблазнительная, только голосок ее несколько осип; все ее шелковые кофточки и гитару сперли в обозе. Обращение ее с главнокомандующим стало более независимым.

По ночам, когда опускались шторы в салоне и Сорокин впадал в мрачный восторг хмеля, Зинка, побренчав на балалайке, принималась нести ту же бурду, что и Беляков: про близкий конец революции, про блистательную судьбу Наполеона, сумевшего перекинуть мост от якобинского террора к империи… У Сорокина начинали све-

титься глаза, билось сердце, гоня в мозг горячую кровь пополам со спиртом… Он срывал штору и глядел в окно, в ночную темноту, где ему чудились отблески его горячечной фантазии…

Натиск белых становился слабее. Красная Армия зацепилась наконец за левый берег Верхней Кубани и села в окопы. В это время из Царицына вернулся через киргизские степи командир Стальной дивизии Дмитрий Жлоба с грузовыми автомобилями. Он привез двести тысяч патронов и передал приказ кавказским войскам — двигаться на север, на помощь Царицыну, окружаемому белоказачьей армией атамана Краснова.

Сорокин наотрез отказался выполнить приказ. Украинские полки, которым надоело воевать на чужой земле, заволновались и снялись с фронта. На уговоры и угрозы Сорокина они чихали. И только Жлобе, бывшему родом из Полтавы, удалось остановить часть войск; он говорил с ними рассудительно и не спеша, по-мужицки, — похвалил их, похвалил себя. Украинцы увидели, что это не кто-нибудь, а батько, и послушались. Дмитрий Жлоба повел их в дело и под Невинномысской разбил сильную офицерскую колонну. За это Сорокин люто возненавидел его.

Поздравив с победой, он назначил Дмитрия

Жлобу командующим частью фронта и в тот же день тайно приказал разоружить его части, а Жлобу и весь командный состав расстрелять. Узнав о тайном приказе, Жлоба со своей Стальной дивизией, пополненной украинцами, снялся с фронта и пошел солончаковыми степями, сыпучими песками на Царицын, исполняя приказ Реввоенсовета Десятой армии. Тогда Сорокин объявил его вне закона, вменил в обязанность каждому красноармейцу застрелить его и запретил кому бы то ни было снабжать Стальную дивизию фуражом. Но Жлоба ушел, ни одна рука не поднялась застрелить его. Когда в пути надобился фураж, он въезжал в село, снимал шапку-кубанку и со слезами на глазах просил у сельского исполкома сена, овса и хлеба и объяснял, что не он, Жлоба, изменник, а белобандит и предатель главнокомандующий Сорокин.

Вскорости пришло и второе испытание для сорокинского честолюбия: из-за гор появился Кожух, которого считали погибшим, и с налета взял Армавир, отбросив белых за Кубань. Таманцы неохотно исполняли распоряжения Сорокина, а то и вовсе не слушались. Закаленная в труднейшем походе Таманская армия вошла костяком в растрепанную сорокинскую и укрепилась теперь

на линии Армавир — Невинномысская — Ставрополь.

Была осень, шли затяжные и кровопролитные бои за обладание богатым городом Ставрополем. Всюду во главе дрались таманцы.

У деникинцев также появилась новая сила — белый партизан Шкуро, отчаянной жизни проходимец и вояка, сформировавший из всякого сброда волчью сотню.

Штаб Сорокина перешел в Пятигорск. Сорокин больше не появлялся на фронте: наступали новые порядки, на Кавказ проникала власть Москвы, чувствовалась с каждым днем все крепче. Началось с того, что краевой комитет партии постановил образовать Военно-революционный совет. С Москвой Сорокин не потягался, пришлось подчиниться. В Реввоенсовет были собраны все новые люди. Власть главнокомандующего переходила к коллегии. Сорокин понял, что дело идет об его голове, и начал отчаянно бороться.

На заседаниях Реввоенсовета он сидел мрачный и молчаливый; когда брал слово, то отстаивал каждую букву. И ему удавалось проводить все, что он хотел, потому что в Пятигорске были сосредоточены верные ему войсковые части. Его боялись, и не напрасно. Он искал случая показать

власть и нашел случай. Командир второй таманской колонны Мартынов заявил на войсковом съезде в Армавире, что отказывается выполнять боевые приказы главнокомандующего. Тогда Сорокин потребовал у Реввоенсовета головы Мартынова. Он пригрозил полной анархией в армии. Спасти Мартынова было нельзя. Его вызвали в Пятигорск, арестовали, и на площади перед фронтом он был расстрелян. Буря пронеслась по полкам таманцев, они поклялись отомстить.

Был сформирован новый штаб при главнокомандующем. Белякова отстранили совсем, и Сорокин не отстаивал его. Начштаба сдал дела и деньги и явился на квартиру к бывшему другу за объяснениями. Сорокин ходил по комнате, заложив руки за спину. На столе горела жестяная лампа, стояла нетронутая еда, начатая бутылка водки. За окном в сухом закате темнел лесистый Машук…

Мельком взглянув на вошедшего, Сорокин продолжал ходить. Беляков сел у стола, опустив голову. Сорокин остановился перед ним, дернул плечом:

— Водки хочешь? По последней. — Он хрипло хохотнул, быстро налил две рюмки, но не выпил и опять заходил. — Твоя песенка спета, брат… И

мой совет — уноси отсюда ноги… Я за тебя заступаться не буду… Завтра назначу комиссию — для ревизии твоих дел, понял? По всей вероятности — расстреляем…

Беляков поднял к нему лицо — серое, осунувшееся, провел ладонью по лбу, и рука упала.

— Ничтожный… маленький человек, вот ты кто, — сказал Беляков. — Напрасно я тебе отдавал всю душу… Сволочь ты… А я его в Наполеоны прочил… Вошь!..

Сорокин взял рюмку, — зубы застучали по стеклу, — выпил. Заходил, сунув руки в карманы черкески. С размаху остановился:

— Ревизии не будет. Убирайся к черту. Что я тебя не застрелил сейчас, — помни, — это за твои заслуги… И оцени, — понял?

Ноздри его стали забирать воздух, губы посинели, он весь задрожал, сдерживая бешенство.

Беляков слишком хорошо знал характер Сорокина: не сводя с него глаз, стал пятиться к двери и быстро захлопнул ее за собой… Ушел он задним ходом через двор и той же ночью скрылся из Пятигорска.

Час за часом, выпивая рюмку за рюмкой, Сорокин продумал всю ночь. Бывший друг отравил его каплей презрения, но яд был страшен, страдания

невыносимы…

Он закрывал руками лицо: прав, прав Беляков… В июне был наполеоновский размах, а кончилось заседаниями в военной коллегии, вечной оглядкой на московских партийцев… Беляков не свое сказал… Так говорят в армии, в партии. И Деникин, ох, Деникин! Он припомнил, и сейчас во всю глубину жала пронзила его одна статеечка в екатеринодарской белогвардейской газете — интервью с Деникиным: «Я думал: передо мной лев, но лев оказался трусливой собакой, наряженной в львиную шкуру… Впрочем, это меня не удивляет, — Сорокин был и остался малограмотным, ординарным казачьим офицером в чине хорунжего». Ох, Деникин! Погоди… придет час… Пожалеешь.

Сорокин стискивал руки, скрипел зубами. Кинуться на фронт, увлечь всю армию, опрокинуть, гнать, топтать конями офицеров, жечь с четырех концов станицы. Ворваться в Екатеринодар… Приказать привести к себе Деникина, — взять его прямо с постели, в подштанниках… «А что, не вы ли это, Антон Иванович, упражнялись в заметочках для газеты насчет ординарного хорунжего? Он перед вами, почтеннейший… Теперь как же, — ремни вам будем вырезать из спины

или хватит с вас полторы тысячи шомполов?»

Сорокин стонал, отгоняя навязчивый бред мечтания… Действительность была темна, неопределенна, тревожна, унизительна… Надо было решаться. Старый друг, начштаба, сослужил ему сегодня последнюю службу… Сорокин подходил к окошку, куда легкий ветер доносил горькое, сухое веяние полынных степей. Темно-багровая полоса утренней зари, еще не светясь, проступила в мрачном небе. И снова виднелась лиловая громада Машука… Сорокин усмехнулся: ну что ж, спасибо, Беляков… Ладно, — колебания, нерешительность к черту… И в эту же ночь Сорокин решил «играть ва-банк».

В ближайшие дни Реввоенсовет Кавказской армии после долгих колебаний проголосовал наконец наступление. Тылы перебрасывались в Святой Крест, армия сосредоточивалась в Невинномысской, и оттуда предполагалось движение на Ставрополь и Астрахань, чтобы войти в соприкосновение с Десятой армией, дравшейся под Царицыном. Это был как раз тот план, который Дмитрий Жлоба привез из Царицына.

Взятие Ставрополя было поручено таманцам. Все пришло в движение, — тылы двинулись на северо-восток, эшелоны — на северо-запад. По-

литруки и агитаторы рвали голосовые связки, поднимая настроение в частях, бросая зажигающие лозунги. Начальники колонн выехали на фронт. Пятигорск опустел. В нем оставалось только правительство — ЦИК Черноморской республики и Сорокин со своим штабом и конвоем. В суматохе никто не заметил, что правительство, в сущности, отдано на добрую волю главнокомандующему.

Вечером, возвращаясь домой в сопровождении вестового, Сорокин пустил коня крупной рысью и, сворачивая от городского парка в гору, толкнул лошадью какого-то сутулого, широкого человека в кожаной куртке. Тот покачнулся, схватился за бедро, где висел у него наган. Сорокин гневно сдвинул брови и узнал Гымзу. Он должен был находиться на фронте… Гымза снял руку с кобуры. Взгляд его полуприкрытых бровями глаз показался странен… Такой взгляд был у Белякова при последнем разговоре… На темном, как голенище, обритом лице Гымзы вдруг забелела узкая полоска зубов. У Сорокина закатилось сердце, — и этот смеется!..

Он так стиснул шенкеля, что конь, храпнув, рванулся, унес главнокомандующего по цокающему булыжнику наверх, где блеяло, трясло

курдюками, возвращаясь с поля, пахучее баранье стадо. Это было в ночь на тринадцатое октября. Сорокин вызвал к себе начальника конвоя, и тот, оглядываясь на окно, сказал шепотом, что Гымза действительно сегодня приехал в Пятигорск и предложил ЦИКу вызвать с фронта две роты для охраны… «Дураку понятно, товарищ Сорокин, против кого эти меры…»

Когда над темным и заснувшим Пятигорском, над Машуком разгорелись во всю красоту осенние звезды, конвойцы Сорокина тихо, без шума, вошли в квартиры председателя ЦИКа Рубина, членов Власова и Дунаевского, члена Реввоенсовета Крайнего и председателя Чека Рожанского, взяли их из постелей, вывели с приставленными к спине штыками за город, за полотно железной дороги, и там, не приводя никаких оснований, — расстреляли.

Сорокин стоял в это время на площадке своего вагона на станции Лермонтово. Он слышал выстрелы, — пять ударов в ночной тишине. Затем послышалось тяжелое дыхание, — подошел, облизывая губы, начальник конвоя. «Ну?» — спросил Сорокин. «Ликвидированы», — ответил начальник конвоя и повторил фамилии убитых.

Поезд отошел. Теперь главнокомандующий на

крыльях летел на фронт. Но быстрее его летела весть о небывалом преступлении. Несколько коммунистов из краевого комитета, еще вчера предупрежденные Гымзой, раньше Сорокина выехали из Пятигорска на автомобиле. Тринадцатого они созвали в Невинномысской фронтовой съезд. И в то время, когда Сорокин появился перед частями своей армии, — великолепный, как восточный владыка, окруженный сотней конвойцев, с трубачами, играющими тревогу, со скачущим впереди личным знаменем главнокомандующего, — в это время фронтовой съезд в Невинномысской единогласно объявил Сорокина вне закона, подлежащим немедленному аресту, препровождению в станицу Невинномысскую и преданию суду.

Главнокомандующему закричали об этом таманцы-красноармейцы, раскрыв двери теплушек. Сорокин вернулся на станцию и потребовал к себе командиров колонн. Никто не пришел. Он просидел до темноты на вокзале. Затем велел подать себе коня и вдвоем с начальником конвоя ускакал в степь.

В Реввоенсовете, где теперь осталось только трое, была большая растерянность: главнокомандующий пропал в степях, армия вместо

наступления требовала суда и казни Сорокина… Но стопятидесятитысячная человеческая машина продолжала развертываться, ничего приостановить уже было нельзя… И двадцать третьего октября началось наступление Таманской армии на Ставрополь и одновременно контрнаступление белых. Двадцать восьмого командиры всех колонн сообщили, что не хватает снарядов и патронов, и если их завтра же не подвезут, — рассчитывать на победу невозможно. Реввоенсовет ответил, что снарядов и патронов нет, «берите Ставрополь голыми штыками…». В ночь на двадцать девятое были выделены две штурмовые колонны. Под прикрытием артиллерии, стрелявшей последними снарядами, они подошли к деревне Татарской, в пятнадцати верстах от Ставрополя, куда был вынесен фронт белых. Над степью взошла большая медная луна — это было сигналом, так как в армии не нашлось ракет… Пушки замолкли… Цепи таманцев без выстрела пошли к передовым окопам противника и ворвались в них. Тогда заревели трубы оркестров, забили барабаны, и густые волны обеих штурмовых колонн таманцев под музыку, заменявшую им пули и гранаты, обгоняя музыкантов, падая сотнями под пулеметным огнем,

ворвались во всю главную линию укреплений. Белые отхлынули на холмы, но и эти высоты были взяты неудержимым разбегом. Противник бежал к городу. Вдогон ему понеслись красные казачьи сотни. Утром тридцатого октября Таманская армия вошла в Ставрополь.

На следующий день на главной улице увидели главнокомандующего Сорокина, — сопровождаемый начальником конвоя, он спокойно ехал верхом, был только бледен и глаза опущены. Красноармейцы, завидев, разевали рты, пятились от него: «Що то за бис с того свиту?..»

Сорокин соскочил с коня у здания Совета, где на двери еще висела полусорванная надпись «Штаб генерала Шкуро», куда собирались уцелевшие депутаты и члены исполкома, — смело вошел по лестнице, спросил у шарахнувшегося от него военного: «Где заседание пленума?» — появился в зале у стола президиума, надменно поднял голову и обратился к изумленному и растерянному собранию:

— Я главнокомандующий. Мои войска наголову разбили банды Деникина и восстановили в городе и области советскую власть. Самочинный войсковой съезд в Невинномысской нагло объявил меня вне закона. Кто дал ему это право?

Я требую назначения комиссии для расследования моих якобы преступлений. До заключения комиссии власти главнокомандующего я с себя не сложу…

Затем он вышел, чтобы сесть на коня. Но на лестнице неожиданно бросились на него шесть красноармейцев из Третьего таманского полка, свернули, скрутили руки.

Сорокин молча, бешено боролся; командир полка Висленко ударил его плетью по голове, закричав: «Это тебе за расстрел Мартынова, гадюка…»

Сорокина отвели в тюрьму. Таманцы волновались, боясь, чтобы он не вырвался из тюрьмы, не ушел как-нибудь от суда. На следующий день, когда Сорокина привели на допрос, он увидел за столом председательствующего Гымзу и понял, что погиб. Тогда еще раз в нем поднялась вся жадность жизни, он ударил по столу, ругаясь матерно:

— Так я же буду судить вас, бандиты! Срыв дисциплины, анархия, скрытая контрреволюция!.. Расправлюсь с вами, как с подлецом Мартыновым…

Сидевший рядом с Гымзой член суда Висленко, белый, как бумага, загнул руку за спину, выта-

щил автоматический большой пистолет и в упор выпустил всю обойму в Сорокина.

Дальнейшее движение из Ставрополя на Волгу не смогло осуществиться. Волчья конница Шкуро залетела в тыл и отрезала Таманскую армию от базы — Невинномысской. Деникин сосредоточивал все силы, окружая Ставрополь.

С Кубани были стянуты колонны Казановича, Дроздовского, Покровского, конница Улагая и новая конная кубанская дивизия, которой командовал бывший горный инженер, начавший в чине младшего офицера мировую войну, — теперь генерал Врангель.

Двадцать восемь дней дралась Таманская армия. Полки за полками гибли в железном кольце противника, богатого снаряжением. Начались дожди, не было шинелей, сапог, патронов. Помощи ждать было неоткуда, — остальная часть Кавказской армии, отрезанная от Ставрополя, отступала на восток.

Таманцы метались в кольце, удары их были страшны и кровопролитны. Командующий Кожух свалился в сыпном тифу. Почти все лучшие командиры были убиты и ранены. В середине ноября таманцам удалось наконец прорвать фронт. От героической Таманской армии уцелели

жалкие остатки, разутые и раздетые. Покинув Ставрополь, они отходили в северо-восточном направлении, на Благодатное. Их не преследовали, — начались дожди, осенняя непогода остановила дальнейшее наступление белых.

12

Год тому назад, в октябре, народы, населяющие Россию, потребовали окончания войны. Многомиллионные стоны и крики — долой войну, долой буржуазию, длящую войну, долой военную касту, ведущую войну, долой помещиков, питающих войну, — вылились в один внушительный и короткий удар с крейсера «Аврора» по Зимнему дворцу.

Когда этот выстрел, пробивший украшенную свинцовыми статуями и черными вазами крышу ненавистного дома, разорвался в опустевшей царской спальне с не остывшей еще постелью, где истерическую бессонницу коротал Керенский, кто мог предвидеть, что этот заключительный, казалось, голос революции, возвещающий войну дворцам и мир хижинам, прокатится из конца в конец по необъятной стране и, отдаваясь, как эхо, усиливаясь, множась, вырастая, взревет ураганом.

Кто ждал, что страна, только что бросившая оружие, вновь поднимет его, и поднимется класс на класс — бедняк на богача… Кто ждал, что из

кучки корниловских офицеров возникнет огромная деникинская армия; что бунт чехословацких эшелонов охватит войной на тысячу верст все Поволжье и, перекинувшись в Сибирь, вырастет в монархию Колчака; что блокада охватит душным объятием Советскую страну и во всем мире на всех вновь издаваемых географических картах и глобусах шестая часть света будет обозначаться как пустое — незакрашенное — место без названия, обведенное жирной чертой…

Кто ждал, что Великороссия, отрезанная от морей, от хлебных губерний, от угля и нефти, голодная, нищая, в тифозном жару, не покорится, — стиснув зубы, снова и снова пошлет сынов своих на страшные битвы… Год тому назад народ бежал с фронта, страна как будто превратилась в безначальное анархическое болото, но это было неверно: в стране возникали могучие силы сцепления, над утробным бытием поднималась мечта о справедливости. Появились необыкновенные люди, каких раньше не видывали, и о делах их с удивлением и страхом заговорили повсюду.

Изнутри Советскую страну потрясали мятежи. Одновременно с восстанием в Ярославле (перекинувшимся в Муром, Арзамас, Ростов Великий и Рыбинск) в Москве взбунтовались «левые со-

циалисты-революционеры». Шестого июля двое из них, с подложной подписью Дзержинского на документах, пришли к германскому послу графу Мирбаху и во время разговора выстрелили в него и бросили бомбу. Посол был убит последней пулей, попавшей ему в затылок в то время, когда он выбегал из комнаты. Вечером в тот же день в районе Чистых прудов и Яузского бульвара появились вооруженные матросы и красноармейцы. Они останавливали автомобили и прохожих, обыскивали, отбирали оружие и деньги и отводили в особняк Морозова в Трехсвятительском переулке, в штаб командующего войсками восстания. Здесь уже сидел под арестом Феликс Дзержинский, который сам приехал в этот особняк в поисках убийцы Мирбаха. Весь вечер и часть ночи происходили аресты. Был захвачен телеграф. Но приступать к решительным действиям против Кремля еще не решались. Бунтовщиков было около двух тысяч, они расположились фронтом от Яузы до Чистых прудов.

Защитой Кремля в эту ночь служили телефоны да древние стены. Войска стояли в лагерях на Ходынском поле, часть их была распущена по случаю кануна Ивана Купалы. Настроение в Кремле становилось нервным. Все же под утро

удалось стянуть около восьмисот бойцов, три батареи и броневики; в семь утра войска пошли в наступление и разбили пушками особняк Морозова в Трехсвятительском переулке. Было много шуму, но мало жертв, — «армия» левых эсеров бежала переулками, задними дворами в неизвестном направлении. Ее командующий Попов, губастый юноша с сумасшедшими глазами, скрылся из Москвы. Через год он появился у Махно начальником контрразведки и прославился изощренной жестокостью.

Мятеж был подавлен в Москве и на Волге. Но мятеж таился повсюду: бунтовали против большевиков, против немцев, против белых. Деревни шли на города и грабили их. Города свергали советскую власть. Начиналась эпоха независимых республик, они вырастали и лопались, как дождевые грибы, иные можно было обскакать верхом от зари до зари.

Советская власть напрягала все усилия, чтобы овладеть анархией. И в это время ей был нанесен страшный удар: тридцатого августа, после митинга на заводе Михельсона, за Бутырской заставой, «правая эсерка» Каплан (из организации человека с булавочкой-черепом) стреляла и тяжело ранила Ленина.

Тридцать первого на улицах Москвы видели отряд людей, одетых с головы до ног в черную кожу, — они двигались колонной посреди улицы, неся на двух древках знамя, на котором было написано одно слово: «Террор»… День и ночь на заводах Москвы и Петрограда шли митинги. Рабочие требовали самых решительных мер.

Пятого сентября московские и петроградские газеты вышли со зловещим заголовком:

КРАСНЫЙ ТЕРРОР

> «…Предписывается всем Советам немедленно произвести аресты правых эсеров, представителей крупной буржуазии и офицерства, и держать их в качестве заложников… При попытке скрыться или поднять восстание – немедленно применить массовый расстрел безоговорочно… Нам необходимо немедленно и навсегда обеспечить наш тыл от белогвардейской сволочи… Ни малейшего промедления при применении массового террора…»

В городах в то время скудно давался свет, целые кварталы стояли темными. И вот обыватели зажиточных квартир с ужасом увидели красно-

ватые, накаляющиеся волоски электрических лампочек… Отряды вооруженных рабочих пошли по этим предсмертно освещенным домам…

Восемнадцатый год кончался, пронесясь диким ураганом над Россией. Темна была вода в осенних хмурых тучах. Фронт был повсюду — и на далеком Севере, и на Волге под Казанью, и на Нижней Волге под Царицыном, и на Северном Кавказе, и по границам немецкой оккупации. На тысячи верст тянулись окопы, окопы, окопы. Надвигающаяся осень не веселила сердца бойцов, и многие, поглядывая на тучи, ползущие с севера, раздумывали о своих деревнях, где ветер задирал солому на крышах, крапивой зарастали дворы и гнила картошка на огородах. А войне и конца не видно. Впереди — непроглядные ночи да стародавняя лучина по родным избам, где ждут не дождутся отцов и сыновей да слушают рассказы про такие страшные дела, что ребятишки начинают плакать на печке.

В ответ на осеннее уныние Центральный Комитет партии, после того как республика справилась с мятежами, мобилизовал в Москве, в Петрограде, в Иваново-Вознесенске наиболее стойких коммунаров и направил их в армию. Поезда с коммунарами двигались к фронтам,

ломая по пути вольный или невольный саботаж железнодорожников. Суровый режим террора проник в армию. Из растрепанных отрядов формировались полки, подчиняемые единой воле Реввоенсовета. Отвага и доблесть стали обязанностью каждого. Трусость была приравнена к измене. И вот красный фронт перешел в наступление. Коротким ударом была взята Казань, а за ней и Самара. Белогвардейские отряды бежали в ужасе перед красным террором. Под Царицыном, где членом Реввоенсовета Десятой армии сидел Сталин, разворачивалась огромная и кровавая битва с белоказачьей армией атамана Краснова, снабжаемого и понукаемого германским главным штабом…

Но все это было лишь началом великой борьбы, развертыванием сил перед главными событиями девятнадцатого года.

Иван Ильич Телегин выполнил поручение Гымзы. Во время боев под Казанью получил назначение командовать полком и одним из первых ворвался в Самару. В жаркий осенний день он ехал шагом на косматой лошаденке впереди своего полка по Дворянской улице. Миновали площадь с памятником Александру Второму, — его опять спешно заколачивали досками. Вот и

второй дом от угла… Иван Ильич опустил голову, — он знал, что он увидит, и все же сердце его сжалось тоскливо. Все стекла во втором этаже, в квартире доктора Булавина, были выбиты, — с верха ему было хорошо видно: вот ореховая дверца, в которой тогда, как сон, появилась Даша, вот кабинет, опрокинутый книжный шкаф, криво висящий на стене портрет Менделеева с выбитым стеклом… Где Даша? Что с ней? Тут уж никто, конечно, не мог ответить.